ШОРТ-ЛИСТ БУКЕРА-2018

Рэйчел Кушнер

Комната на Марсе

НЕЦЕНЗУРНАЯ БРАНЬ 18+

«Комната на Марсе» – шокирующая, внушающая ужас, смешная книга.
Стивен Кинг

Комната на Марсе
Рэйчел Кушнер

Аннотация
Рэйчел Кушнер. Комната на Марсе
I
II
III
IV
V
Благодарности

Аннотация

Роми Холл – бывшая стриптизерша. Но это в прошлом. В будущем – два пожизненных срока в одной из тюрем Калифорнии. За забором остались маленький сын Джексон и Сан-Франциско ее молодости. Внутри тюрьмы ее ожидает новая реальность: тысячи женщин, пытающихся выжить, жестокость охраны и заключенных, абсурд жизни за решеткой, описанный с юмором и вниманием к деталям.

«Комната на Марсе» – роман, шокирующий в своей откровенности и совсем не сентиментальный в описаниях быта женщин, чья жизнь превратилась в катастрофу.

Книга содержит нецензурную брань.

Рэйчел Кушнер
Комната на Марсе

Rachel Kushner
The Mars Room

© 2018 by Rachel Kushner
© Шепелев Д., перевод на русский язык, 2019
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019

* * *

Я чувствую воздух другой планеты.
Дружеские лица, смотревшие на меня,
Теперь растворяются в темноте.

I

1

Ночь в цепях бывает раз в неделю, по четвергам. Раз в неделю наступает особенный момент для шестидесяти женщин. Для кого-то из них этот особенный момент наступает снова и снова. Для них это обычное дело. Для меня он наступил только один раз. Меня разбудили в два часа ночи, надели браслеты и назвали мое имя и номер, Роми Лэсли Холл, заключенная W314159, после чего поставили в ряд с остальными для ночного объезда долины.

Когда наш автобус выехал за пределы тюрьмы, я приклеилась к окну, забранному стальной сеткой, чтобы увидеть мир. Смотреть особо было не на что. Подземные переходы и дорожные развилки, темные безлюдные бульвары. На улицах никого не было. Мы ехали сквозь ночь в такой момент безвременья, когда светофоры не переключались с зеленого на красный, а просто светились желтым. Показалась еще одна машина сбоку от нас. Без огней. Она темным пятном демонической энергии рванула мимо автобуса. Была

одна девчонка в моем блоке в окружной тюрьме, которой дали пожизненно просто за вождение. Она ничем не ширялась, она это всем говорила, кто был готов слушать. Она не ширялась. Все, что она делала, — это вела машину. Всего-навсего. Они считали ее номерной знак. У них работал видеоконтроль. Все, что у них было, — это изображение машины, ночью, движущейся по улице, сперва с огнями, потом без огней. Если водитель вырубает огни, это предумышленное. Если водитель вырубает огни, это убийство.

Нас возили в такой час не без причины, по многим причинам. Если бы они могли запулить нас в тюрьму в капсуле, они бы так и сделали. Что угодно, чтобы оградить нормальных граждан от нас, кучки женщин в наручниках и цепях в шерифском автобусе.

Кое-кто помоложе скулил и всхлипывал, когда мы выезжали на шоссе. Одна девчонка в клетке была, похоже, на восьмом месяце беременности, с таким животом, что ей понадобилась двойная цепь на талию, чтобы пристегнуть руки к бокам. Она икала и вздрагивала, все лицо было заревано. В клетку ее посадили из-за возраста, чтобы защитить от остальных. Ей было пятнадцать.

Женщина впереди обернулась к плакавшей и

зашипела, словно перцовый баллончик. Но без толку, и тогда она выкрикнула:

— Да заткнись ты, черт возьми!

— Ё-мое, — раздалось с сиденья наискось от меня.

Я из Сан-Франциско и давно привыкла к трансам, но эта особа выглядела как реальный мужик. Плечи шириной с проход и бородка по краю челюсти. Очевидно, она была из камеры с коблами, где держат таких мужланок. Ее звали Конан, и мне еще предстояло узнать ее.

— Ё-мое, она же еще девчонка. Пусть поплачет.

Но недовольная сказала Конан заткнуться, они начали препираться, и пришлось вмешаться копам.

Есть такие бабы в СИЗО и тюрьмах, которые всем раздают указания, и та, что требовала тишины, была как раз такой. Если подчинишься их требованиям, они станут требовать большего. Нужно давать им отпор, или останешься ни с чем.

Я уже научилась не плакать. Два года назад, когда меня арестовали, я плакала как заведенная. Моя жизнь была кончена, и я это понимала. В первую ночь в СИЗО я все время надеялась, что этот бредовый сон сейчас кончится, и я проснусь.

Но всякий раз, как я просыпалась, я оставалась на том же зассанном матрасе, слыша тот же лязг дверей (по-тюремному — роботов), крики психанутых баб и сигналы тревоги. Девчонка в камере со мной, не психанутая, грубо встряхнула меня, чтобы привести в чувство. Я взглянула на нее. Она повернулась ко мне спиной и задрала тюремную рубашку, открыв наколку на пояснице, блядскую метку. Там было выведено:

Захлопни ебало.

Это сработало. Я перестала плакать.

Это был момент особой близости с сокамерницей. Она хотела мне помочь. Не каждая может взять и захлопнуть ебало, и хотя я пыталась, я была не такой, как моя сокамерница, которую позже я стала считать кем-то вроде святой. Не из-за наколки, а из-за верности уставу.

Копы посадили меня в автобус в паре с еще одной белой. Шатенкой с длинными и жидкими лоснящимися волосами и широкой стремной улыбкой, словно из рекламы отбеливателя зубов. Мало у кого в СИЗО или тюрьме белые зубы, и ее тоже не отличались белизной, но она все время по-дурацки лыбилась. Мне это не нравилось. Впечатление было такое, словно ей сделали лоботомию. Она назвала мне свое полное имя — Лора

Липп — и сказала, что ее переводили из Чино в Стэнвилл, словно ей было нечего скрывать. Кроме нее никто не называл своего полного имени и не пытался выдать мне правдоподобный отчет о том, кто они такие, при первом знакомстве — никто так не делает, и я не исключение.

— Липп, с двумя «п», это фамилия моего отчима, которую я взяла потом, — сказала она.

Как будто я просила разъяснений. Как будто это могло что-то значить для меня, тогда или вообще.

— Мой отец-отец был Калпеппером. Это Калпепперы из Яблочной долины, не из Викторвилла. Потому что в Викторвилле есть ремонт обуви Калпеппера, понимаешь? Но это просто совпадение.

В автобусе не разрешалось разговаривать. Но ее это как будто не касалось.

— Моя семья насчитывает три поколения в Яблочной долине. Можно подумать, это такое чудесное место, да? Прямо чуешь аромат цветущих яблонь, слышишь жужжание пчел и думаешь о свежем сидре и теплых яблочных пирогах. Каждый год в уголке рукоделия уже с июля можно купить осенний декор — яркие листья и пластмассовые тыквы. Главное, чем известна Яблочная долина, это домашняя выпечка и метиловый

спирт. Но моя семья этим не занимается. Не хочу, чтобы у тебя возникло превратное представление. Калпепперы приносят пользу людям. Мой отец владел строительной фирмой. Не то что семья, откуда был мой муж, которая… Ой! Ой, смотри! Это «Волшебная гора»![1]

По другую сторону большого многополосного шоссе, по которому мы ехали, вздымались белые арки «русских горок».

Когда я перебралась в Лос-Анджелес, за три года до того, этот парк развлечений показался мне воротами в новую жизнь. Это было первое внушительное зрелище, возникшее передо мной, когда шоссе повернуло на юг — яркое, уродливое и будоражащее. Но теперь это было не важно.

— Со мной в блоке была леди, которая похищала детей в «Волшебной горе», — сказала Лора Липп, — со своим психанутым мужем.

У нее была манера поправлять свои лоснящиеся волосы, не прикасаясь к ним, словно она управляла ими электричеством.

— Она рассказала мне, как они проделывали это. Люди доверяли ей и ее мужу потому, что они были стариками. Ну, знаешь, приятные такие,

---

[1] Примечания: 1

Парк развлечений в городе Санта-Кларита в штате Калифорния.

милые пожилые люди, а у мамы, может, детишки разбегаются во все стороны, и она гонится за кем-нибудь, а тут эта старая леди — я делила с ней камеру в УЖКе[2], и она рассказала мне, как все проходило: она сидела там, вязала что-нибудь и предлагала присмотреть за ребенком. Как только родитель пропадал из вида, ребенка вели в туалет с ножом у горла. Эта старая леди со своим мужем разработала схему. На ребенка надевали парик, другую одежду, и затем эти старые подлюки вытаскивали бедняжку из парка.

— Кошмар, — сказала я и попыталась отстраниться от нее, насколько позволяли цепи.

У меня самой есть сын, Джексон.

Я люблю его, но мне тяжело думать о нем. Я стараюсь не думать о нем.

Мама назвала меня в честь одной немецкой актрисы, которая сказала грабителю банков на телешоу, что он ей очень нравится.

Очень даже, сказала актриса, ты мне очень нравишься.

Как и немецкую актрису, его пригласили на передачу, чтобы взять интервью. Приглашенные

---

[2] Примечания: 2

Учреждение для женщин Калифорнии (*англ.* California institution for women (CIW) — женская тюрьма.

почти не разговаривали между собой, сидя на стульях слева от стойки с телеведущими. Они по очереди пересаживались со своих мест к краю.

«Начинай с середины к краю», — сказал мне в свое время один хрен о столовых приборах. Я никогда не учила этого, и никто мне не объяснял. Он платил мне за свидание и, видимо, считал, что останется в убытке, если не будет весь вечер шпынять меня по мелочам. Уходя из его номера в отеле ночью, я прихватила сумку с покупками, стоявшую у двери. Он этого не заметил, поскольку решил, что я отработала деньги и он может валяться в постели, не обращая на меня внимания. Сумка была из «Сакс Пятая авеню», и в ней было много других сумок — все с женскими подарками, вероятно для жены. Безвкусные и дорогие шмотки, которые я никогда бы не стала носить. Я вышла с сумкой из отеля и засунула ее в мусорный бак по пути к машине, которую оставила через пару кварталов, в гараже на Мишн-стрит, потому что не хотела, чтобы этот тип хоть что-то узнал обо мне.

На крайнем стуле в телестудии сидел грабитель банков, которого пригласили, чтобы он рассказал о своем прошлом, а немецкая киноактриса сиде-

ла рядом, и она повернулась к нему и сказала, что он ей нравится. Моя мама назвала меня в честь этой актрисы, которая заговорила с грабителем, а не с ведущим.

Думаю, ему понравилось, что я украла эту сумку. Он хотел регулярно видеться со мной. Он искал себе подружку для острых ощущений, и я знала, что много женщин считали это золотым стандартом: одно свидание с таким мужчиной — и он тебе оплатит жилье на год вперед; все, что тебе нужно, это подцепить такого — и ты устроена. Я пошла на это свидание потому, что меня уговорила давняя подруга, Ева. Иногда тебе хочется того, что хотят другие, непроизвольно, и только потом ты понимаешь, что сама хочешь чего-то другого. Тем вечером, пока этот чурбан из Силиконовой долины разыгрывал близость между нами, словно мы любовники, — относился ко мне как к грязи, говорил, что я симпатична в «общепринятом» смысле, сорил деньгами напоказ, подчеркивая социальную пропасть между нами, как будто у нас были отношения, но, поскольку платил он, я должна была играть по его правилам, и он мог указывать мне, что говорить, как ходить, что заказывать, какой вилкой пользоваться, а я должна была делать вид, что наслаждаюсь, — я

осознала, что роль такой подружки не по мне. Я лучше буду зарабатывать, искушая клиентов приватными танцами в «Комнате на Марсе» на Маркет-стрит. Меня не волновал вопрос «честных денег», только вопрос отвращения. Я усвоила, что легче тереться о клиента, чем что-то говорить ему. У всех свои критерии, и каждая сама решает, на что готова. Я не могу изображать дружбу с клиентом. Мне не хотелось никого подпускать к себе, хотя я выделяла для себя пару ребят. Один был Джимми Борода, вышибала, который только хотел, чтобы я делала вид, что разделяю его садистский юмор. И еще Дарт, ночной менеджер, потому что у нас обоих были классические машины, и он всегда говорил, что хочет отвезти меня на автошоу «Жаркие ночи августа» в Рино. Он меня просто подкалывал и был для меня просто ночным менеджером. «Жаркие ночи августа». Такие шоу не по мне. Я ходила на гонки по грязи в Сономе с Джимми Дарлингом, ела хот-доги и пила бочковое пиво, пока гоночные тачки месили грязь на трассе, обтянутой цепью.

Некоторые девушки из «Комнаты на Марсе» старались как могли, чтобы завести себе постоянных клиентов. Я к этому не стремилась, но такой клиент у меня завелся, Курт Кеннеди. Укурок

Кеннеди.

Иногда я думаю, что Сан-Франциско проклят. Но главное, я считаю его унылым отстойником. Люди говорят, он прекрасен, но эта красота видна только приезжим, а тем, кто вырос там, она невидима. Вроде синих проблесков залива через подворотни вдоль улицы, огибающей задворки парка «Буэна-виста». Потом, уже в тюрьме, я представляла все это, словно гуляя по городу бесплотным духом. Дом за домом, я смотрела на все, что только можно, прижималась лицом к калиткам в подворотнях Викторианского квартала вдоль восточной стороны кафе «Буэна-виста», видела синюю воду, смягченную легчайшей дымкой, влажным поцелуем, знойным маревом. Когда я была на воле, эти виды не вызывали у меня восхищения. Когда я была подростком, этот парк был местом, где мы выпивали. Где пожилые мужчины искали, с кем бы развлечься, и валялись на матрасах в кустах. Мальчишки, которых я знала, били этих искателей приключений, а одного сбросили с утеса после того, как он купил им ящик пива.

В детстве я жила с мамой в городке Морага, и оттуда было видно, с Десятой авеню, парк «Золотые ворота», затем парк «Президио» и кирпично-

красные верхушки моста «Золотые ворота», а еще дальше крутые зеленые склоны холмов Мартин-хедлэндс. Я знала, что для всех людей на свете мост «Золотые ворота» считается чем-то особенным, но для меня и моих друзей он ничего не значил. Нам просто хотелось оттянуться. Для нас этот город был липкими пальцами тумана, пробиравшимися под одежду — вечно эти липкие пальцы, — и большими клочьями влажного тумана, окутывавшими Джуда-стрит, пока я ждала на присыпанных песком рельсах трамвая N, который в ночное время ходил раз в час, все ждала и ждала, в джинсах, забрызганных грязью из луж на парковке пляжа Оушн-бич. Или грязью от покорения Кислотной горы, то есть любой горы под кислотой. Помню неприятное ощущение тяжести на джинсах от затвердевшей грязи. Неприятное ощущение от кокаиновых тусовок с незнакомцами в мотеле в Колме, рядом с кладбищем. Этот город был промокшими ногами и отсыревшими сигаретами на дождливой пивной вечеринке в баре «Роща». Дождь, и пиво, и драки до крови в День св. Патрика. Помню, как мне стало плохо от «Бакарди 151», и я раскроила себе подбородок о бетонный бордюр в «Минипарке». Помню, как кого-то откачивали после передоза в притоне

для белых на Большом шоссе. Помню, как кто-то приставил заряженную пушку к моей голове без всякой причины в пивной «Большой оттяг», где в парке рядом играли в бейсбол. Это было ночью, и этот псих пристал к нам, когда мы сидели и пили наши сороковки[3] — ситуация настолько типичная, даже если со мной такого больше не случалось, что я не помню, чем все кончилось. Для меня Сан-Франциско был городом МакГолдриков и МакКиттриков, Бойлсов и О'Бойлса, Хиков и Хики с наколками «Да здравствует Ирландия», затевавшими драки и побеждавшими.

Наш автобус перестроился в правую полосу и стал тормозить. Мы съехали у выхода из «Волшебной горы».

— Они везут нас на карусели? — спросила Конан. — Это будет отпад.

«Волшебная гора» была слева, по другую сторону шоссе. А справа было окружное исправительное учреждение для мужчин. Наш автобус повернул направо.

Мир разделился надвое — на добро и зло, связанные вместе. Парк развлечений и окружная

---

[3] Примечания: 3

Дешевые солодовые напитки в стеклянных бутылках объемом 40 унций (1,14 л.).

тюрьма.

— Ну и ладно, — сказала Конан. — Не очень-то хотелось. Билеты чертовски дорогие. Уж лучше я бы вернулась в большой О. Ор-лан-до.

— Слушайте эту дуру, — сказала кто-то. — Не бывала ты ни в каком Орландо.

— Я там двадцать штук спустила, — сказала Конан. — За три дня. Привезла мою девочку. Ее детишек. Люкс с джакузи. Пропуск во все зоны. Стейки из аллигаторов. Орландо — это отпад. Намного отпадней, чем этот автобус, это точно.

— Думала, они везут тебя в «Волшебную гору», — сказала женщина напротив Конан. — Тупая пизда.

Все лицо у нее было в наколках.

— Ё-мое, да ты ходячая картинка. Я вот смотрю на нашу группу и голосую за тебя как за главную претендентку на успех.

Она фыркнула и отвернулась.

Что я в итоге сумела понять о Сан-Франциско, так это то, что я была погружена в красоту и не могла увидеть ее. И все равно, я никак не решалась уехать оттуда, пока меня не вынудил мой постоянный клиент, Курт Кеннеди, но проклятие города последовало за мной.

В остальных отношениях она была жалкой

личностью, эта актриса, в честь которой меня назвали. Ее сын порезал себе артерию на ноге, когда полез через забор, и умер в четырнадцать лет, после чего она стала пить не просыхая, пока не умерла в сорок три.

Мне двадцать девять. Четырнадцать лет — это целая вечность, если я столько проживу. В любом случае должно пройти в два с лишним раза больше времени — тридцать семь лет — до того, как я получу право на условно-досрочное освобождение, после чего, если мне его дадут, я начну отбывать второй пожизненный срок. У меня два пожизненных срока плюс шесть лет.

Я не планирую жить долго. Или недолго, если уж на то пошло. У меня вообще нет планов. Дело в том, что ты просто существуешь, независимо от своих планов на этот счет, а потом перестаешь существовать — и тогда твои планы теряют всякий смысл.

Но если у меня нет планов, это не значит, что у меня нет сожалений.

Если бы я никогда не работала в «Комнате на Марсе».

Если бы мне никогда не встретился Укурок Кеннеди.

Если бы Укурок Кеннеди не решил преследо-

вать меня.

Но он решил и делал это непрестанно. Если бы ничего из этого не случилось, меня бы сейчас не было в автобусе, который везет меня жить в бетонный ящик.

Мы остановились на красный свет после съезда с шоссе. Из окна виднелось перечное дерево, к которому был прислонен матрас. Даже эти две вещи, сказала я себе, должны быть связаны вместе. Никаких вам перечных деревьев с кружевными ветвями и розовыми зернами без грязных старых матрасов, прислоненных к их стволам, изогнутым вопросительным знаком. Все хорошее притягивает плохое и само становится плохим. Все кругом плохое.

— Я раньше каждый раз думала, что это мой матрас, — сказала Лора Липп, уставившись на бесхозный матрас. — Я ехала по Лос-Анджелесу, и видела матрас на тротуаре, и думала: «Эй, кто-то украл мой пружинный матрас»! Я думала: «Там моя кровать… там моя кровать». Каждый раз. Потому что, честно, они выглядели *точь-в-точь* как мой матрас. Я ехала домой, и моя кровать была на месте, в спальне. Я снимала покрывала и простыни, чтобы увидеть матрас и убедиться, что это мой, и каждый раз убеждалась. Я всегда

находила его там, дома, несмотря на то, что только что видела вылитый мой матрас, валявшийся на улице. У меня такое чувство, что я такая не одна, и это что-то типа всеобщей заморочки. Дело в том, что все матрасы обтягивают одним и тем же материалом и прошивают одинаково, и ты не можешь не думать, что это твой, когда видишь его лежащим на обочине шоссе. Типа, за каким чертом кто-то выволок сюда мою кровать?!

Мы проехали мимо освещенного рекламного стенда: «ТРИ КОСТЮМА за $129». Это было название фирмы. Три костюма за $129.

— Там тебя приоденут, — сказала Конан. — Выйдешь как картинка.

— Где они взяли эту дуру? — сказала кто-то. — Ей костюмчиков дешевых захотелось.

Где они взяли любую из нас. Это знали только мы сами, и никто этого не говорил. Кроме Лоры Липп.

— Хочешь знать, что они делали с детьми? — спросила меня Лора Липп. — Та старая леди и ее психанутый муж из «Волшебной горы»?

— Нет, — сказала я.

— Ты не поверишь, — продолжала она. — Это бесчеловечно. Они…

Прогремело объявление по громкоговорите-

лю. Нам сказали оставаться на местах. Автобус останавливался, чтобы выпустить трех мужчин, сидевших в отдельных клетках в передней части салона. Во время высадки с них не сводили пушки, как и с нас.

— Мать моя женщина, — сказала Конан. — Я пробыла там шесть месяцев.

Женщина, сидевшая впереди Конан, застремалась как подорванная.

— Ты реальный чувак? Реальный? Черт. Охрана! Охрана!

— Успокойся, — сказала Конан. — Я там, где надо. То есть не надо. Это вообще никому не надо. Но они подчистили мое дело. Они лажанулись и посадили меня с кавалерами в старом городе, в Центральный мужской. Это был откровенный ай-я-яй.

Раздались смешки и сдавленный ржач.

— Они посадили тебя в мужской обезьянник? Они думали, ты правда чувак?

— Не просто в окружной. Я была в тюрьме штата Васко.

По проходу прокатился гомон недоверия. Конан не стала никого убеждать. Позднее я узнала подробности. Конан действительно была в мужской тюрьме, по крайней мере в приемнике. Она,

или лучше сказать он, на самом деле выглядела как мужчина — именно так я и буду говорить о нем в дальнейшем.

Я сожалею о «Комнате на Марсе» и о Кеннеди, но есть и другие вещи, о которых вам бы, наверно, хотелось, чтобы я сожалела, хотя это не так.

Я не сожалею о тех годах, что прожила под кайфом, читая между делом библиотечные книги. Та жизнь не была плохой, даже если я вряд ли вернусь к ней. Я зарабатывала стриптизом и могла позволить себе покупать что хочу, а хотела я наркотиков, и если вы никогда не пробовали героин, я вас просвещу: под героином вы себе нравитесь, особенно поначалу. И другие люди тоже вам нравятся. Вам хочется быть снисходительными ко всему миру, всем дать поблажку, отнестись по-доброму. Ничто не приносит такого умиротворения. Первым, что я пустила себе по вене, был морфин — один парень по имени Билл растворил мне таблетку в ложке воды и помог уколоться, причем он не был для меня кем-то особенным, и я не думала всерьез о наркотиках, просто то, как он бережно взял мою руку и нащупал вену, то, как аккуратно ввел иглу, такую тонкую и изящную, сама эта ситуация со случайным парнем, которого я больше никогда не видела, вколовшим мне

дозу в заброшенном доме, — все это было именно тем, как девушка понимает любовь.

— Кайф от иглы, — сказал он. — Он тебя схватит за загривок.

Он обхватил меня за затылок, словно резиновыми щипцами, а затем по всему телу разлилось тепло. Я испытала самое большое расслабление в моей жизни, и меня прошиб пот. Я влюбилась в это ощущение. Я не скучаю по тем годам. Я просто вам рассказываю.

Когда мы снова ехали по шоссе, я отвернулась от Лоры Липп, насколько было возможно, и закрыла глаза. Через пять минут моих попыток уснуть она стала нашептывать мне снова.

— Вся эта ситуация из-за моей биполярности, — сказала она. — Если вдруг тебе интересно. Наверно, интересно. Это хромосомное.

Или, может быть, она сказала «хромосомичное». Потому что как раз такие люди теперь окружали меня. Люди, видевшие во всем заговор ученых. Мне не встретился ни один человек в тюрьме, который бы не был убежден, что СПИД изобрело правительство для искоренения геев и наркозависимых. С ними было трудно спорить. В каком-то смысле они были правы.

Женщина, шипевшая и дувшаяся на всех, обер-

нулась, насколько позволяли ее оковы. У нее была поблекшая и смазанная наколка в виде слезы и карандашные брови. Ее серые глаза отсвечивали зеленым, словно мы были в фильме про зомби, а не в автобусе, который направлялся в калифорнийскую тюрьму штата.

— Она детоубийца, — сказала она нам или, может, мне.

Она имела в виду Лору Липп.

В проходе показался коп.

— Ну, если это не Фернандес… — сказал он. — Услышу от тебя еще хоть слово, засуну в клетку.

Фернандес не взглянула на него и ничего не сказала. И коп вернулся на свое место.

Лора скорчила рожицу, слабо улыбнувшись, словно речь шла о каком-то легком недоразумении, на которое не стоило обращать внимания, как будто кто-то случайно испортил воздух, но уж точно не она.

— Ё-мое, ты убила своего ребенка? — сказал Конан. — Это пиздец. Надеюсь, мне не придется делить с тобой камеру.

— Думаю, у тебя есть проблемы посерьезней, чем претензии к сокамерницам, — сказала Лора Липп Конану. — Судя по всему, ты много времени проводишь в изоляторах и тюрьмах.

— Почему ты так решила? Потому что я черный? Я, по крайней мере, на своем месте. А ты выглядишь как цыпочка Мэнсона. Ничего личного. Мне скрывать нечего. Вот мое дело: непригодность к реабилитации. ОВР. Оппозиционно-вызывающее расстройство. У меня преступный склад ума, нарциссичный, рецидивистский и конфликтный. А также я хронический обломщик и эротоман.

Все погрузились в свои мысли, и кое-кто заснул. Конан храпел как бульдозер.

— С нами по долине катаются колоритные типажи, — прошептала мне Лора. — И слушай, я не девушка Мэнсона, и я знаю, о чем говорю. Я знаю разницу. С нами в УЖКе были Сьюзан Эткинс и Лэсли Ван Хутен. У них обеих были шрамы между глаз. Сьюзан замазывала свой особым кремом, но бесполезно. Она была чванливой зазнайкой с крестиком на лбу. Она со вкусом устроилась в камере. Разные парфюмы. Сенсорная лампа. Мне стало не по себе, когда одна из девушек сказала надзирателям перетряхнуть камеру Сьюзан, и они забрали все ее приятные вещицы. Об этом я подумала, когда узнала, что она умерла. Ей удалили часть мозга, и она была парализована, а они все равно не пускали ее домой. Когда я об этом услышала, я подумала о том, как они перетряхи-

вали ее камеру в УЖКе, забирали ее сенсорную лампу и лосьоны. Лэсли Ван Хутен в большей мере была зэчкой. Некоторым это внушает уважение. Но не мне. Это просто стадное мышление. Она умрет в тюрьме так же, как и Сьюзан Эткинс. Они ее не выпустят. Не раньше, чем перестанут заваривать кофе «Фолджерс», то есть никогда, потому что что же люди будут пить по утрам? Одной из их жертв оказалась наследница семьи Фолджеров, понимаешь? И они не хотят, чтобы Лэсли вышла, а они влиятельные люди. Пока есть Фолджеры, Лэсли из тюрьмы живой не выйдет.

Ее мать крутила интрижку с Гитлером. Мать немецкой кинозвезды. Той, в честь которой меня назвали. Ее мать крутила интрижку с Гитлером, но в то время, насколько я понимаю, в этом не было ничего такого.

— Как это ты не знаешь немецкого? — спросил меня как-то Джимми Дарлинг.

Мне никогда не приходило на ум, чтобы мама учила меня немецкому. Мне трудно было представить, чтобы мама хоть чему-нибудь меня учила.

— Она была вечно в депрессии, ей было не до того.

Есть родители, которые воспитывают детей

молчанием. Молчанием, раздражением, недовольством. Как это могло помочь мне выучить немецкий? Мне пришлось бы учить его по фразам, вроде: «Ты брала деньги у меня из кошелька, засранка мелкая?» или «Не буди меня, когда приходишь».

Джимми сказал, что знает только одно немецкое слово.

— Это *angst?* [4]

— *Wunsch*. Это значит желание, хотение. Почти как пунш. Вполне разумно.

Я попыталась заснуть, но единственная поза для сна, доступная в таком положении, — это сидеть, опустив подбородок на грудь. У меня ныли предплечья от наручников, пристегнутых к цепи, обвивавшей мою талию, чтобы руки висели неподвижно по бокам. Кондиционер работал так, что в автобусе было, похоже, градусов 55[5]. Мне было холодно и неудобно, а мы только проезжали округ Вентура. Впереди было еще шесть часов. Я стала думать о тех детях в туалетной кабинке в «Волшебной горе» — как на них натягивали

---

[4] Примечания: 4
Страх (*нем.*).

[5] Примечания: 5
55°F = 12,7°C.

парики и солнечные очки и поспешно переодевали. Они становились неузнаваемы не только в своем новом облике, но и в своей новой жизни. Они становились посторонними, другими детьми, изуродованными самим этим похищением, задолго до того, как привыкнут к своему новому, бедственному положению, внезапно уготованному им судьбой. Я представляла этих детей в париках и толпы людей, слонявшихся по парку развлечений, не зная о том, что требуется помощь потерянному, похищенному ребенку. Я представила Джексона, словно его вырывала у меня старуха с вязаньем на скамейке, и мне стала видеться его веснушчатая мордашка — эти образы реяли и пульсировали, не теряя яркости и четкости.

Джексон с моей мамой. Это единственное, за что я благодарна жизни, — что у него есть она, даже если сама я от нее не в восторге. Она не бабка-психопатка, вяжущая на скамейке. Она угрюмая немка, без конца курящая и живущая за счет замужеств, разводов и повторных замужеств. Она предельно холодна со мной, но к Джексону относится довольно тепло. Мы с ней разошлись много лет назад, но, когда меня арестовали, она взяла Джексона. Ему тогда было

пять. Теперь семь. За те два с половиной года, что я провела в СИЗО, пока мое дело двигалось по судам, она привозила его повидаться со мной так часто, как только могла.

Если бы у меня были деньги на частного адвоката, я бы наняла его. Мама предложила заложить свою однокомнатную квартиру на набережной Эмбаркадеро в Сан-Франциско, но, поскольку она уже дважды закладывала ее, она задолжала больше, чем стоила квартира. В одном доме с мамой жила знаменитая старая стриптизерша, Кэрол Дода — когда я была маленькой, ее неоновые соски сверкали красным над Бродвеем. Иногда, приезжая к маме, я пересекалась с ней в холле, нагруженной магазинными сумками и с тявкавшей собачкой. Выглядела она неважно, как и моя мама, которая была безработной и страдала от пристрастия к обезболивающим.

Одно время, довольно недолго, имелась надежда на правовую помощь в моем деле от одного джентльмена, знакомого мамы, по имени Боб, водившего бордовый «ягуар», носившего пиджаки в клетку и пившего коктейли «Манхэттен». Мама говорила, что Боб был готов оплатить услуги адвоката. Но потом Боб исчез; он действительно пропал. Его тело потом выловили в Русской реке.

У моей мамы плоховато со связями; большинство из них сомнительны. Мне назначили государственного защитника. Мы все надеялись, что все сложится по-другому. Но ничего не сложилось. Все получилось как получилось.

Наш автобус полз по правой полосе рядом с тягачами с прицепами. Мы проезжали Кастайк, последнюю остановку перед Грэйпвайном. Как-то раз я была в баре в Кастайке вместе с Джимми Дарлингом, после того как сбежала в Лос-Анджелес, чтобы отвязаться от Курта Кеннеди, чьей жертвой я была в то время. Джимми Дарлинг перебрался в Валенсию, чтобы преподавать в художественной школе. Он сдавал в субаренду дом на ранчо неподалеку от Кастайка.

Чего мне нельзя говорить: я по-прежнему жертва Курта Кеннеди, хотя он уже мертв.

Я знала эту область, как и Грэйпвайн, ветреный, пустой и выматывающий — этакое испытание, которое нужно пройти, чтобы попасть в Северную Калифорнию. Увидев так близко эту замусоренную землю за окном с металлической сеткой, я безумно захотела, чтобы реальность вывернулась наизнанку, словно сумка, и разошлась по шву, чтобы я прорвалась сквозь него и выбралась наружу, на эту ничейную землю.

Лора Липп словно прочитала мои мысли и сказала:

— Я лично чувствую себя здесь в большей безопасности, чем там, где творится все это. Больное, жуткое, беспокойное — и ты не можешь ничего с этим поделать.

Я смотрела в окно, за которым не было ничего, кроме естественного покрова земли в виде камней и кустов, простиравшихся до бесконечности по ухабистой долине.

— Многие дальнобойщики серийные убийцы, и они не попадаются. Они всегда в пути, понимаешь? Из штата в штат. Местные власти об этом помалкивают, так что никто не знает. Все эти дальнобойщики, колесящие по Америке. У кого-то из них на лежаках за кабиной связанные женщины с кляпами во рту. У них же там занавески, чтобы было не видно. А мертвые тела они выбрасывают в мусорные контейнеры на стоянках, по частям. Вот почему их называют дальнобойщиками — они забойщики на дальней дистанции. Забойщики женщин и девушек.

Мы миновали стоянку. Какая убедительная и прекрасная идея. По сравнению с этим автобусом и этой полоумной любой плод моего воображения был прекрасен. Чего бы я не отдала, чтобы спать

сейчас за торговыми автоматами на стоянке, холодно светившимися, пока мы проезжали мимо. Всякий человек, который мог случайно проезжать через стоянку, стал бы моей родственной душой, моим союзником против Лоры Липп. Но у меня никого не было, и я была привязана к ней.

– *Я* живая, — сказала она, — но это мало что значит. У меня сердце вырезали бензопилой.

Мы ехали под уклон и миновали рампу на выходе из устья Грэйпвайна перед въездом в долину. Я знала эту рампу. Это была крутая дорога с насыпным гравием, которая никуда не вела, для машин с отказавшими тормозами. Я знала, что больше никогда не увижу эту рампу для потерявших управление грузовиков, и я ощутила такую любовь к ней — это была хорошая, добротная грузовая рампа, — я вдруг увидела, каким хорошим и добротным, и родным, хрупким и родным, было все вокруг.

— Знаешь, как об этом говорят: это то, чего у тебя нет, и ты предлагаешь это кому-то, кто этого не хочет.

Я окинула ее враждебным взглядом.

— Я говорю о любви, — сказала она. — Вот, к примеру, я выхожу на улицу и подбираю камешек. Я поднимаю его и говорю кому-нибудь: этот

камешек — я. Возьми его. А человек думает: я не хочу этот камешек. Или говорит спасибо и кладет в карман, а может, в камнедробилку, и им все равно, что этот камешек — я, потому что на самом деле это не я, я просто *решила*, что это я. Я *позволила*, чтобы меня раздробили. Понимаешь, о чем я?

Я ничего не ответила, но она продолжала говорить. Она не собиралась умолкать до самого Стэнвилла.

— В тюрьме ты хотя бы знаешь, чего ожидать. То есть не то чтобы *наверняка*. Это непредсказуемо. Но в смысле однообразия. Тут не случится чего-то трагичного и ужасного. То есть, конечно, всякое бывает. Конечно, всякое случается. Но в тюрьме ты не можешь потерять все, потому что ты уже все потеряла.

Барменша в Кастайке флиртовала с Джимми Дарлингом тем вечером, когда мы завалились туда. Это была одна из моих обязанностей в наших отношениях — следить за всякими фифами, пытавшимися тихо намекнуть Джимми Дарлингу, чтобы он слил эту суку, то есть меня.

Но он меня не сливал. Только потом, когда я попала в СИЗО и позвонила ему, я поняла по его голосу, что все кончено, но я храбрилась, что мне

все равно. Мне нужно было сосредоточиться на том, что творилось со мной. Он спросил, как мои дела, таким формальным тоном.

— Ты только что узнал обвинение заключенной исправительного учреждения округа Лос-Анджелес, — сказала я, — как, блядь, по-твоему, мои дела?

Моя эра, моя фаза действительно подошла к концу — и для меня, и для него. Он написал мне один раз, но в письме было только о том, что на носу бейсбольный сезон, и ни слова о том, что мне грозит пожизненное заключение.

На месте Джимми Дарлинга вы могли бы поступить так же. Не в смысле письма про бейсбол, а прекратить отношения с обреченным человеком. Любой адекватный парень, который крутил бы со мной роман забавы ради, бросил бы меня, узнав, что меня посадили. Когда дело касается тюрьмы, это уже не забавно. Но может, я сама его оттолкнула?

Джимми Дарлинг вырос в Детройте. Его отец работал на «Дженерал моторс». Подростком Джимми Дарлинг устроился работать в автостекольную компанию. Он сказал мне, что как только впервые почувствовал запах клея для автостекол, он понял, что всегда мечтал об этом

запахе, именно этого конкретного клея, и что это его судьба — заменять стекла в машинах. По счастью, у Джимми была не одна судьба. Вылетев из колледжа, он стал снимать фильмы о «ржавом поясе». Он ориентировался на рекламные ролики, розыгрыши, он был мистер Синий воротничок от кино. Я его подкалывала на этот счет, но сама считала трогательным его романтическую увлеченность Детройтом. Один из его фильмов показывал, как его рука переворачивает одну за другой игральные карты из колоды «Дженерал моторс», которую подарили его отцу при выходе на пенсию, после сорока лет работы на сборочной линии. Компания отблагодарила его отца за десятилетия верности и изнурительной работы колодой игральных карт.

— Знаешь, что теперь в штаб-квартире «Джи-Эм» на Кадиллак-плэйс? — сказал Джимми Дарлинг. — Офис денежных выплат по лотерее.

Джимми простоял снаружи весь день, намереваясь заснять, как победитель лотереи заходит за выигрышем. Ни один не пришел.

Я познакомилась с Джимми Дарлингом через одного из его студентов, с которым спала в то время. Это был парень по имени Аякс, молодой и без денег, он жил к югу от Маркет-сквера, в

геодезическом куполе на крыше склада. Аякс работал уборщиком в «Комнате на Марсе». Меня подкалывали насчет того, что я сплю с мальчишкой, который зарабатывает тем, что вытряхивает мусорные баки с использованными презервативами, но мне было все равно. А еще объектом шуток было его имя, совпадавшее с названием чистящего средства, но он сказал мне, это греческое имя. Ох уж эти дамочки со своими дутыми стандартами — они торгуют своими задницами, но не будут встречаться с уборщиком. Хотя, должна признать, Аякс был молодым и назойливым; он то и дело дарил мне что-нибудь, но это были бесполезные вычурные вещицы вроде сломанного пылесоса, который он нашел на улице, а один раз он заявился под кислотой и стал говорить с ирландским акцентом, а когда я сказала ему перестать, он сказал, что не может. Однажды он взял меня на вечеринку в художественную школу и познакомил с Джимми — и конец. Я ушла с вечеринки с Джимми, который был обаятельней и не портил мне нервы.

— Почему же ты не пошла в колледж? — спросил меня как-то Джимми Дарлинг.

Он считал меня башковитой, но страдал наивным представлением людей с образованием о

том, что если кто-то не закончил колледж, значит, ему это не по зубам.

— Я была вечно в депрессии.

— Ты это сказала про маму, когда я спросил, почему она не научила тебя немецкому.

— Одно другому не мешает. По-твоему, это так удивительно, что девушка, которая работает в стрип-клубе, умная? Все стриптизерши, которых я знаю, умные. А некоторые практически гении. Может, ты подрулил бы к ним со своей карманной камерой и опросил по очереди, почему они не учились в колледже?

Когда я была подростком, мне все говорили, что у меня есть задатки. Мне говорили это учителя и другие взрослые. Если у меня они и были, я ничего с ними не делала. Я сумела не закончить, как Ева, и это уже было некоторым достижением — не ловить клиентов в семь утра по рабочим дням на углу Эдди-и-Джонса[6]. Я завязала с наркотиками, когда узнала, что беременна, но это я не считаю большим достижением — я просто предотвратила катастрофу. Я работала в «Комнате на Марсе» приватной танцовщицей. Это далеко не лучший стрип-клуб в Сан-Франциско. Он не имеет особого

---

[6] Примечания: 6

Один из центров ночной жизни Сан-Франциско.

статуса, если только вас не впечатлит узнать, что «Комната на Марсе» не второсортный или дешевый стрип-клуб, а несомненно худший из всех, с самой дурной репутацией, самый молодежный и карнавальный. Возможно, он привлекал меня тем же, чем я привлекала Джимми. Неким экстримом, вызывавшим ощущение исключительности и притягательности, к тому же некоторые из тамошних женщин действительно были гениями.

Я не говорю, что я исключительная или экстремалка, но у Джимми Дарлинга никогда не было девушки, которая бы выпихнула его на ходу из своей «импалы». Мы ехали медленно, пять-десять миль в час. Я сделала это потому, что была на взводе, однако Джимми потом просил меня повторить это для прикола, но я отказалась. Он никого не знал, кто жил бы в отеле в Тендерлойне, и его всегда слегка смущали загаженная лестница, бардак, крики соседей и то обстоятельство, что надо было заплатить, чтобы подняться наверх. В магазине здорового питания мы столкнулись с одной моей знакомой, которая была под кайфом и чесалась. Она хотела купить сок и спросила Джимми, не знает ли он, натуральный это или нет, и он так растерялся, как будто никогда не слышал ни о чем подобном — о торчках, не

признающих ненатуральный сок. Он был вполне благополучным человеком, как и большинство приезжих. Нормальный, образованный, трудоустроенный, он считал, что в его существовании есть смысл и т. д., и ему были непонятны люди, выросшие в городе, их нигилизм, неспособность поступить в колледж или вписаться в мир традиционных ценностей, устроиться на постоянную работу или поверить в будущее. Я как бы приобщала его к этому. Но это не значит, что Джимми Дарлинг опускался в социальном положении, встречаясь со мной. Вовсе нет. Он был таким же простым, как я, даже еще проще, но он, в отличие от меня, не жил в трущобах.

Вы замечали такое, что женщина может казаться простой, тогда как к мужчинам это не относится? Вы никогда не услышите, чтобы о мужчине говорили, что он простой. Простой мужчина — это средний, типичный мужчина, приличный работящий человек со скромными мечтами и возможностями. Но простая женщина — это женщина, которая выглядит дешево. А женщину, которая выглядит дешево, можно не уважать, потому что ей присваивают определенную стоимость, определенную дешевую стоимость.

В «Комнате на Марсе» мне не нужно было приходить по часам, улыбаться или подчиняться каким-то правилам или думать о большинстве мужчин иначе как о неудачниках, которых можно использовать, в то время, как они считали, что используют нас, так что атмосфера там была довольно враждебная, даже при том, что мы как бы подчинялись клиентам. В «Комнате на Марсе» можно было делать что хочешь; по крайней мере, я так считала. Когда я встречалась с папой Джексона, я разбила бутылку о его голову, а он врезал мне по лицу, и через пять часов я появилась на работе с синяком под глазом и в темных очках — и никто ничего не сказал. Несколько раз я приходила туда такой пьяной, что еле волочила ноги. Некоторые девушки то и дело проводили несколько первых часов смены в раздевалке, клюя носом с пудрой в одной руке. С этим проблем не возникало. Руководству было все равно. Были девушки, работавшие с публикой в стандартной униформе из кружевного лифчика и трусиков, но в раздолбанных кедах вместо шпилек. Если ты принимала душ, этого было достаточно для работы в «Комнате Марса». Если слова в твоих тату были написаны без ошибок, ты считалась ценным приобретением. Если ты не

была на пятом или шестом месяце беременности, ты была девочка-что-надо и могла зажигать в клубе ночью. Бывало, что какая-нибудь девушка распыляла перцовый баллончик в лицо клиенту, и нам приходилось выбираться на свежий воздух, чертыхаясь и кашляя. Одна танцовщица разозлилась на Дартаньяна, ночного менеджера, и подожгла раздевалку. Да, ее уволили, но это была исключительная мера.

Мы должны были изображать пуси-муси с клиентами, но не более того, это была единственная наша обязанность, и даже она не была обязательной. Мы делали это ради денег, так что стимул у нас имелся. Главное было не посраться с Джимми Бородой и Дартом. Но это тоже было легко. Флиртуй с ними — все будет в порядке. Просто смешно, насколько слабы были их большие эго.

Смотрите, не подумайте, что Джимми Борода и Джимми Дарлинг — это один человек. У них нет ничего общего, кроме имени. Джимми Борода был вышибалой в «Комнате на Марсе», а Джимми Дарлинг был, пусть и недолго, моим парнем.

Я сказала: все было в порядке, но ничего не было в порядке. Из меня высасывали жизнь. Проблема была не морального плана. Мораль здесь ни при чем. Эти мужчины не давали мне сиять в полную

силу. Отупляли мою восприимчивость к прикосновениям и делали меня злой. Я отдавала и получала что-то взамен, но всегда слишком мало. Я вытряхивала из этих бумажников — именно так я о них думала, как о ходячих бумажниках, — все, что только могла. Но я понимала, что это не равноценный обмен, и это понимание нарастало на мне как короста. Что-то накипело во мне за те годы, что я проработала в «Комнате на Марсе», присаживаясь на колени клиентов, совершая этот порочный обмен. Эта накипь во мне густела и пузырилась. И когда я выплеснула ее — я не принимала сознательного решения; за меня решили инстинкты — получила то, что получила.

На самом деле у Джимми Бороды и Джимми Дарлинга было больше общего, чем только имя. У них была я. А потом меня у них не стало.

Сейчас я понимаю, что определенные объекты моей злобы вызывали ее не сами по себе. Как тот мужчина, что хотел себе подружку для острых ощущений, тот, что учил меня застольному этикету: он вызвал мою неприязнь потому, что напомнил мне кое-кого из далекого детства, мужчину, у которого я спросила дорогу. Мне было одиннадцать, и я пошла в Старый город, чтобы

встретиться с Евой и попасть на полуночное представление в панк-рок-клуб. Время было позднее, и я потеряла дорогу. Зарядил дождь. В ночное время Старый город в Сан-Франциско безлюден, но рядом оказался пожилой седовласый мужчина, закрывавший прекрасный «мерседес», и он спросил меня, не нужна ли мне помощь. Он выглядел так по-отцовски, уважаемым бизнесменом в костюме. Мне нужна была помощь. Я сказала ему, куда мне нужно было попасть, а он сказал, что пешком это слишком далеко.

— Я могу дать тебе денег на такси, — сказал он.

— Правда? — сказала я с надеждой в голосе.

Я мокла под дождем. Он сказал, что с радостью поможет мне, и для этого нам нужно зайти к нему в отель. Он с радостью поможет мне, но сперва мы должны подняться к нему в номер и выпить.

Тот мужчина из «мерседеса» значил для меня не больше, чем тот, что хотел себе подружку и учил меня этикету. Я не знала имени ни того, ни другого. И каждый из них хотел от меня одного и того же.

Наш автобус катился под уклон с холма, въезжая в Калифорнийскую долину.

— Многие люди болтают всякую хрень про

тюрьму, но тебе придется проживать свою судьбу каждую минуту, — сказал Конан. — Просто проживай ее. Когда я прошлый раз был за решеткой, я такие тусы закатывал — не поверишь. Ты бы не подумала, что это тюрьма. У нас было любое бухло. Таблетки. Чумовой музон. Танцы на шесте.

— Эй! — закричала Фернандес надзирателям, сидевшим впереди. — Эй, эта леди рядом со мной, вы бы ее проверили.

Сопровождавший нас коп, который знал Фернандес, обернулся и сказал ей успокоиться.

— Но эта леди… С ней что-то не так!

Крупная женщина на соседнем месте сидела вразвалку, уронив голову на грудь. В местной позе для сна.

Вы бы не пошли с ним. Я вас понимаю. Вы бы не стали подниматься в его комнату. Вы не стали бы просить его о помощи. Вы бы не оказались в полночь на незнакомых улицах, когда вам было одиннадцать. Вам было тепло и сухо, и вы спали дома, с мамой и папой, которые заботились о вас и говорили вам, что можно, а чего нельзя, и вы всегда должны были быть дома не позже положенного времени, чтобы оправдать родительские ожидания.

Для вас все было бы другим. Но если бы вы были

мной, вы бы сделали то, что сделала я. Вы бы пошли с незнакомым мужчиной, наивно надеясь, что он даст вам денег на такси.

Где-то в низменной части Калифорнийской долины, когда небо все еще было темным, я посмотрела в окно и увидела две массивные черные тени, нависавшие впереди. Они выглядели как темные смолянистые гейзеры, фонтанирующие сбоку шоссе. Что это за жуть поднималась в небо, заполняя его сажей? Это были огромные черные тучи дыма или чего-то ядовитого.

Я читала об утечке газа, о массах загрязняющих веществ, объемом сколько-то фунтов, бивших в небо во Фресно. Когда объемы газа измеряются в фунтах, это тревожный признак. Может, это была какая-то экологическая катастрофа, неочищенная нефть, прорвавшая подземный трубопровод, или что-нибудь слишком кошмарное для разумного объяснения, огонь, горящий черным вместо рыжего.

Когда наш шерифский автобус приблизился к гигантским черным гейзерам, я смогла рассмотреть их получше.

Это оказались силуэты эвкалиптовых деревьев в темноте.

Никакой катастрофы. Никакого апокалипсиса.

Просто деревья.

На рассвете нас окутал густой туман. Вся Калифорнийская долина стала похожа на море. По шоссе плыли клочья влаги. Я ничего не различала за этой дымовой завесой.

Лора Липп заметила, что я проснулась.

— Ты читала о женщине, которую нашли убитой в машине? К ней подошел мужик с ножом или чем-то таким, каким-то оружием, и говорит: вези меня к банкомату. Он залез к ней в машину и в итоге убил ее — пробил ей голову — без всякой причины. Вообще без причины. Они даже *не знали* друг друга. Жизнь в городе стала настолько дикой и опасной — представь, в два часа дня. На бульваре Сепульведа. Через несколько часов ее нашла полиция. Того мужика только выпустили из тюрьмы тем утром. И он слонялся по улицам, пока не нашел кого убить. Я тебе говорю, под стражей нам безопасней. Здесь меня не сцапают, не-а. Ни за что. Нет.

Нас окружали сельскохозяйственные посевы. Я не видела людей, работавших в полях. Поля были во власти машин, а я была во власти Лоры Липп.

— Если бы его не выпустили, она была бы жива. Для некоторых людей реальность слишком тонкая штука. Некоторых людей свет пробивает

насквозь, определенных личностей, сумасшедших личностей, личностей с психическим расстройством, и я знаю, что это значит, — я уже сказала, я здесь из-за биполярного расстройства — и я рада, что у них тут кондер, потому что жара обостряет мое состояние. Моментально.

Когда встало солнце, туман рассеялся. Ветер трепал кустистые олеандры на разделительной полосе, их персиковые соцветия угрюмо качались как сумасшедшие, а потом возвращались в нормальное положение, и ветер снова набрасывался на их персиковые бутоны.

Автобус наполнился вонью от коровьего навоза, и это, похоже, разбудило Конана. Он зевнул и посмотрел в окно.

— Что надо помнить про коров — что они все *одеты в кожу*, — сказал он. — С ног до головы, сплошная кожа. Это круто. То есть если задуматься об этом.

— У бедной женщины был ребенок, — сказала мне Лора Липп. — Теперь сирота.

Сбоку шоссе росли эвкалиптовые деревья, о которых я думала ночью в темноте, что это черные тени апокалипсиса. Теперь же они просто выглядели пыльными и понурыми. В Южной Калифорнии листья не опадают с деревьев де-

сятилетиями. Деревья, которые не сбрасывают листья, имеют одно свойство — собирать год за годом пыль, грязь и автомобильные газы.

— Я слыхал об этих стейках, которые теперь подают на Среднем Западе, — сказал Конан, глядя на этих жалких созданий, валявшихся в грязи, такой бескрайней, без единой травинки, что сами коровы тоже казались частью грязи, живой грязью, органической, дышащей, срущей грязью. — Коров поят пивом. «Будвайзером», если точно. Его вливают коровам насильно. Заставляют пить. От этого мясо нежнее. Но, слушай, эти телки достаточно взрослые, чтобы пить? Я хочу попробовать этот стейк. Вот что я сделаю, когда выберусь из этой жопы, — рвану на Средний Запад.

В проходе показался надзиратель для штатной проверки.

— Ел когда-нибудь цветущий лук? — завопил ему Конан.

Надзиратель пошел дальше. Конан закричала ему в спину, удалявшуюся по проходу.

— Они рвут эти стебли, мнут их, жарят во фритюре. Черт, это что-то. Такого больше нигде не попробуешь. Это фирменное блюдо.

Мы проехали мимо ранчо. Я заметила качели из покрышки и купу мохнатых калифорнийских

веерных пальм, также известных как крысиные пальмы, неофициального талисмана штата. Во дворе было объявление: «Изберем Критчли окружным прокурором округа Фресно». Изберем Критчли.

На левой полосе велись дорожные работы, и один рабочий держал знак, чтобы водители сбрасывали скорость и перестраивались вправо.

— Я твою рубашку сшила, уебок! — прокричал Конан в стекло.

Но рабочий ничего не услышал. Слышно было только нам.

— Лондон, потише, — сказал коп через микрофон.

— Мы в Васко шьем эту форму для дорожных рабочих. Вы поклейте отражатели.

Я стала замечать белые воздушные массы, проплывавшие мимо окон автобуса. Они плыли по всему шоссе. Они не падали сверху, а парили и кружились вдоль дороги.

Белые хлопья вылетали из грузовика впереди нас.

Я не могла понять, что везет грузовик, пока мы не обошли его, и тогда я увидела, что кузов заставлен рядами металлических клеток, в которых сидели индейки.

Им было так тесно, что их длинные шеи были согнуты. Ветер вырывал их перья, и они летели белыми хлопьями по шоссе. Был ноябрь. Эти индейки предназначались для Дня благодарения.

— Вы бы лучше проверили эту! — снова завопила Фернандес насчет своей соседки, кренившейся набок. — Эй!

Эта женщина была массивной. В ней могло быть три сотни фунтов. Она начала сползать с сиденья. Она сползала, пока не оказалась в скрюченном положении на полу в проходе. Возникло шевеление, люди стали шептаться и цокать.

— Вот это я называю вздремнуть, — сказал Конан. — В отключке. Хотел бы я так. Трудно мне устроиться с комфортом в транспортных автобусах.

— Эй! — взывала Фернандес через весь салон. — Вы должны навести тут порядок. У этой леди проблема.

Один из копов поднялся и пошел в заднюю часть. Он встал над женщиной, сползшей на пол, и завопил:

— Мэ-эм! Мэ-эм!

Когда это не подействовало, он ткнул ее в плечо концом армейского полусапога.

А затем завопил в переднюю часть:

— Не реагирует.

Они называют себя пенитенциарным персоналом. Настоящие копы считают тюремных надзирателей не копами, а неудачниками, стоящими в самом низу правоохранительной иерархии.

Тот, что сидел впереди, позвонил по телефону.

Второй хотел было вернуться вперед, но остановился и взглянул на Фернандес.

— Слышал, ты замуж вышла, Фернандес.

— Займись собой, — сказала она.

— Позволь спросить, Фернандес. У них бывают специальные свадьбы, типа специальной олимпиады?

Фернандес улыбнулась:

— Если я когда-нибудь решу выйти за дебила вроде вас, сэр, я это выясню.

Конан одобрительно ухнул:

— Дебилы вроде меня не женятся на жирных страшных тюремных шалавах, Фернандес.

Он прошел по проходу и сел на свое место. Похоже, он уже забыл о женщине, потерявшей сознание.

Лора Липп заснула, а это значило, что она наконец утихомирилась.

Мы ехали в тишине, с необъятным бессознательным телом на полу автобуса, наполовину

под сиденьем.

2

Чем меня не устраивал Сан-Франциско — это тем, что у меня там не могло быть будущего, только прошлое.

Для меня этот город начинался с прибрежного района Сансет, блеклого, затянутого туманом, без деревьев, с бесконечными однообразными домами, построенными на песчаных дюнах, простиравшихся на сорок восемь кварталов в сторону пляжа. В этих домах проживали китайские эмигранты из среднего-среднего и низшего-среднего классов и ирландцы-католики из рабочего класса.

«Жареных мух», — говорили мы, заказывая ланч в средней школе. Так мы называли жареный рис, подававшийся в картонных коробочках. Восхитительный на вкус, но его всегда было мало, особенно если у вас отнимали его. Мы называли их гуками. Мы не знали, что это словечко относилось к вьетнамцам. У нас гуками были китайцы. А лаосцы и камбоджийцы были плавунами. Это были 1980-е — подумать только, через что прошли эти люди, чтобы попасть в Штаты. Но мы этого не знали и не хотели знать. Они не говори-

ли по-английски и пахли своей странной пищей.

Сансет с гордостью причислял себя к Сан-Франциско, однако он не имел ни малейшего отношения к тому, о чем вы могли подумать: ни к радужным флагам, ни к поэзии битников, ни к крутым извилистым улицам — его отличительными чертами были туман, ирландские бары и алкогольные магазины на всем протяжении до Большого шоссе и переливчатое море битого стекла вдоль бесконечной парковки пляжа Оушн-бич. А еще это были мы, девчонки на задних сиденьях чьих-нибудь тюнингованных «чарджеров» и «челленджеров», ехавших недолгой, но длинной дорогой вдоль сорока восьми кварталов на пляж, это было ружье одного мальчишки с украденным глушителем и стайки людей на углах улиц с отдельными пятнами белых одежд.

Если вы приезжали в город или жили в другой, более завидной части города и приезжали на пляж, вы могли видеть за дамбой наши костры, от которых волосы девушек пахли дымом. Если вы бывали там в начале января, вы могли видеть особенно большие костры из выброшенных рождественских елок, таких сухих и горючих, что они взрывались снопами искр. После каждого взрыва мы радостно голосили. Говоря «мы», я

имею в виду БППД. Мы любили жизнь больше, чем будущее. «Белые панки под дурью»[7] — это название одной песни; мы ее даже не слушали, тем более что многие из нас не были белыми. Эти буквы значили для нас что-то свое, не группу, а тусовку. Наши ценности, стиль одежды, образ жизни, бытия. Кто-то переправил наши граффити на «Беглые подонки под дверью», что довольно странно, учитывая, что весь мир сансетских БППД отвергал идеалы «белых подонков», а вовсе не беглых, и белые ребята, не разделявшие этих идеалов, рисковали не меньше черных загреметь в реабилитационный центр или за решетку, если они не окажутся в числе немногих избранных, очень немногих девочек и мальчиков, которые соответственно либо поступят в «Школу красоты Делюкс», либо устроятся на работу в «Крыши Джона Джона» на Девятой авеню, между Ирвинг-стрит и Линкольн-стрит.

Когда я была маленькой, я увидела обложку старого журнала, на которой были рясы и ступни людей, выпивших «кул-эйд» Джима Джонса в

[7] Примечания: 7

«White Punks on Dope» (*англ.*) — песня 1975 г. рок-группы «The Tubes» из Сан-Франциско.

Гайане[8]. Все мое детство этот образ преследовал и угнетал меня. Однажды я рассказала об этом Джимми Дарлингу, и он сказал, что на самом деле это был не «кул-эйд», а «хай-си».

Кем надо быть, чтобы придавать значение такой детали?

Паршивым умником. Таким, который смотрел на это так отстраненно, как я не могла. Я вовсе не боялась стать жертвой какого-то культа. Меня угнетало не чувство опасности при виде этих ног мертвецов и ведра, в котором был яд. Эта фотография угнетала меня тем, что можно было выпить смерть и обрести ее.

Когда мне было лет пять или шесть, я увидела в супермаркете книжку в мягкой обложке, на которой изображалась голая женщина в луже крови, а из ее тела торчали два ножа. На обложке было написано «Дважды убитая». Это было название. Моя мама в тот момент делала покупки где-то неподалеку. Мы были в торговом центре на Ирвинг-стрит, и я почувствовала себя так, словно находилась не через несколько торговых

---

[8] Примечания: 8

Речь идет о массовом самоубийстве 918 человек из религиозной секты Джима Джонса (1931–1978) «Храм народов», произошедшем 18 ноября 1978 г. в Гайане, в Южной Америке. Сектанты выпили цианистый калий в порошковом соке «Kool-Aid» — букв. прохладная помощь (*англ.*). До 1977 г. секта базировалась в Калифорнии.

рядов от нее, а была напрочь смыта волной в море, в неотвратимый мир *дважды убитой*. По дороге домой меня мутило. Когда мы с мамой сели обедать, я не могла есть. Она не готовила сама, просто разогревала что-нибудь, вроде лапши «Топ-рамен», а потом отправлялась на свидание с очередным ухажером.

Несколько лет после этого всякий раз, как я думала о том рисунке на обложке «Дважды убитой», меня мутило. Теперь я понимаю, что мое переживание было естественным. Ты узнаешь в нежном возрасте, что существует зло. Ты впитываешь это знание. Когда такое случается впервые, это не проходит легко. Это пробивает тебя.

Когда мне было десять, я попала под влияние одной девочки постарше по имени Тайра. У нее были остекленелые глаза, холодно-смуглая кожа и хрипловатый голос крутой девахи. Тем вечером, когда я познакомилась с ней, я каталась с кем-то в машине, попивая светлое «Левенбрау». Светлого Леву в зеленой бутылке с лазурной этикеткой. Мы подобрали Тайру на Норьега-стрит, перед домом, который был известен как неформальный приют для девочек. Его владелец, Расс, заваливался к девочкам по ночам, неожиданно, но ожидаемо. Если ты там оставалась, как-нибудь

ночью к тебе заглядывал Расс, старый, мускулистый мерзавец. Девочки жаловались, что он их насилует, словно речь шла о вредном характере или высокой квартплате. Они были готовы терпеть это, поскольку не видели другого выхода. Остальные ничего не делали по этому поводу, потому что Расс покупал нам выпивку, — что мы могли, вызвать полицию? Мы знали об одном полицейском, который возил девочек в национальный заповедник вместо участка.

Тайра излучала угрозу, она уверенно заняла место рядом с водителем и закинула ноги на приборную панель. Она уже была подшофе, как она сказала нам, растягивая слова, очаровательно, на мой слух. У нее были бриллиантовые сережки. Они сверкнули в ее ушках, когда она опустошила бутылку светлого Левы и швырнула из окна машины. Возможно, сережки Тайры были подделкой. Это было не важно. Эффект был тот же. Для меня в ней была магия.

В тот год мне удалось познакомиться с симпатичной девочкой из полной семьи с хорошим доходом. Она осталась у меня с ночевкой. На следующей неделе она всем рассказала в школе, что мы обедаем замороженными пирожками и бросаем обертки под кровать. Я такого не помню, хотя

не говорю, что этого не было. Мама разрешала мне есть на обед что угодно. Она обычно зависала с каким-нибудь типом, которому не нравились дети, так что они закрывались вдвоем в спальне. У нас был счет в супермаркете, и я могла ходить туда и накупать любых вкусняшек, чипсы, литры газировки. Я не умела притворяться, что живу как-то по-другому, чтобы произвести впечатление на кого-то из ребят. Но я расстроилась, узнав, что эта девочка говорит обо мне и нашем доме. Мне не полегчало даже после того, как я вонзила булавку ей в задницу, когда она выходила из трамвая после школы. Мы стояли у задних дверей, и, когда она выходила, я уколола ее, прямо сквозь трусы. Все так делали. Булавки мы таскали из домашних шкатулок. Это было нормой, но когда тебя кололи, у тебя по лицу текли слезы.

Джимми Дарлинг подшучивал над тем, что бриллианты как бы вечны. Он говорил, что на земле любой минерал вечен. Но ювелиры делают вид, будто бриллианты по-особенному вечны, чтобы продать их, — и это работает.

Через несколько дней мне позвонила Тайра, и мы решили, что пойдем в воскресенье в парк «Золотые ворота», к мосту, где все зависали и катались на роликах. Тайра зашла за мной до-

мой, поскольку я жила в нескольких кварталах от моста.

— Мне надо расквасить харю этой суке.

Я сказала о'кей, и мы пошли в парк.

Девушка, чью харю Тайра собиралась квасить, уже была там, с двумя старшими братьями. Они были не сансетскими; потом я узнала, что они жили в Хейт-Эшбери. Братья были взрослыми, оба работали механиками в гараже на Коул-стрит. Противница Тайры была высокой и изящной на вид, с блестящими черными волосами, собранными в хвост. На ней были розовые шорты и футболка с надписью «ПОФИГ». Ее опаловая помада отливала голубым. Тайра имела крепкое, атлетичное сложение. С ней никому не хотелось драться. Она и эта длинноногая девушка с хвостиком сняли свои коньки. Они дрались на траве, в носках. Носки ничего не смягчали.

Тайра резко ударила ногой, но другая девушка схватила ее за ступню, и Тайра потеряла равновесие и упала на землю. Противница вскочила на нее, села ей на грудь и стала бить кулаками по лицу — левым, правым, левым, словно месила тесто, уминая его. Она все месила и месила ее. Братья одобрительно голосили. Они болели за нее, но, если бы она проигрывала, они бы не

стали вмешиваться, я это понимала. Они верили в честную драку и гордились своей сестрой. Она продолжала избивать Тайру. Ее руки казались слишком тонкими, чтобы в них была какая-то сила для хорошего удара, но постепенно они достигали эффекта. Мне даже не пришло на ум вступиться за подругу. Я стояла и смотрела, как ее уделывают.

Когда девушка решила, что донесла до Тайры свою точку зрения, она остановилась. Она встала, перетянула свой хвост и вытащила шорты из задницы. Тайра села, неуклюже вытирая слезы. Я стала помогать ей. Ее волосы были спутаны и покрыты обрезками скошенной травы.

— Я хорошо ей надавала, — сказала она. — Видела, как я заехала ногой в грудь этой суке?

Оба ее глаза так заплыли, что еле открывались. А щеки опухли и затвердели. На подбородке у нее был открытый рубец от кольца девушки.

— Я хорошо так надавала ей, — повторяла она.

Это была лучшая точка зрения, но правда была в том, что ее отдубасила чопорная девчонка в футболке с надписью «ПОФИГ», не похожая на победительницу, но доказавшая обратное, едва началась драка. Победительницу звали Ева.

Я не подружилась с Евой в тот же день, это слу-

чилось позже. Но сколько бы времени ни прошло — возможно, год, — я никогда не забывала о ней и о том, как она дралась. Это было немаловажно. Большинство девчонок будут бахвалиться, какие они крутые, а на деле станут царапаться и дергать за волосы, если вообще придут на стрелку. Пожалуй, можно сказать, что я сменила Тайру на Еву, как потом сменила Аякса на Джимми Дарлинга. Но в обоих случаях мои прежние друзья сами привели меня к тем, кто занял их место в моей жизни. Невозможно не оценивать людей или не разочаровываться в них. И в любом случае, кому охота водиться с неудачниками?

У Евы все было схвачено. Она была одной из тех девушек, у кого всегда при себе есть зажигалка, открывашка, маркеры для граффити, фляжка, амилнитрат, складной нож и даже собственный съемник магнитных датчиков — устройство, которым продавцы-консультанты снимают магнитные датчики с одежды. Она украла его. Тогда как остальные магазинные воришки срывали их силой. Датчики нельзя было оставлять в раздевалках, так что мы забирали их с собой, зажав под мышкой, чтобы заглушить сигнал и не попасться на выходе. Мы не были клептоманами. Так называют богатых, которые крадут просто ради

азарта. А для нас это был самый доступный способ обзавестись макияжем и духами, сумочками и одеждой — всеми обычными вещами, которые положено хотеть и иметь любой девушке, но которые мы не могли купить.

На любой моей одежде были дырки от сорванных датчиков. А Ева снимала их как положено, своим волшебным приборчиком. Как-то раз она зашла в бутик «I. Magnin», срезала кусачками проволоку с шубы из кролика, надела ее и была такова. Проволока была продета сквозь рукава меховой и кожаной верхней одежды и оканчивалась снизу большими кольцами, напоминавшими гигантские наручники.

Ева прошла через фазу пацанки и перестала носить меховые жакеты. Она одевалась как сансетские ребята, в штаны «Бен Дэвис», и носила на ремне вахтерское кольцо с ключами. Чем больше ключей на кольце, тем лучше. Даже если они не открывали ничего, кроме пивных бутылок. Она носила черный жаект «Дерби» с подкладкой, вышитой золотыми огурцами, и фирменными плечевыми швами. Как и мальчишки, она довершала этот образ ботинками с металлическими носками — бить людей по голове, если возникнет такая потребность.

Как-то вечером в пивной «Большой оттяг» я увидела группу ребят, сидевших в темном углу и пивших «151», старше, чем все, кого я видела раньше, из Крокер-Амазона[9], который был чем-то вроде вражеской территории. Они захотели показать мне поляроидные фотки с Евой. Это твоя подруга? На фотках Ева валялась голой, в отключке, совсем не похожая на крутую чувиху, и между ног у нее торчала бейсбольная бита.

Ева дралась на кулаках с мальчишками и побеждала. Она могла переплюнуть любого по наркотикам и выпивке. Эти мальчишки с фотками Евы знали, чего это стоило — довести ее до такого состояния, и они хотели, чтобы я увидела это.

Я никогда не говорила ей об этом, но даже с учетом ее дальнейшей жизни — Ева подсела на крэк в Тендерлойне — полароидные фотки с битой были худшим из всего, что я узнала о ней. Она многое вытворяла с собой, но это было другое.

Есть ребята, которых неудержимо тянет к наркотикам. Они не могут справиться с собой. Ева была такой. Когда она первый раз украла валиум у своей мамы, мы приняли по одной таблетке и

---

[9] Примечания: 9
Пригород Сан-Франциско.

отправились в Западный портал[10]. Она сказала: я ничего не чувствую, а ты? Тоже, пока ничего. Давай еще по одной. Я все равно ничего не чувствую, а ты? Немножко. Давай еще по одной. Тебе уже дало? Не уверена. Мы опустошили весь пузырек и проснулись через несколько часов, подняв лица от теплого монитора видеоигры «Мисс Пак-мэн» в пиццерии «Круглый стол». Мы доковыляли до дома и проспали три дня.

Вскоре после этого я оказалась на автобусной остановке на бульваре Лагуна-хонда, по другую сторону от станции Форест-хилл. Была полночь, и автобусы ходили по позднему расписанию, раз в час. Кроме меня там был еще один человек, мужчина, который угостил меня сигаретой и поднес огонь, а затем спросил, не знаю ли я, где ему достать каких-нибудь таблеток. Вероятно, он был молодым, двадцати с чем-то лет, но тогда я не думала о его возрасте. Для меня в том возрасте любой старше восемнадцати казался стариком. Он умел разговаривать с молоденькими девушками, умел делать комплименты. Я сказала для понта, что могу продать ему немного валиума. Это была ложь. Я была двенадцатилетней девчонкой, чья

---

[10] Примечания: 10
Один из жилых кварталов Сан-Франциско.

подруга таскала таблетки из запасов своей мамы. Тем не менее я сказала ему, что, наверно, смогу достать ему немного. Он спросил, можно ли купить прямо сейчас. Я сказала, что должна позвонить подруге. Он хотел оставить мне свой номер, чтобы я перезвонила ему, когда поговорю с ней. Ни у кого из нас не было ни ручки, ни бумаги, и я на самом деле сомневалась, что смогла бы достать еще валиума, но я не могла признаться в этом. Он снял туфлю. Туфли у него были стариковские, костюмные, и он нацарапал черным концом туфли семизначный телефонный номер на неровной штукатурке подпорной стенки рядом с навесом. Я смотрела, как этот человек, весь в поту, несмотря на холодную ночь, царапал свой номер на стене носком туфли, чтобы я смогла позвонить ему, когда у меня будет то, что ему нужно, и думала: что же я делаю?

Обычно я не планировала никаких загулов, пока не появлялась Ева. Как-то утром она пришла ко мне с двумя дозами наркотика под названием делькур, состоявшего из кислоты, смешанной с ФЦП[11]. Мы приняли каждая по одной. Это было летом после шестого класса, в один из скучных

[11] Примечания: 11
Галлюциногенный наркотик.

туманных дней, когда не знаешь, куда себя деть, разве только играть в видеоигры в «Café Roma» на Ирвинг-стрит, жевать русские пирожки — жареные пышки с говяжьим фаршем и американским сыром, пить в парке сок из грязных носок под названием эль «Мики» и болтать в магазине комиксов с клерком, который объяснил мне, что такое «синие яйца»[12] (вероятно, его яйца посинели от моего вопроса).

Чтобы день прошел по-другому, мы закинулись смесью кислоты с ФЦП и побрели по рельсам до самого пляжа Оушн-бич. Мы зашли в кафе «С 7 до одиннадцати» на Джуда-стрит. Я купила шоколадный батончик, откусила его, и сладкая масса растаяла у меня во рту. Я думала, как ненавижу свою жизнь. Потом мы сидели в фургоне у кого-то в гараже и слушали «Слейер», и Ева закинула голову и закрыла глаза, а я смотрела на ее лицо и длинные черные волосы в профиль и была уверена, что будущее в руках дьявола — наше с Евой будущее — и что нас ничто не спасет.

Это было еще до того, как люди стали посещать дом Антона Ла-Вея, чтобы всем вместе боготворить Сатану на групповых сеансах. Это было в

---

[12] Примечания: 12

Сленговое выражение, могущее означать преддверие мужского оргазма или гонорею.

Ричмонде, на другой стороне парка «Золотые ворота». Я никогда не была там, но там бывал кое-кто из ребят, которых я знала. Требовалось соответствовать светским нормам, чтобы боготворить дьявола по полной программе. Моя мама была атеисткой и стала бы дразнить меня, если бы подумала, что я ушла в религию, хотя бы даже в сатанизм. Вот норвежка, моя будущая напарница по деревообработке в Стэнвилле, была бы в восторге от приглашения в дом Антона Ла-Вея. Но она в тюрьме, а дом Ла-Вея в прошлом. Антон Ла-Вей мертв, а его черный дом снесен, и на его месте возвышаются кондоминиумы.

Дом, который больше интересовал меня, принадлежал группе людей, называвших себя «Черпаками». Меня привела туда Ева. Этот дом был на Масоник-авеню, около Хейт-стрит. Типичное крошащееся от старости викторианское здание с эркерами из круглых стекол, звеневших всякий раз, как мимо проезжал, спускаясь с холма, дизельный автобус. 43-й маршрут, направлявшийся в сторону магазина «Сирс» на Гири-стрит, где мы лежали на кроватях в мебельном отделе, когда хотели отдохнуть. Я ничего не знала о «Черпаках», кем они были на самом деле и давно ли занимали этот просторный дом. Внут-

ри казалось, что время остановилось в 1969 году. Каждая комната была раскрашена теннисными мячиками. Мячики окунали в разноцветную краску, бросали так, что те рикошетили по всем комнатам — по стенам, полу, потолку, добиваясь макаронного буйства цвета, задававшего единый тон всему пространству, но отнюдь не вызывавшего ощущения покоя. Это были каракули мозга, объятого хаосом, выплеснутые на стены, своеобразная трехмерная грязь. Большинство людей среди «Черпаков» не имело родственных связей, но все они вели семейный бизнес по продаже сиреневых микродотов ЛСД. На кухне сидела крупная женщина, которая нарезала мясницким ножом микродоты и заворачивала в мешочки из пергамина. Микродоты не залеживались. Эта женщина размечала мешочки, и если вы хотели что-то купить, вы садились за стол, и она по мере готовности поднимала на вас взгляд, брала ваши деньги и давала вам мешочек. Когда я пришла туда первый раз, у плиты позади нее стоял мальчик без рубашки, с отсутствующим взглядом сомнамбулы, и варил воду для лапши с сыром. Он был худым и гибким, а его светлые волосы были бесцветными, словно личинки вшей. У него была впалая грудь, и эта впалость усиливала его

сходство с привидением, стоявшим в ожидании, пока закипит вода. Звук, с которым сухая лапша выскальзывала из упаковки, вызвал у меня тревожное чувство. Мальчик открыл пачку тертого сыра и высыпал его в кастрюлю. Он ел ложкой, которой помешивал лапшу. Он стоял босиком, а его штаны сползали без ремня. На вид ему было лет десять.

Кем были эти люди, «Черпаки», и куда они делись? В истории полно пробелов. На свете было множество миров, о которых нельзя узнать ни из интернета, ни из книг, пусть даже вы считаете, что свободны находить, что вам нужно, в отличие от меня, ведь у меня нет интернета. Можете не гуглить «Черпаков» — вы ничего не найдете, никакой зацепки, но они существовали.

А если бы кто-то вспомнил о них, помимо меня, рассказ такого человека только умалил бы их реальность, потому что мои воспоминания о них пришлось бы корректировать с учетом новых сведений, которые никогда не соответствуют непосредственному впечатлению, тому, что остается в уме через столько лет; самым реальным образам, которые крепко держат меня из стершегося прошлого и не собираются отпускать.

Бар в верхней части Хейт-стрит, где проводила время мама Евы, назывался «Пэлл-Мэлл». Туда пускали детей, и нам покупали бургеры «Любовь», которые были обычными гамбургерами, не считая того, что булочку можно было посыпать карри, что, вероятно, и означало любовь — соус, пачкавший руки ярко-желтой пыльцой. На выходе из бара мы отдавали то, что не доели, Кожаному.

Помните Кожаного? Много людей с Хейт-стрит могли бы вспомнить Кожаного, если их спросить о нем. Кожаный носил черные кожаные штаны, кожаную рубашку и черную кожаную шляпу. Его голые ступни были черны как сажа, от дорожной пыли. Он стоял у входа в «Пэлл-Мэлл» или бродил по восточной окраине парка, вдоль Станян-стрит, прочесывая территорию. Там повсюду валялся мусор, точно ракушки на пляже, из «Макдоналдсов» по другую сторону улицы. О Кожаном говорили, что он никогда не снимал одежду. Уже несколько десятков лет. Как-то раз мы с мамой Евы стояли рядом с «Пэлл-Мэлл» и смотрели, как Кожаный роется в мусорном баке.

— Знаете, девочки, что случится, если он снимет свою одежду? — спросила она. — Знаете?

Мы покачали головами.

— Он умрет.

Она выдохнула дым и пульнула окурок на улицу изящным жестом, от большого и указательного пальцев, — я потом переняла этот жест, дававший мне ощущение крутизны.

Кожаный поднял окурок и с наслаждением затянулся несколько раз — мама Евы могла проявить к нему такую щедрость.

Кожаного не следует путать с Коцаным, но никто из тех, кто знал их, их не путал.

Коцаный зависал на Норьега-стрит, в доме 71. Я видела его только один раз и сразу поняла, что это тот печально известный тип, о котором я слышала. Ему в голову был вставлен или вплавлен твердый пластик, напоминавший кусок мяса, вроде печени. Эта штука, ее слитность с ним, неотделимость, придавала ему брутальный вид. Плотная, блестящая пластина, закрепленная там, где должны были быть волосы или лысина. Говорили, что он был ветераном Корейской войны. Он получил какую-то травму, из-за которой ему приклеили к макушке эту штуку.

Еще одним местным чудиком был Вертлявый. Он обитал на другой стороне парка, около «Баскин-Роббинс» на Гири-стрит, где я работала в школьном буфете. Вертлявый шел обычной

походкой, а затем вдруг его ноги принимались выделывать кренделя, наглаживая асфальт, словно он был машиной для полировки тротуара. Он скользил и вилял всю дорогу до конца квартала, затем останавливался и снова шел нормальной походкой. Возможно, у него было какое-то нервное расстройство, но я считала, что это его судьба. Ему было суждено полировать Гири-стрит, а дальше он мог идти спокойно.

Я сказала, что *работала*, но это преувеличение. Мы продавали мороженое в буфете, но не всё пробивали в кассе, так что под конец вечера у нас набиралась неплохая выручка. Мы орудовали баллоном с закисью азота, предназначавшимся для сифонов со взбитыми сливками. В основном там работали девочки, и мы разрешали мальчишкам кататься на скейтбордах в помещении, заходить за стойку, расходовать закись азота и накладывать себе мороженое. Под конец вечера мы плескали воду на пол вместо того, чтобы мыть его, и передвигали стрелки часов вперед, чтобы закрыться пораньше. Там всем заправляли дети, и никто не смотрел за ними, потому что менеджер вечерней смены, алкоголичка из Шотландии по имени Хелен, уходила каждый день пораньше, сделав стаканчики для мороженого,

что требовало определенных навыков, которых у нас не было.

Тот человек на автобусной остановке на Лагуна-хонде, который хотел валиум, насторожил меня своим напористым оптимизмом, готовностью написать свой телефонный номер на стене носком туфли. Ему требовались наркотики, и он был готов иметь дело с двенадцатилетней девчонкой. Ему требовалось верить ей, хотя было ясно, что она, скорее всего, лжет.

Мама Евы была белой, а папа филиппинцем. Мама сидела на героине. Папа был правильным. Он работал в службе охраны, определившей его на ворота гигантской старой пивоварни «Лакилагер» в Бэйвью, которая закрылась. Мы были там один раз, чтобы взять у него денег. Он скомкал их, швырнул Еве и ушел за ворота. Через десять лет я оказалась в компании ребят, которые вломились туда. Мои приятели вынесли кучу всякого оборудования. Один из них потом вернулся на арендованном экскаваторе и увез в ковше неподъемную технику. К тому времени папа Евы уже там не работал. Ева работала на улицах. Ее мать умерла от передоза. «Пэлл-Мэлл» закрыли. «Черпаки» пропали. Сансет перестроили. Бака-

лейный магазин на Ирвинг-стрит превратился в кулинарный. Девушка, с которой я дружила в средней школе, работала там кассиршей в мясном отделе. На улицах стало полно людей, похожих на зеленых студентов, одетых в трикотажные рубашки и попивающих натуральные соки из гигантских пенопластовых стакашек. Даже старую почту переместили, что я восприняла как оскорбление действием. Все стало измеряться деньгами, и мне стало не хватать тех мрачных мест, которые хоть и не дарили счастливых воспоминаний, но все равно манили меня. Бары с липкими полами и туалетами, в которых были автоматы с французскими презиками, такими как «Золотой шлем» (мы называли их «золотой член»), бары со старыми ирландцами, спавшими под дверью в ожидании открытия в семь утра. Мне стало не хватать одиноких, ненадежных трамваев, вместо которых теперь ходили новые каждые восемь минут, набитые людьми в дорогих туфлях и с ухоженными волосами.

Маленькую автобусную остановку с навесом, где я ждала 44-й на Лагуна-хонде, обновили. Пропал запах мочи и розовато-бежевый цвет стенки и навеса, того же нежного оттенка, что и Центр ориентации молодежи за автобусной останов-

кой, на вершине холма. ЦОМ теперь называется по-другому, как-то дружелюбней, приветливей. Стену, на которой тот человек написал свой номер носком туфли, перекрасили.

Но что, если бы эту стену не тронули, если бы каким-то чудом эти цифры, нацарапанные на грубой штукатурке, остались там, кровоточа сквозь время, выведенные носком черной туфли? Кто бы ответил по этому номеру? И где теперь тот человек? Где мальчик, который помешивал лапшу на Масоник-авеню, юный Черпак, где Кожаный и где Ева? Где все они и что с ними стало?

3

Никакой оранжевой одежды
Никакой одежды любого оттенка синего
Никакой белой одежды
Никакой желтой одежды
Никакой бежевой одежды или цвета хаки
Никакой зеленой одежды
Никакой красной одежды
Никакой сиреневой одежды
Никаких джинсов любого вида или цвета
Никаких треников или хэбэшек
Никаких лифчиков на косточках или с металлическими деталями

Леди должны носить лифчики

Никакой кружевной или просвечивающей одежды

Никакой лишней одежды

Никаких голых плеч

Никаких маек или блузок без рукавов

Никаких блузок с низким вырезом

Никакого лишнего оголения тела — никаких топиков или штанов с заниженной талией

Никаких надписей или рисунков на одежде

Никаких брюк капри

Никаких шортов

Никаких юбок или платьев выше колен

Никаких штанов из серии «длинных шортов»

Никаких рубашек без галстуков

Все рубашки должны быть заправлены

Никаких украшений (допустимо одно «приличное» обручальное кольцо, которое инвентаризуют сотрудники исправительного учреждения при оформлении)

Никакого пирсинга

Никаких заколок-невидимок или металлических заколок в волосах

Волосы должны быть ухожены и зачесаны назад

Никаких сандалий для душа

Никаких шлепок
Никаких солнечных очков
Никаких курток
Никаких «верхних рубашек»
Никаких «балахонов» и никакой одежды с капюшоном
Никакой облегающей одежды
Одежда не должна быть слишком свободной или мешковатой

Внешность, волосы и одежда должны иметь профессиональный вид и соответствовать хорошему вкусу.

Прибывающим в государственное учреждение в недолжном виде будет отказано в доступе и посещении заключенных.

4

Если его ученики смогут научиться как следует думать и получать удовольствие от чтения книг, они в каком-то смысле станут свободны. Так Гордон Хаузер говорил себе и им тоже. Но бывали такие дни — например, когда одна заключенная вошла в классную комнату и выплеснула в лицо другой женщине кипяток с сахаром, — когда он не верил в это. Бывали дни, когда ему казалось,

что настоящий смысл его работы в том, чтобы гробить свою жизнь, пытаясь учить людей, которые были готовы сожрать друг друга живьем. Надзиратели только всё усложняли, поскольку они ненавидели этих женщин, настроенных и без того враждебно к свободным служащим, таким как Гордон. Надзирателей заставляли проходить групповую психотерапию, и они бесились от этого.

— Это всё из-за вас, сучек, вы вечно сопли распускаете и достаете вопросами, — говорили они. — У вас сплошные «за что?» да «зачем?».

Все надзиратели тосковали по лучшим временам, когда они работали в мужских тюрьмах, где они смотрели на внутрисистемных мониторах в безопасных наблюдательных комнатах, как заключенные пускают друг другу кровь, а в остальное время зэки жили строго по понятиям. Тогда как зэчки спорили и препирались с надзирателями, а надзиратели, словно нарочно, вели себя как можно грубее, во всем возражая им, что вызывало больше сложностей, чем подавление бунтов. Никакому надзирателю не хотелось работать в женской тюрьме. Гордон не знал этого до тех пор, пока не попал в ЖТСК по собственному выбору, так как ему было удобно добираться из

Окленда, и еще потому, что работать учителем в женской тюрьме казалось ему менее опасным, чем в мужской.

Его трудовая деятельность началась в тюрьме для несовершеннолетних в Сан-Франциско. Он проработал там шесть месяцев, и ему было морально тяжело. Подростки в клетках рассказывали ему о своих приемных семьях, о сексуальных домогательствах и прочих издевательствах. Большинство из них были сиротами, но не все. Гордон видел родителей некоторых из них в зале ожидания суда, по которому он проходил по пути в свою классную комнату за решетчатой дверью: на этих людях были дырявые спортивные штаны, футболки со всевозможными эмблемами, неказистая обувь — это были бедняки, жившие как придется. Неужели судьи по делам несовершеннолетних не понимали по виду надзирателей, что малолетним заключенным нечего рассчитывать на справедливое отношение? Указания на стенах призывали подтянуть штаны, потому что штаны на бедрах считались признаком неуважения. У Гордона был ученик, которому всегда доставалось из-за слишком низко спущенных штанов. Это был крупный белый парень с близко посаженными глазами на мясистом лице.

— Ты *говоришь,* словно ты черный, — сказал черный парень этому белому, — а *выглядишь* как дебил.

«БОСИКОМ НЕ ВХОДИТЬ», — гласило указание у входа в здание. Как будто кто-то мог прийти в СИЗО или суд, в муниципальное здание на мрачном углу, продуваемом ветрами, совсем не близко от пляжа, без обуви. Другое указание гласило: «В МАЙКАХ НЕ ВХОДИТЬ». А ниже изображалось большое семейство, в котором все, от мала до велика, были в майках и сверкали телесами. И что такого было в оголенных плечах? Откуда был этот страх правоохранительных органов перед голыми плечами?

— Чтобы загреметь сюда, нужно быть страшным как черт, беззубым и жирным, как бочка, — сказал Гордону капитан полиции в ЖТСК в его первую неделю на новом месте.

Когда капитан говорил это, позади него проходили прекрасные женщины, уборщицы со швабрами и вениками, толкавшие мусорные ящики на колесиках, среди них были стройные и молодые, со всеми зубами, улыбавшиеся и подмигивавшие Гордону, словно предметом шутки был сам капитан, отличавшийся избыточным весом.

Одна из этих женщин тут же привлекла тайное

внимание Гордона. Его тронуло ее задумчивое лицо, в котором было что-то детское, и большие темные глаза. Вот что такое красота, подумал он: когда чье-то лицо затрагивает твои чувства. Она все время читала, ее глаза не поднимались от книги. Как известно, привлекательные люди вполне сознают свою красоту. Они проверяют ее на других, они подчеркивают ее, предлагают в обмен на что-то и управляют ею. Хаузер никогда не имел склонности к таким шарадам, будь то в тюремной жизни или в другой, реальной, которая становилась для него все менее реальной. Но эта девушка никак не использовала свою красоту, чтобы манипулировать кем-то, и возможно, как думал Гордон, даже не знала о ней, и когда однажды он посмотрел на нее долгим взглядом, она взглянула на него, и, перед тем как она отвернулась, он увидел страх в ее глазах или то, что он принял за страх.

Он не знал, в каком блоке она жила. Она состояла в дворовой бригаде, но ее, вероятно, перевели, потому что он больше не видел ее. Несколько раз он замечал ее в юридической библиотеке, работающей, как и другие заключенные, над своим ходатайством о пересмотре дела. Один раз он видел ее в часовне, молившейся в небольшой

группе. И один раз — в почтовом отделении, где она ожидала посылку, отчего он испытал безотчетную ревность — от кого могла быть эта посылка? Вероятно, от мужчины, соперника. Девушка была слишком хорошенькой, чтобы посылка была не от мужчины. А если посылка была от ее матери или сестры, это означало, что она не просто «найденыш» Гордона, а чей-то близкий человек, о котором заботятся, и он заранее представил, как их возможная связь могла осложниться влиянием на нее этих людей, занимающих какое-то место в ее жизни, неизвестных ему.

ЖТСК расшифровывалось как Женская Тюрьма Северной Калифорнии, но надзиратели говорили «Жаль Терять Сорок Косарей»[13], намекая на дилемму, стоявшую перед ними, между своей работой и неуставными отношениями с заключенными. В своих фантазиях надзиратели тянули за рычаг на КПП, и в окошке выпадали либо три золотых, либо три клубнички. И если надзирателю выпадали клубнички, это требовало от него предельного благоразумия, чтобы не поддаться соблазну.

---

[13] Примечания: 13
Имеется в виду годовая зарплата.

Когда отец Гордона забирал его в детстве из публичной библиотеки Мартинеса, которая была больше, чем скромная библиотека их родного городка у пролива Каркинес, отец говорил ему: «У тебя поразительный самоконтроль, это я точно скажу». Его отец работал на металлургическом заводе и думал, что всякий, кто может весь день просидеть, вглядываясь в крохотные значки на странице, должен обладать огромной силой воли. Но Гордон обожал читать. Чтение раздвигало границы его мира. В средней школе он влюбился в Достоевского, в книгах которого он находил отклик своим мрачным раздумьям и сомнениям. Достоевский подрывал всякую веру, кроме веры в порочный земной мир, по которому скитались люди, борясь, развращаясь и убивая. Опять же, Достоевский был христианином, и те, что боролись и скитались в его романах, сбились с пути, предначертанного Богом. Достоевский был громадой вселенского масштаба — вселенной, имевшей порядок, но не застывший и искусственный порядок Древней Греции. Это были раскидистые дебри сумбурных злоключений, и, читая Достоевского, Гордон знал, что вступает в область истины.

Его отец уже умер, когда Гордон наконец нашел

такую работу, которую он бы одобрил, — под защитой профсоюза, с пособиями. Гордон никогда не думал работать в тюрьме. Он отклонил массу предложений, пытался остаться в аспирантуре, сдал устные экзамены со второй попытки, получил грант на промежуточном этапе — стал магистром по английской литературе. Но диссертация, которую он планировал написать по Торо — образ «духовной линьки» в творчестве Торо, образ нового человека, судьбоносный образ американского Адама (эта идея привлекала Гордона своей безудержной самонадеянностью, к тому же ему, как и всякому человеку, хотелось изменить свою жизнь, переродиться, стать свободным и безгрешным), — вызывала у него чудовищное напряжение. Он не ладил со своим научным руководителем. Чем большего успеха он достигал в глазах руководителя, тем меньше у него получалось с увлечением развивать свою собственную тему. Он чувствовал себя в ловушке невыполнимых обязательств. На нем висел долг, грозивший ему потерей преподавательской стипендии. Ему нужно было работать. Он нашел работу внештатного преподавателя в местном колледже в Окленде. Эта работа едва обеспечивала его существование и не оставляла времени на

диссертацию. Возможно, в этом была и светлая сторона. У него имелась причина не трудиться над ней. Но внештатная работа была временной. В приступе отчаяния он подал заявление на вакансию преподавателя, размещенную Калифорнийским департаментом исправительных учреждений. Он прошел собеседование, и его захотели взять на полную ставку, что решило для него денежный вопрос. У него был друг по имени Алекс, который написал диссертацию по Мелвиллу и обратился на биржу труда как специалист по истории и культуре американских индейцев, притом что он ни во что не ставил таких специалистов, считая их кучкой сентиментальных провинциалов. Алекса принимали с уважением, он проходил собеседования, общался со специалистами. Люди называли Алекса вундеркиндом, хотя он был ровесником Гордона и других своих коллег. Просто Алекс выглядел не старше восемнадцати. Алекс знал, как себя вести с влиятельными людьми, сочетая в нужной пропорции иронию и почтительность. В департаменте образования были люди, которые брали его под свое крыло, опекали. Но Гордон у таких людей никогда не вызывал расположения. И он освободил дорогу Алексу, чтобы остаться его другом. Гордон

не завидовал ему, так он говорил себе.

Он сам не успел осознать, как рабочие дни в ЖТСК стали определяться для него тем, удавалось ли ему увидеть девушку, занимавшую его мысли. Она отводила глаза, когда Гордон смотрел на нее. Он раздумывал, как заговорить с ней.

Когда же Гордон обнаружил, что она училась на курсах косметолога, его дни перестали подчиняться случайности. В тюрьме был косметологический салон, где служащие могли подстричься за двенадцать долларов. Он записался на прием и пришел именно в тот день, когда она была там. В этот решающий день он уселся в парикмахерское кресло перед ней, и она накинула на него передник и завязала на шее. Когда ее пальцы коснулись его головы, он словно прирос к креслу, и его нервы затрепетали.

Возможно, его чрезвычайная восприимчивость к ее прикосновениям объяснялась тем, что он уже несколько месяцев был один. Когда девушка провела краем расчески по его волосам, он ощутил волну мурашек, прошедшую по голове и шее. Он был электросхемой, на которую подали ток. Прикосновение расчески в руках этой девушки пробуждало в нем чувство, сочетавшее томительное желание и его удовлетворение.

— У вас приятные волосы, — сказала девушка.

У него были совершенно нормальные, обыкновенные волосы. Прямые и русые. Гордон удивлялся, как красота порой восхищала его, а в других случаях совершенно не трогала. Кожа этой девушки была некрасивой, но ему это даже нравилось, поскольку так она казалась ему более реальной. На ней были казенные кроссовки, «педали», как называли их девушки, а это значило, что она была неимущей, потому что те, у кого шелестела хоть какая-то наличность, заказывали фирменные теннисные туфли из каталога по почте. Она как будто не замечала или не придавала значения, что у нее не было никаких вещиц, заказанных по каталогу или присланных кем-то. В мечтах Гордона Хаузера ее казенная голубая одежда представлялась ему чем-то вроде больничного халата, одежды медсестры, а не заключенной — формой человека, который заботится о других, ведь она заботилась о нем. Она подстригала его, касаясь его головы расческой.

И еще кое-что. Она была чернокожей, но с Гордоном разговаривала как белая. Она жила в почетном общежитии[14] и везде носила с собой

[14] Примечания: 14

Honor dorm (*англ.*) — тюремное общежитие для заключенных с примерным поведением.

Библию. Из-за этого он решил, что она любит книги, хотя вполне мог ошибаться.

Гордон стал ходить в парикмахерскую каждую неделю. В один из таких дней, когда он направлялся в косметологический корпус, его увидел свиноподобный капитан, проезжавший мимо на своем электромобиле.

— Ты что-то зачастил туда, а, мистер Хаузер? Разве ты не стригся *на прошлой неделе*?

Капитан, как и многие другие полицейские, слишком жирные, чтобы передвигаться пешком, напоминал Гордону близнецов-жиртрестов в ковбойских шляпах из Книги рекордов Гиннесса, которые ездили на мопедах из спальни на кухню.

Гордон посмотрел на капитана с легким презрением и сквозь него на девушку, к которой приходил, подметавшую сейчас пол под крайним креслом в косметологической школе, тем креслом, в котором он будет сидеть, ощущая ее прикосновения к своей голове.

Большинство этих жирдяев привозили с собой контейнеры с едой размером с чемодан. Они были снабжены выдвижными ручками и колесиками, слишком большие для ручного ношения. Какое было дело этому капитану до того, как

часто Гордон платил свои двенадцать долларов, чтобы эта девушка касалась его головы? Это его совершенно не касалось.

Он сказал капитану, что у него, похоже, быстро растут волосы. Капитан как будто испытал удовлетворение оттого, что доставил Гордону беспокойство, слегка напряг его.

Капитан укатил на электромобиле, его огромный зад в армейских штанах свешивался по краям.

Даже у такого человека, как отец Гордона, который держал дома всего несколько книг, имелся экземпляр Книги рекордов Гиннесса. В тюремной библиотеке их было несколько. Это была библия милостью Божией для людей, не любивших книг.

Прошло немало времени, прежде чем Гордон признался себе в том, что худоба его возлюбленной наводила его на мысль о ее образованности только потому, что жирные тюремные надзиратели были невеждами. На самом деле он никогда всерьез так не считал. Просто все так совпало, что в нем вспыхнула эта безрассудная страсть: его собственный снобизм, его чуждость духу военщины, царившему в тюрьме, физическое влечение к этой девушке. Все это сформировало

его чувство, своего рода надежду, нацеленную на нее, на ее обещание чего-то, однако не того, что случилось в действительности.

У него была подруга, Симона, преподавательница в том самом колледже, где он работал внештатным преподавателем. Она была миловидной, весьма неглупой и немногословной. Большинство людей все время болтают, чтобы заполнить тишину, даже не сознавая, как досаждают этим. Симона же говорила, только если действительно хотела что-то сказать, но он ушел от нее, хотя с трудом понимал почему. Может быть, потому, что он нравился ей больше, чем ему хотелось бы. Он знал, что есть люди, которым не нравится быть объектом сексуального внимания, но себя он к ним не причислял. Как только случайная женщина поманила его, он не смог устоять. Иногда он скучал по Симоне, но каждый раз вслед за желанием увидеться с ней он с облегчением думал о том, что ему больше не нужно вникать в ее заморочки. Если бы она могла просто появляться в определенные моменты — когда ему хотелось секса или поговорить с кем-то, — это было бы замечательно, но с людьми так не бывает. В любых отношениях ты должен часами выслушивать излияния близкого чело-

века о чем-то, что тебя совершенно не волнует, кивая при этом с искренним видом. Тебе приходится скрывать непостоянство своих чувств и притворяться, что твоя любовь неизменна в любую секунду, но для Гордона это было адским мучением.

Девушка из парикмахерской относилась к нему по-свойски, словно понимая, почему он так часто приходит на стрижку. Но она ничем не выдавала своих чувств. Другие женщины называли его красавчиком, провоцируя на флирт. Но эта девушка не позволяла себе ничего такого. Она подстригала его, стараясь не смотреть ему в глаза. На его вопросы она отвечала застенчиво и односложно. Ничего в языке ее тела не намекало на флирт. Это было залогом безопасности их отношений. Близость с ней ограничивалась для него ощущением расчески на коже головы. Ее тихим дыханием. Медленным клацаньем ножниц, смыкавшихся на его влажных волосах. Ее пальцами, смахивавшими волоски с его плеч.

Даже несмотря на одержимость этой девушкой, ему иногда хотелось оставить работу в тюрьме, но эта мысль была такой нечеткой. Человек может каждый день говорить себе, что хочет изменить свою жизнь, может собираться изменить ее, и

день за днем продолжать жить по-прежнему, так что на деле желание перемен оказывается самовнушением, позволяющим выносить эту жизнь уже потому, что человек сознает ее негодность, а значит, для него еще не все потеряно.

Однажды вечером, когда Гордон убирал бумаги в портфель, эта девушка вошла в пустой класс по учебному пропуску. Хотя она не была его ученицей. Она закрыла дверь за собой. В комнате было смотровое окошко, но Гордон знал, что полицейский не пройдет под ним еще десять-пятнадцать минут.

Ему хотелось бы сказать, что ничего такого не случилось. Как будто и говорить не стоило, и все же он почувствовал, что оказался по другую сторону правосудия. Закрыв дверь, она приблизилась к нему. Их губы соединились. Да, он поцеловал ее, и не только. Его рука нащупала ее тело под рубашкой, а затем соскользнула в промежность, чтобы проверить, как она отреагирует, и она отреагировала правильно, взаимно — могло показаться, что Гордон что-то обдумывал, выбирал, взвешивал, но это было не так. Он ничего такого не думал. Они просто прижимались друг к другу, не более того, полностью одетые, не дольше минуты, если не меньше, а затем она сказала, что

уже поздно и ей пора возвращаться в свой блок.

Она подала жалобу по форме 602, указав, что он тискал ее. Эта прекрасная женщина подставила его. Как он понял потом, она сделала это по сугубо личным соображениям, имевшим отношение к одной из его учениц, которая была ее подругой. Его слово против ее. С ним связалась следственная группа, ему пришлось давать объяснения, и хотя они не нашли ничего серьезного, ему сделали выговор в излишней фамильярности. И посоветовали перевестись в другое учреждение. Его, словно консервную банку, выпихнули пинком под зад в Калифорнийскую долину. Его перевели в Исправительное учреждение для женщин в Стэнвилле, куда никто не шел работать по собственному желанию.

5

Вы можете подумать, что моя судьба решилась в тот вечер, когда я обнаружила, что меня поджидает Курт Кеннеди, но я считаю, что мою судьбу решили суд, судья, прокурор и мой публичный защитник.

Вот что я помню о том дне, когда я встретила своего адвоката: меня посадили в лифт, в котором пахло потом, скопившимся на поручнях

из нержавеющей стали. Помню гнетуще-яркое свечение осветительных панелей. Гудение зала суда. Тапки, на которых значилось по бокам «Округ Л-А».

Когда пришло время, судебные приставы направили меня по коридору. Они шли спокойно, а я шаркала ногами в кандалах в направлении длинной стеклянной коробки в тридцатом департаменте, где подследственные встречают судью. Меня привели в кабину для обвиняемых, в которой было окошко на уровне лица, чтобы я могла говорить с адвокатом. Я видела весь зал суда. Там была моя мама. Я была ее дочь, и ее дочь была невиновна. Ее присутствие вселило в меня детскую надежду. Увидев меня, она помахала мне с грустным видом. К ней подошел судебный пристав и что-то сказал. Вероятно, чтобы она мне не махала.

Таблички в зале суда призывали: «Запрещается праздное поведение». «Запрещается жевать жвачки». «Запрещается спать». «Запрещается есть». «Запрещается пользоваться сотовыми телефонами». «Запрещается присутствие детей младше десяти лет, если они не вызваны в суд повесткой в качестве свидетелей». В каждом зале суда, где мне приходилось сидеть, пока мое дело

передвигалось по инстанциям, я старалась не читать их. Я должна была ежесекундно изображать невыносимые муки раскаяния на случай, если кто-то взглянет в мою сторону — присяжный заседатель, родственник жертвы или судья. Каждый миг я должна была показывать всем своим видом, что я не нахожу себе места после того, что я сделала. Я не могла позволить себе выглядеть скучающей, или голодной, или уставшей. Я должна была выглядеть бесконечно виновной, чтобы кому-то могло показаться, что я заслуживаю хоть какого-то снисхождения.

Я рассматривала людей в зале перед судейским столом, пытаясь определить среди них моего адвоката.

Мое дело должно было слушаться после дела обвиняемого, сидевшего рядом со мной, по имени Джонсон: Джонсон против народа. Мне не терпелось познакомиться с моим поверенным, и в ожидании его или ее я смотрела, как этот Джонсон пытался общаться со своим адвокатом, стариком с седыми волосами, спадавшими волнами ниже плеч.

— Моя мама шериф, — сказал Джонсон неразборчиво.

Его лицо было скреплено проволокой, так что

он едва мог говорить. Он издавал горловые звуки, словно с кляпом во рту.

— Мистер Джонсон, ваша мама — шериф? — произнес старый адвокат с наигранным изумлением. — В каком отделении?

— Не моя. Моей девушки. В залоговой фирме.

— Ваша девушка работает в залоговой фирме? Тогда, вероятно, она не шериф, мистер Джонсон?

— Фирмой владеет ее мама.

— Ваша теща владеет залоговой фирмой? Как она называется?

— «Иоланда».

— И где она находится, мистер Джонсон?

— Да везде.

— Значит, она работает в одном из филиалов?

— Она ейная. Я же сказал. ИО-ЛАН-ДА.

Перед судьей появился обвинитель по делу Джонсона. Он весь сиял, как надраенная статуя.

С того самого дня каждый раз, как мне приходилось бывать в суде, обвинители всегда выглядели самыми компетентными людьми из всех присутствующих. Они были приятными и ухоженными, опрятными и подтянутыми, в костюмах, сшитых на заказ, и с дорогими кожаными портфелями. Тогда как все публичные защитники отличались, как нарочно, плохой осанкой, несуразными ко-

стюмами и потертыми туфлями. У женщин были короткие уродские стрижки, сама практичность. У мужчин были длинные волосы, причесанные как попало или вообще не причесанные, и каждый из них нарушал устав чрезмерной шириной своего галстука. Пуговицы у них на рубашках болтались, готовые оторваться. Все обвинители выглядели богатыми холеными столпами общества, а публичные защитники были перетрудившимися «благодетелями» — говорили впопыхах, вечно опаздывали и роняли на пол свои криво сложенные бумаги, на которых уже виднелись отпечатки чьих-то подошв. Я, Джонсон и все подзащитные бесплатных адвокатов чувствовали себя в заднице, в безнадежной заднице.

Джонсон сказал адвокату, что ему нужны лекарства от повышенного артериального давления. А также антипсихотики. И еще болеутоляющие. У него хронические боли от огнестрельного ранения. Он поднял свою тюремную рубашку и показал адвокату. Мне было не видно его грудь. Но адвокат отпрянул от увиденного.

— Бог мой, мистер Джонсон. Поразительно, что вы вообще живы. А что с вашим ртом?

Старый адвокат вопил, словно Джонсон был глухим, а я смотрела на них с напряжением и

тревогой, потому что я была следующей.

— Это скоба. Челюсть сломана. Я приличный гражданин. У меня дочь.

Адвокат спросил, какого она года.

— Восьмидесятого.

— Мистер Джонсон, я полагаю, это год *вашего* рождения.

Подсудимому, этому Джонсону, был двадцать один год. Огнестрельные ранения. Повышенное давление. Хронические боли. Выглядел он на сорок восемь. Я смотрела, как факты его биографии раскрывались, словно их вытряхивали из карманов.

— О'кей, о'кей, — сказал Джонсон. — Меня накачали всякой химией. Извините. Погодите…

Я смотрела, как он задрал ногу и неуклюже закатал штанину руками в наручниках. На икре у него была татуировка с датой рождения дочери. Он медленно произнес ее, словно расшифровывая древнюю скрижаль.

— Судье не нравятся квартирные кражи со взломом, мистер Джонсон.

— Скажите ей, я сожалею, — пробубнил Джонсон, шевеля искалеченной челюстью.

Мне хотелось думать, что в своей среде этот Джонсон мог чувствовать себя как рыба в воде,

человеком, ведущим свою игру, какой бы она ни была. Это жизнь.

Вести свою игру — значит справляться с жизнью. Делать все как надо. Быть кем-то, кто внушает уважение. Тем, кого любят женщины и боятся враги, но теперь он был лишен того, что позволяло ему сиять.

Так или иначе, Джонсон был настоящим человеком, даже если не мог вспомнить дату рождения дочери.

Это погружение в новый для меня мир Джонсона дало мне понять, почему он казался таким тусклым в кабине для обвиняемых: эти жучары вкололи ему жидкий торазин[15]. Когда требовалось доставить в суд заключенных определенного типа, сотрудники исправительных учреждений облегчали себе работу. В результате обвиняемые пускали слюни в отупении и несли всякую чушь, вызывая соответствующее отношение судьи, как и своего публичного защитника, который разговаривал с ними как с трехлетними.

Когда Джонсону было предъявлено обвинение, судебные приставы надели голубые резиновые перчатки, прежде чем взяться за него. Он с тру-

[15] Примечания: 15

Сильнодействующее успокоительное, применяется главным образом в психиатрии, имеет множество противопоказаний.

дом передвигал ноги в кандалах. Пока они вели его, приставы держали его на вытянутых руках. Давай помедленней, сказал ему один из них. Когда Джонсон споткнулся, они отпрянули от него. Он упал посреди зала на свое изувеченное лицо. Никто не стал помогать ему. На нем был коричневый комбинезон, а это значит, он был на лечении. Повязка на запястье с маркировкой округа сообщала об открытых ранах. Он мог распространять бактериальную инфекцию или что-то похуже. Неповиновение. Депрессию. Дислексию. ВИЧ. Слабоумие.

Злой рок.

Подошла моя очередь, но все было по-прежнему. Судья вышел из-за стола. Я просидела, наверно, минут двадцать с судебным приставом за спиной, никто из адвокатов не называл моего имени, а я чувствовала, как грустит моя мама, но не смотрела на нее, потому что тогда бы нам стало только тяжелей. Я рассматривала орла на верхушке флагштока в зале суда. Орел парил над деревянным флагштоком, словно держа в когтях американский флаг. Я видела огромные флаги, полоскавшиеся в небе на ветру. К примеру, на автосалонах. Иногда на «Макдоналдсах». Большущие флаги, поднимавшиеся во имя коммерции

и провозглашавшие: Америка! Но в зале суда флаги висели тихо и безжизненно, собирая пыль. Я подумала о том, что флагу нужен ветер, и в этот момент судья назвал мое имя и номер дела и повторил.

Мне сказали, что я встречусь с моим защитником в зале суда. Я встала, как мне велел судебный пристав, но не увидела никакого адвоката.

Адвокат Джонсона с волнистыми седыми волосами подскочил ко мне. Что еще *ему* от меня надо, подумала я.

— Мисс Холл? Роми Холл? Я ваш публичный защитник.

Вы можете сочувствовать адвокату Джонсона, если у вас есть такая потребность, но я не должна этого делать. Он хотел как лучше. Но он был некомпетентным и заработавшимся стариком. Из-за него я получила два пожизненных срока, потому что он не сумел донести до присяжных всю низость и подлость Курта Кеннеди и историю его одержимости мной.

Кеннеди помешался на мне. Он решил, что это дело его жизни — караулить меня перед моим домом, в гараже, где я держала машину, шпионить за мной в тесных торговых рядах моего супермаркета. Преследовать меня пешком и на мотоцикле.

Когда я слышала звук его мотора, пронзительное жужжание, я вздрагивала. Он завел привычку названивать мне по тридцать раз кряду. Я сменила номер. Он узнал новый. Он приходил в «Комнату на Марсе», когда я была там, или поджидал меня заранее. Я просила Дарта вышвырнуть его, но он отказался. Дарт сказал, что это хороший клиент. А со мной можно было не считаться. В отличие от мужчин, плативших деньги. Кеннеди преследовал меня и не собирался оставлять в покое. Но обвинитель убедил судью, что поведение жертвы не имело отношения к делу. Оно не представляло неминуемой угрозы для меня в ночь совершения преступления, поэтому присяжные заседатели ничего не узнали об этом, ни единой детали. И пусть это судья не дал слово свидетелю, я винила адвоката. Я винила адвоката потому, что он должен был помочь мне, а я чувствовала, что он этого не сделал.

— Почему я не могу дать показания и все объяснить? — спросила я его.

— Потому что вы погубите себя при перекрестном допросе, — ответил он. — Я не могу позволить вам сделать это. Ни один компетентный адвокат не допустил бы вас до показаний.

Когда я снова попросила его, он стал заки-

дывать меня вопросами. О работе, которой я зарабатывала на жизнь. О моих отношениях с Кеннеди и другими клиентами. О решении воспользоваться тяжелым инструментом. О том факте — *о факте*, сказал он с нажимом, — что я ударила человека, сидевшего на стуле, человека, которому требовались две трости, чтобы ходить. Я пыталась отвечать на его вопросы. Он отмахнулся от моих ответов и переделал их в новые вопросы, и я стала пытаться ответить на них, но запуталась. Когда он задал мне очередной вопрос, я закричала, чтобы он прекратил это.

— Вы не будете давать показания, — сказал он.

Всё, что знали присяжные заседатели числом двенадцать человек, это что молодая женщина сомнительного морального облика — стриптизерша — убила вышестоящего в социальном плане гражданина, ветерана Вьетнамской войны, имевшего увечье, полученное на работе и повлекшее за собой пожизненную инвалидность. А поскольку в деле фигурировал ребенок, они приплели угрозу благополучию ребенка. И не важно, что это был мой ребенок, а человеком, представлявшим для него угрозу, был Курт Кеннеди.

Адвокат Джонсона пытался убедить меня признать вину. Я отказалась. Я знала, как работает

эта система, по крайней мере в общих чертах. Большинство дел так и не доходят до суда, потому что обвинители запугивают обвиняемых и вынуждают их признать вину, а адвокаты поддерживают их в этом, не желая вести заведомо проигрышные дела. Мой случай был другим. У меня имелись обстоятельства. Каждый, бывший рядом со мной и знавший мою историю, понял бы, что произошло и почему, только никого со мной не было и никто этого не знал.

Чего я не сознавала в то время, так это того, что большинство людей признают вину потому, что не хотят провести всю свою жизнь в тюрьме.

Я никогда не считала его своим адвокатом. Он для меня был адвокатом Джонсона, пусть даже я совершенно не знала Джонсона и не думала о том, что с ним случилось; он был просто еще одной жертвой системы, одной из многих тысяч. И все же мне нравился Джонсон. Мать его девушки была шерифом — и к черту всех, кто сомневался в этом.

В суде адвокат Джонсона то и дело говорил «вычеркните это» на середине своих предложений. «Вычеркните это». Может, это было нормально. Я не знала. Но каждый раз, как он говорил это, мое

сердце падало.

Присяжные заседатели так и не узнали, чего я натерпелась от Курта, какому психологическому террору подвергалась — как он караулил меня повсюду, преследовал, названивал снова и снова, возникал передо мной в самых неожиданных местах. Ни о чем из этого не было сказано в суде. Что узнали присяжные заседатели, так это что я воспользовалась монтировкой (доказательство обвинения #89). Что жертва сидела на раскладном стуле, когда был нанесен первый удар (доказательство обвинения #74), и что другие слышали, как он звал на помощь (свидетельница #17, Клеменс Солар).

Обвинитель спросил коронера, своего первого свидетеля, сколько вскрытий тот провел.

— Более пяти тысяч, сэр.

— А сколько с травмой головы?

— Сотни, я полагаю.

Коронер показал по фотографиям и описал две смертельные раны. Причиной смерти была названа сильная черепно-мозговая травма. Коронер отметил, что мистер Кеннеди, кажется, потерял большой объем крови на крыльце обвиняемой.

— Сколько ударов по голове получил мистер

Кеннеди? — спросил обвинитель.

— Как минимум четыре. Возможно, пять.

— Должен ли был мистер Кеннеди при таких увечьях испытывать значительную боль?

— О да.

— А другие увечья на его руках и плечах позволяют предположить, что он пытался защититься?

— Да, конечно.

— Верно ли, что человеку старше пятидесяти лет проломить череп легче, чем людям более молодым?

Это спросил адвокат Джонсона на перекрестном допросе.

— Я полагаю, но…

— Возражаю. Бездоказательно.

— Поддерживаю.

Обвинитель вызвал одну из моих соседок в качестве свидетельницы. Клеменс Солар была готова сказать что угодно, лишь бы добиться внимания, например что она слышала, как Курт Кеннеди звал на помощь. Это была ложь. Свидетель защиты, парень по фамилии Коронадо, жил через дом от Клеменс. Мы с ним ни разу не общались. Он говорил только по-испански, а я только по-английски. Я вспомнила, что видела,

как он ремонтировал машины. Один раз его машина потекла, так что полный бак бензина разлился на асфальт, и на него наорал сосед. Он сказал полиции, что видел, как Курт Кеннеди подъехал на мотоцикле, припарковался и стал ждать. Он слышал спорящие голоса и был уверен, что я применила силу для самообороны. Таков был план. К нему обратился адвокат Джонсона, и этот человек согласился подыграть в мою пользу. Он согласился дать показания.

— Мистер Коронадо привлекался к ответственности в округе Сан-Бернардино, — сказал обвинитель судье. — Он получил ряд обвинений за вождение в состоянии алкогольного опьянения в течение нескольких лет и прошел принудительное лечение.

Переводчик перевел это свидетелю, моему свидетелю, моему соседу, мистеру Коронадо, и тот повернулся к судье и стал говорить. А переводчик переводил его.

— Ваша честь, я хочу прояснить это немедленно. Я готов прояснить это. Я сделаю все необходимое.

Судья и секретарь суда громко обсудили вину свидетеля перед законом, и в каком суде принимают провинившихся без предварительной

договоренности.

— Сэр, ваши проблемы с законом имели место в округе Сан-Бернардино. Вы должны решить их с представителями местной власти. Сегодня пятница, и они не принимают случайных посетителей сегодня. Отправляйтесь туда утром в понедельник.

Коронадо снова заговорил, очевидно не восприняв слова переводчика.

— Ваша честь, я готов. Я выплачу штрафы и отбуду срок. Я хочу прояснить это прямо сейчас. Я готов, Ваша честь. Я хочу прояснить это.

Это был наш свидетель. Он хотел помочь мне, но не мог.

В день вынесения приговора адвокат Джонсона, похоже, пришел в нетрезвом виде. Он кричал на присяжных заседателей и топал ногой. Он обращался к ним грубым голосом, как будто это они провинились в чем-то.

Заседатели не обращали на него внимания, как и на меня. Они заполнили бланк и передали судье. На бланке имеются две колонки. Председатель присяжных взглянул только на одну из них.

Дети должны все время находиться под присмотром, вести себя тихо и прилично, в противном случае надзирателей попросят вывести их из помещения для посещений

Заключенные не могут иметь при себе карточки для торговых автоматов

Торговые автоматы не принимают наличные деньги. Вам нужно купить карточку по предоплате в Службе оформления посещений

Карточки стоят пять долларов. Два доллара и пятьдесят центов будут возвращены вам, *если ваша карточка будет пригодна для дальнейшего использования*

Заключенные могут стоять не ближе чем на расстоянии трех футов от торговых автоматов

Допустимо одно краткое объятие в начале вашего посещения и одно очень краткое объятие в конце посещения. Продолжительный физический контакт недопустим под угрозой прекращения посещения

Держаться за руки приравнивается к продолжительному физическому контакту и недопустимо

Запрещается хлопать заключенных по рукам

Запрещается держать руки под столом во время

посещения. Посетители и заключенные должны все время держать руки на виду у полицейских

Запрещается держать руки в карманах

Запрещается кричать

Запрещается повышать голос

Запрещается спорить

Запрещается дурачиться

Запрещается громкий смех и шумное поведение

Плач должен быть сведен к минимуму

7

Дорога до Стэнвиллской тюрьмы идет прямо. Она идет в сторону гор, которые видны с тюремного двора в те дни, когда смог слабее обычного. Зимой верхушки гор припорошены снегом. Снег где-то далеко. Он никогда не падает в долине, где расположен Стэнвилл. Мы видим эти белые верхушки через спекшиеся слои воздуха долины. Снег так же далеко от нас, как дом.

На дороге в Стэнвилл только те, кто едет в Стэнвилл. В то утро, когда нас туда привезли, на дороге не было никого, кроме нас. По обе стороны дорога была обсажена миндальными деревьями. Я не обращала внимания на них и даже не

задумывалась, что это за деревья, но Лора Липп проснулась и снова заговорила. Она сказала, что миндаль, который продают в магазинах, это не настоящий миндаль, а ядовитые фруктовые семечки — я знала это? — и ее сын чуть не умер, поев такого миндаля.

— Когда-нибудь раскалывала персиковую косточку? — спросила меня Лора Липп. — Вот откуда они берут их. Это не настоящий миндаль. Это ядовитые косточки персиков. Один раз соседка дала моему ребенку таких, не спросив меня, и если бы не «Скорая помощь», она бы убила его.

– *Ты* убила его, — сказала женщина за нами.

Я ощутила волну враждебного внимания и услышала, как люди цокают с отвращением.

Белые женщины, попавшие в тюрьму, виновные в двух преступлениях: детоубийство или вождение в пьяном виде. Разумеется, они совершают множество других преступлений, но таковы стереотипы, помогающие поддерживать порядок среди заключенных, в половом и расовом отношении.

— Они не знают, как все было, — сказала Лора Липп. — О моем бывшем и о том, как он обошелся со мной, с нами — со мной и ребенком. Никто из вас не имеет права меня судить. Вы ничего не

знаете. Как и я ничего не знаю о вас.

Она повернулась ко мне, словно я была ее единственной советчицей.

— Ты знаешь, кто такая Медея?

— Нет, — сказала я. — Тебе нужно помолчать. Я тебя не знаю и не хочу говорить с тобой.

— Ты хочешь, чтобы я молчала, но я заткнусь только тогда, когда закончу, и не раньше. Я ходила в колледж, в отличие от всех вас. Медею бросил муж, как и меня. Он все забрал у нее, даже ее детей. Ей нужно было сделать ему больно. Чтобы он узнал *ее* боль. Это записано в книгах. Это реальная история. Нельзя так поступать с человеком безнаказанно. Он испоганил ей жизнь, поэтому она нашла способ отплатить ему тем же. Это мое единственное утешение. Оно очень, очень, очень слабое. Такое слабое, что большую часть времени я его не чувствую.

Я сидела, отвернувшись, с закрытыми глазами. Я была в ловушке, но усилием воли перенеслась в другое место. Я увидела женщину на лестничном пролете отеля, подбирающую ворсинки с дурацкой красной ковровой дорожки, надеясь найти крэк-кокаин. Она подбирала с ковра крошки, спичечную головку, катышки. Вертела все это в пальцах, нюхала, касалась языком, бросала

обратно. Подбирала другую крошку и снова обследовала ее. Она начала плакать, эта женщина, от бесплодных поисков, бесконечных поисков. Я не видела ничего грустнее этого. Я продолжала видеть это против воли, пока Лора Липп говорила и говорила.

Я поняла, что женщиной, ползавшей по ковровой дорожке, была Ева. Я отгораживаюсь от каких-то вещей. Все так делают. Чтобы не сойти с ума. Но, пытаясь отгородиться от слов Лоры Липп, я неожиданно подумала о чем-то плохом. Ева подсела на кокаин еще в юности. Сперва она его нюхала, потом пускала по вене и, наконец, перешла на крэк — и привет. Она отощала, ей выбили зуб в драке, она попала в аварию и стала хромать. Но она все равно была Евой, и я любила ее.

Когда вы увидите прожектора выше, чем на стадионе, знайте, что вы в тюрьме.

Нас выводили из автобуса по двое, покрикивая: «Шевелись, быстрее». Я старалась не споткнуться. Но Конан передо мной шагал как ни в чем не бывало. Цепи не затрудняли его шагов. Не знаю, как у него это получалось. Он практически парил, плавно покачиваясь, как моряк. Такая походка была бы уместна на улицах Комптона, на парковке Инглвудского форума или на автошоу в

Помоне[16], но не в веренице женщин в кандалах, направлявшихся в тюрьму.

Полицейские, встречавшие нас, были сердитыми. Особенно женщины. Нас приняли грубо и злобно, но это заткнуло Лору Липп. Единственной, к кому отнеслись по-человечески, была необъятная толстуха, которая сползла во сне с сиденья. Ей позволили спокойно лежать, пока остальных, более выносливых и сознательных женщин подталкивали по проходу из автобуса. Эта женщина выглядела мирно спящей, когда я протиснулась мимо нее. Ее вынесли на носилках в последнюю очередь два медика, которые объявили, что она мертва, и положили ее на пол приемного блока, накрыв лицо брезентом.

Остальные женщины выстроились для досмотра и переодевания. К нам приблизилась квадратная тетка в звании лейтенанта по фамилии Джонс, которая так выглядела, как я потом поняла, отчасти из-за бронежилета. Мужики в бронежилетах выглядят качками, а женщины колодами.

Мы обильно намазались лосьоном «Линдан»

---

[16] Примечания: 16

Город в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния, известен своим парком развлечений.

против вшей и прочей заразы. Это яд; мне два раза приходилось пользоваться им, чтобы вывести клещей, которых я подцепила в «Комнате на Марсе», и оба раза у меня через пару часов была менструация. Полицейские хотели, чтобы этим лосьоном намазалась пятнадцатилетняя девчонка на восьмом месяце беременности. Я сказала ей не делать этого. Мы были рядом в душевой. Ее все равно заставили, и она со слезами намазалась «Линданом». Если бы ее официально признали беременной, ее могли бы освободить от некоторых процедур, но для начала требовалось указать это в ее личной карточке, а нам их еще не выдавали. Она должна была ждать, как и все остальные, планового медосмотра, а затем обязательного оформления по результатам теста на беременность, который она была обязана пройти, даже если бы было видно, как у нее в животе пихается ребенок. После этого ей сделают нашивку на спине казенной рубашки и дождевой куртки большущими буквами: «УИУ[17]. БЕРЕМЕННАЯ». Она не будет получать дополнительного питания, медицинского обследования, никаких витаминов или консультаций. Все, что она получит, это

[17] Примечания: 17
Управление исправительных учреждений.

нижнюю шконку в камере и дополнительное время на выход во двор при сигнале тревоги. Вот для чего на куртке указывалось: «БЕРЕМЕННАЯ». Это было все равно что написать «ДАУН». Другими словами: «НЕ ТРОГАЙТЕ МЕНЯ (Я УБОГАЯ)».

Дальше нас ожидал шмон голышом, к которому я успела привыкнуть в СИЗО. Надзирательницы орали нам раздвинуть ноги пошире, особенно тем, у кого было много волос. Мы вставали перед ними раком, и они светили нам в дырки фонариками. Кто-то из девушек плакал. Фернандес, которая в начале поездки орала на молодую беременную, чтобы та заткнулась, и здесь орала на плакавших девушек. Все копы знали ее.

— Фернандес, задний ход, — говорили они.

И она либо отшучивалась, либо посылала их куда подальше. Остальные девушки, похоже, боялись ее.

Нам выдали безразмерные хламиды в горошек и гору парусиновых тапок трех размеров — кому как повезет. Даже здоровому как бык Конану, с бородкой по краю челюсти, пришлось надеть халат в горошек. Он расправил могучие плечи, давая копам понять, что одежда ему мала.

— Мне нужны штаны и рубашка. Я не могу это носить. Это неправильно, Серж. — Между пред-

ложениями Конан поднимал руки. — Слишком жмет в плечах.

— Что вы собираетесь делать в этой одежде, мэм? — сказала Джонс. — Дирижировать оркестром? Закройте рот и опустите руки.

Эти халаты в горошек напомнили мне выражение «корова накрашенная». Ни одну женщину нельзя сравнивать с коровой, как и заставлять носить такую пижаму, которую нам выдали. Тем более если ты Конан. Тапки были ничего. Они напомнили мне кеды, которые мы носили подростками, продававшиеся в армейском магазине на Маркет-стрит. Там же я обзавелась спортивной формой для школы. Потом, когда я выросла, я проходила мимо по пути в «Комнату на Марсе». А неподалеку от этих мест был тот угол, на котором бизнесмен из «мерседеса» пообещал мне дать денег на такси дождливым вечером. Таким городом был для меня Сан-Франциско, словно мозаикой, сложенной из фрагментов моей жизни. Между армейским магазином и «Комнатой на Марсе» был бар «Очарование», в котором мы с Евой провели много часов подростками, пока Ева флиртовала с кассиром, до того, как она пропала в Тендерлойне, к северу от «Очарования», затерявшись в шумливых и грязных отелях, со-

ставлявших жемчужины на суровой нитке ее жизни, еще более суровой, чем моя.

Последний раз я видела Еву на свадьбе нашей общей подруги, бывшей проститутки, которая завязала с прежней жизнью, сошлась с одним парнем в реабилитационном центре и вступила с ним в Церковь Христа[18]. Мы пришли на их безалкогольную свадьбу, где все улыбались, словно на христианском телеканале. Эти люди что-то сделали с нашей подругой. Я видела это по ее лицу. Она рыдала у алтаря. Мне было ясно, что она раскаялась во всем. Они сломали ее и теперь заняли место ее моральных светочей. Выглядела она прекрасно, как букет искусственных цветов на похоронах. Там была еще одна девушка из Сансета, которая все время повторяла, что ее парень не смог прийти из-за того, что в его клубе кто-то умер, и он отправился на похороны тем утром. В его клубе. В тот день проходили пышные похороны одного из «ангелов ада». Ей хотелось козырнуть этим, но как бы невзначай. Она все время говорила, какие хорошие деньги зарабатывает официанткой в баре «Пирс 39».

---

[18] Примечания: 18

Протестантская церковь, возникшая в начале XIX в. в США, в штате Кентукки. В настоящее время насчитывает 2 млн прихожан. Участвует в социальных программах и гуманитарных исследованиях.

— Я зарабатываю деньги *достойно*, — сказала она мне, словно каким-то образом узнала, кем я работала.

«Пирс 39» — это помойка.

Ева показалась в середине церемонии. Она пришла с каким-то итальяшкой. Выглядели они так, словно не спали три дня. Лицо Евы было под толстым слоем макияжа на тон светлее кожи. Она не снимала солнечные очки даже в помещении. Когда она повернулась ко мне, я заметила, что ее макияж местами смазан.

— Роми, что за хуйня тут творится?

Это был правильный вопрос, по делу.

Итальяшка, вероятно, снабжал ее наркотиками. Она назвала его своим парнем, но это мало что значило. За год до того Ева сошлась с типом, который изначально был ее джоном. Потом он стал постоянным, а потом не захотел, чтобы она виделась с другими джонами. Он стал давать ей деньги на наркотики, чтобы ей не нужно было продавать себя на улицах. Как-то вечером этот тип подкараулил меня у входа в «Комнату на Марсе» и стал спрашивать про Еву. Он искал ее. Он был в смятении. Он сказал, что потратил восемьдесят тысяч долларов на ее кокаин за тот год, а теперь она пропала. Чего он ожидал? Я не

сомневалась, что он любил ее или, во всяком случае, понимал, что у него никогда не будет такой шикарной и свободной женщины, как Ева, которая бы не тянула из него деньги и, самое главное, не имела бы какой-нибудь зависимости, которую ему пришлось бы удовлетворять.

— Отвали от меня, — сказала я и оставила его стоять у входа в театр.

Его звали Генри, этого джона, помешавшегося на Еве. Он стал повсюду ходить за мной, надеясь, что я приведу его к ней. Но я не общалась с Евой, не знала, где она, и она была не тем человеком, которому можно позвонить по телефону. У меня было около десятка ее номеров, и ни один из них не работал. Позже я напрочь забыла о Генри, поскольку у меня появился мой собственный преследователь, Курт Кеннеди. Генри в действительности преследовал не меня, а Еву. Он преследовал или выслеживал меня, только чтобы найти ее. Ева исчезла, чтобы скрыться от него. Когда я думаю о Генри или Курте, у меня горло сжимается.

Нас приковали к скамейке в холле в маленькой бетонной комнате в ожидании допроса насчет наркотиков, половой жизни, психического здоровья, а также связей с преступными группи-

ровками и возможных врагов, отбывающих срок в настоящее время в Стэнвилле. После нескольких часов этой мутотени они выдали каждой из нас постельные принадлежности и Справочник правонарушителя УИУ, а также 40-страничное руководство к Справочнику правонарушителя УИУ. Конан спросил, чтобы все слышали, не дадут ли нам *руководства к руководству* к справочнику.

— Неспособность донести о нарушении правила, — проговорил Конан в нос, — также является нарушением правила. Неспособность донести о нарушении правила неспособности донести о нарушении правила также является нарушением правила.

— Не пробыла в тюрьме и шесть часов, Лондон, — сказала Джонс, — и уже заработала очко по сто пятнадцатой[19].

Я подумала, что она так шутит, но она подошла к столу и стала что-то писать.

— Лондон, — сказала кто-то, — *Лондон*.

Кто-то из девушек смеялся и хихикал на то, что Конан получил письменное замечание. Вы могли подумать, что мы были командой. Даже такая паршивая команда из шестидесяти чело-

---

[19] Примечания: 19
Статья исправительно-трудового кодекса за нарушение дисциплины.

век, которую привезли в этом автобусе, могла бы довольно легко справиться с двумя транспортными копами, угнать автобус и свалить в Мексику. Но между нами не было единства. Были просто злые бабы, ждавшие, чтобы другим досталось не меньше, чем им.

В СИЗО было то же самое. Когда я только попала в окружной СИЗО, у меня тут же пропал пластиковый стаканчик. Он был как бы одноразовый, но ничего другого мне не дали. Я этого не знала, а другие не сказали мне. Они смеялись, когда я копалась в мусоре и в итоге достала оттуда банку из-под газировки. Следующие полтора года я пила из нее воду. СИЗО превосходный рассадник полицейских настроений, но любители указывать другим есть в любом месте. В «Комнате на Марсе» были женщины, критиковавшие за глаза своих товарок за то, что у них нет модного прикида или особых пируэтов для танцев в зале. Кому какое дело — мы работали там ради денег, а не затем, чтобы тратить их на прикид, — и все равно в раздевалке попадались особы, пытавшиеся навязать другим свои правила, как надо танцевать стриптиз. Они считали, что все должны выдавать первоклассные номера и покупать дорогие костюмы, чтобы выглядеть более изысканно и

профессионально, для соответствия какому-то стандарту, которого они придерживались. Но большинство из нас работали в таком месте потому, что не верили ни в какие стандарты и не пытались соответствовать чему-либо. Тебе не нужно верить во что-то, чтобы работать в «Комнате на Марсе». Когда среди нас появились русские стриптизерши, они принесли с собой новую, постсоветскую разгульность, лихое безразличие к костюмам и гламуру, ко всему, что не давало прибыли. Большинство из них мастурбировали клиентам в зале, обесценивая работу других девушек.

Самые похабные типы приходили в клуб в тонких спортивных штанах для максимального контакта, но многие были не такими озабоченными или более порядочными. Некоторые даже не хотели, чтобы девушка садилась к ним на колени, а только рядом и чтобы разговаривала с ними. Но я предпочитала типов в спортивных штанах. С ними было проще всего. Не нужно улыбаться, изображать из себя что-то, разыгрывать какую-то связь между вами. Они сами направляли тебя, как им нравилось, и тебе не нужно было перенапрягаться за двадцать долларов за выход. Но после того как клуб наводнили русские

стриптизерши, все клиенты стали требовать мастурбации за те же двадцать долларов. Эти русские здорово подгадили нам. Они выкачивали деньги из всех бумажников.

Нас собрали в общем помещении нашего нового жилого блока в ожидании распределения по камерам. Это было большое здание из шлакобетона с рядами камер в два этажа. Там был сплошной бетон, местами выкрашенный грязно-розовым. Зэчки в камерах прижимались лицами к дверям и глазели на нас через узкие застекленные окошки. Одна из них прокричала, что мы похожи на сборище обоссанных шмар. Эй, шмара! Эй, дебилка! Ну-ка, подотри мне жопу. Вылижи пизду, пока ты здесь. Она продолжала орать, пока надзирательница не шуганула по ее двери дубинкой.

Лора Липп уселась рядом со мной. Я попыталась отодвинуться, но Джонс рявкнула на меня:

— А ну, сиди, куда посадили. Ты не на концерте.

— С детоубийцей, — сказала Фернандес в полный голос. — Вы двое как близняшки Боббси.

Кто эти близняшки Боббси? Никто, похоже, был не в теме. Она имела в виду, что мы похожи, потому что обе белые, и я решила что-нибудь придумать, чтобы отвязаться от Лоры Липп.

— Сколько среди вас дислексиков? — спросила Джонс нашу группу из шестидесяти человек.

Все, кроме меня, подняли руки.

Джонс посчитала по головам и не заметила моей неподнятой руки. Я не возражала. Как я начала понимать, Закон о защите прав американцев с инвалидностью часто был единственным буфером, хоть как-то сдерживавшим полицейский произвол в отношении заключенных. Лора Липп не упустила очередную возможность сблизиться со мной.

— Я на самом деле не страдаю дислексией, но дислексикам дают дополнительное время для заполнения бланков. Ты любишь читать?

Я отвернулась и попыталась поймать чей-нибудь взгляд, но никто на меня не смотрел.

— Если ты в итоге попадешь в почетное общежитие, девушки там меняются книгами, хотя большинство читает дрянь.

Джонс начала с того, что громко расшифровала нам указания, висевшие в общем помещении, поскольку все мы были дислексиками или заведомо безграмотными. Все указания начинались одинаково.

Леди, докладывайте служащим, если у вас стафилококк.

Леди, никакого нытья.

Леди, любой произвол засчитывается по статье 115.

Указатель о предупредительных выстрелах был более конкретным: ЗДЕСЬ НЕ ДЕЛАЮТ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ ВЫСТРЕЛОВ.

На циферблате настенных часов интервал времени от без пяти двенадцать до пяти минут первого был отмечен красным клином. Это было сделано для тех, кто не понимал часы. Джонс объяснила значение красного клина.

— Все, что вам надо знать, — сказала она, — это когда большая стрелка на красном, двери камеры открыты.

Все в тюрьме рассчитано на тех, для кого нарисован этот красный клин на циферблате, то есть на недоумков. Мне такие еще не попадались. Многие из тех, кого я встречала в тюрьмах, не умеют читать, а некоторые не умеют определять время, и тем не менее они настолько башковитые и пробивные, что заткнут за пояс любого яйцеголового. Люди в тюрьме умные как черти. Таких недоумков, на которых рассчитаны все эти правила и указания, я ни разу не встречала.

Джонс зачитала руководство к справочнику, а затем сам справочник. Там были правила обо

всем: внешний вид, мысли, условные знаки и язык, еда, отношения, распорядок дня, инструменты и принадлежности и как ими пользоваться. Многие инструкции уточняли, кого нельзя трогать (никого) и где (нигде), и, разумеется, не допускалось никаких соитий, как подчеркнула Джонс, растягивая это слово, как развратная проповедница.

— Напомните, — сказал Конан, — соитие — это просто поебаться, да?

Наша группа понемногу засыпала; нас провозили всю ночь, и все были измотаны. Но Джонс механически читала весь текст без перерыва, ни разу не взглянув на нас. Я тоже задремала, но проснулась от криков.

Кричала беременная девушка, обхватив живот. Джонс взглянула на нее, облизнула палец, перевернула страницу справочника и продолжила чтение. Она читала это 80-страничное руководство и руководство к руководству каждую пятницу, когда привозили очередных заключенных, так что она хорошо знала текст и тараторила его скороговоркой, чтобы поскорей закончить. Но беременная девушка помешала ее работе, так как у нее начались схватки.

Я говорила, что зэчки с готовностью участвуют

в расправе друг над другом, но так бывает не всегда. Кое-кто из нас в тот день помог рожавшей. Джонс сказала всем сидеть на месте и ждать врачей. Но Фернандес встала и подошла к девушке, чтобы помочь ей, хотя в автобусе она орала на нее. Я тоже встала и пошла к ней. Так я могла оторваться от Лоры Липп. И мне было невыносимо смотреть, как мучилась эта бедняжка. Она кричала от боли. Мы с Фернандес взяли ее за руки. Конан тем временем удерживал Джонс и других полицейских. Они распылили газ ему в лицо, но он только больше рассвирепел и уложил Джонс на пол. Зазвучал сигнал тревоги. Я успокаивала девушку. Напоминала ей дышать. Но она все время говорила «нет», словно не хотела рожать, словно могла предотвратить будущее, врывавшееся в ее жизнь. К нам сбегались копы. Четверо из них накинулись на Конана.

Я повторяла девушке, что все будет в порядке. Это были пустые слова, ведь она была в тюрьме, но я успокаивала ее, как только могла, пока копы не оттащили меня от нее и не усмирили. К рожавшей они не притронулись; она осталась одна, крича от боли.

Фернандес, как и Конан, была не робкого десятка. Ей тоже распылили газ в лицо, но она как

будто даже не поморщилась. Она упиралась, пока ее не приложили электрошокером, после чего запихнули в одиночку.

Меня тоже посадили в одиночку. Там было тесно, и мне пришлось пригнуть голову. Я чувствовала себя одной из тех индеек в клетках. А Конан вообще с трудом мог повернуться. Конан в клетке — это даже хуже, чем Конан в халате. Это была гора мышц, объятая злобой. Нас троих ждал карцер.

Мой первый день в тюрьме, а я уже запорола право на УДО через тридцать семь лет.

Когда пришли врачи, было уже поздно двигать девушку — схватки шли полным ходом. Она родила прямо в приемном блоке. Крик младенца отразился эхом от бетонных стен, пронзительно утверждая свое право на жизнь.

Рождение ребенка должно приносить радость. Но здесь было некому радоваться. Мать была в руках государства, как и младенец, и они могли рассчитывать только на милость бюрократической машины. Надзиратели считали это смешным — у них в тюрьме завелся младенец. Это было против всяких правил. Младенец был контрабандой.

Джонс качала головой, словно это рождение в

ее блоке стало еще одним примером или подтверждением нашей неспособности жить в обществе. Врачи положили девушку на носилки. Она попросила взять ребенка, но ее слова остались без внимания, а врач, державший новорожденного, отстранил его подальше от себя, словно пакет с мусором.

Мой Джексон родился в главной больнице Сан-Франциско, где обязаны принимать даже без страховки. Медсестра положила его мне на грудь, и он посмотрел на меня, мокрое дикое существо, выползшее из болота, такое глазастое, внимательное, и в его крике не было истерики, это была не жалоба, а настоятельный вопрос: «Ты здесь? Ты здесь ради меня?»

Я тоже плакала и говорила ему: «Я здесь. Вот я, здесь». Медсестра помыла его и положила в чистый пластиковый ящик, и всю ночь к нему подходили разные медсестры и прочий персонал — они тыкали его, кололи и всячески тревожили. Я была рядом, как и обещала, но я не могла защитить его.

Отцом Джексона был вышибала из «Бешеного коня», клуба на той же улице, что и «Комната на Марсе», в котором я тоже иногда работала. В тот вечер, когда родился его сын, он зависал с

друзьями, вместо того чтобы торчать со мной в дурацкой больничной палате, в которой лежала еще одна женщина, также без спутника, и всю ночь смотрела телевизор.

Всякий раз, как ко мне домой наведывался папа Джексона в первые дни и недели после его рождения, я орала на него, что он раздолбай, как оно и было, так что он перестал приходить. Я не хотела, чтобы он мешал мне, но, когда я узнала, что он умер от передоза, я не могла смотреть на маленького несчастного Джексона без досады.

Он лишился своего непутевого папочки. У него оставался только один человек в этой жизни. Он вертел головкой, пристально глядя на меня в изумлении блестящими голубыми глазищами, в облаке топорщившихся во все стороны волосиков, и не знал, что потерял отца. Он знал только меня. Я была для него всем.

В то время я жила в приличном районе. Но, когда Джексону было три месяца, мой домовладелец продал дом. Новые владельцы выселили жильцов, чтобы поднять квартплату. Город менялся. Цены на жилье росли. Мне оставалось либо переехать к маме, которая мне этого не предлагала, вероятно, потому, что мы все время ссорились и она устала от меня, либо перебраться

в Тендерлойн, где еще можно было снять приличную студию, если тебе не претила тамошняя атмосфера. Я переехала на Тэйлор-стрит. Поближе к Еве, как я думала. Я вернулась к работе в «Комнате на Марсе» и стала платить новой соседке, чтобы она смотрела за Джексоном. У соседки была трехлетняя дочка, и она была в похожей ситуации. Мать-одиночка без денег. Джексон почти все время был с ней, особенно после того, как я стала встречаться с Джимми Дарлингом.

Мы трое сидели, нахохлившись, в наших птичьих клетках, пока Джонс вымещала злобу на остальных, объясняя им тюремные порядки. Все были не в себе. Кто-то плакал. Джонс говорила им заткнуться и напоминала, что они попали сюда по собственному выбору и что Санчес — так звали родившую — сделала на редкость плохой выбор и должна была подумать о будущем ребенка до того, как нарушить закон.

Джонс вызвала уборщиц, двух угрюмых белых девушек с дредами и ободранной кожей, чтобы вымыть пол после родов. Было непонятно, объяснялась ли их угрюмость текущей ситуацией или это было их обычное, всегдашнее настроение.

Угрюмые уборщицы обрызгали пол чистящим средством и смыли из шлангов. Мыльная вода

стекла в решетки.

У меня в ушах все звучал крик младенца, хотя его вместе с мамой давно унесли. Полицейские не спешили разбираться с нами. Теперь, когда мы были в одиночках, мы могли ждать сколько нужно, уставившись на грязно-розовые стены, пока кто-то медленно, очень медленно заполнял наши бланки на перевод из приемного блока в карцер, где было еще хуже, чем в остальной тюрьме.

Я с сожалением узнала, что родилась девочка.

8

ПРОСЬБА ОПИСАТЬ ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

ПРОСЬБА ПРОЯВИТЬ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ И ТЩАТЕЛЬНОСТЬ

В графе об опыте работы подозреваемая написала, что у нее имеется рабочий опыт. Сотрудник полиции объяснил, что этого недостаточно.

В стенограмме допроса подозреваемого, проведенного следователями отдела убийств, на вопрос, какую работу он обычно выполнял, подозреваемый ответил: «Утилизация».

«Контроль качества», — указала другая подо-

зреваемая вид работы.

«Я рабочий», — сказал третий, но оказался неспособен уточнить, в какой сфере.

Утилизатор.

Ремонтная бригада.

Розничная торговля.

Оптовая торговля.

Разносчик листовок.

Складской разносчик.

Магазин низких цен.

Все за доллар.

Транзитный склад.

Уолмарт.

Он сказал, что раздавал листовки.

Он написал «утилизатор».

Они оба работали в команде, раздававшей листовки.

Он доставлял бесплатные газеты, но не регулярно.

Он работал на транзитном складе.

Контроль качества, написала она.

Он сказал, что работал неполный день, помогая другу чистить магазины низких цен после закрытия.

Кассир.

Безработный.

В настоящее время безработная.

КК, что означало, как она объяснила, контроль качества.

Автомобильный разгрузчик.

Почтовые услуги.

Он сказал, что распаковывал ящики на транзитном складе.

Когда ее спросили, чем она зарабатывала на жизнь, подозреваемая сказала, что работой.

Утилизация, написал он.

Он объяснил, что доставлял утиль в центр избавления.

Утилизатор.

Утилизатор.

Утилизатор.

Утилизатор.

Избавление, сказал он.

Искупление, написала она.

Подозреваемая сказала, что в основном зарабатывала на жизнь тем, что собирала бутылки и жестянки.

9

Если загуглить город Стэнвилл, повыскакивают лица арестованных: в профиль и анфас.

После этих лиц вы увидите статью о том, что в Стэнвилле имеется наивысший процент рабочих с минимальной зарплатой в штате.

Вода в Стэнвилле ядовита. Воздух там плохой. Большинство старых контор забиты досками. Там есть магазины низких цен, бензоколонки, на которых продают алкоголь, и автоматические прачечные.

Пешеходы прохаживаются по главному бульвару в самое пекло, когда на солнце 113 градусов[20]. Другие плетутся по канавам вдоль дорог, толкая пустые магазинные тележки, пронзающие мертвую зону раннего вечера металлическим дребезжанием. Тротуаров в городе нет.

Стэнвилл — синоним своей тюрьмы. Так же как Коркоран, и Чино, Делано, и Чоучилла, и Авенал, Сьюзанвилл, и Сан-Квентин — десятки городов с тюрьмами, названными в честь города, по всей стране.

Гордон Хаузер снял в аренду через сайт недвижимости хижину в окрестностях Стэнвилла, в предгорье западного хребта Сьерра-Невада. В хижине имелась одна комната с дровяной печью. Он проживет этот год как Торо, написал он свое-

---

[20] Примечания: 20
45°C.

му другу, Алексу, отправив ему ссылку на сайт.

«Скорее, как Казински»[21], — ответил ему Алекс, увидев фотографии хижины.

«Согласен, они оба жили в однокомнатных хижинах, — ответил Гордон. — *Но я не вижу особого сходства между ними».*

«Поклонение природе, самодостаточность. К. даже читал «Уолдена», — написал Алекс. — *Он есть в списке книг из его хижины. Как и Р. У. Б. Льюис*[22]*, твой кумир».*

«Ты не слишком упрощаешь»?

«Да. Но кроме того, оба умерли девственниками».

«Казински еще не умер, Алекс», — ответил Гордон.

«Ты понимаешь, о чем я».

«Но Торо тревожили поезда, — ответил Гордон. — *А Тед К. современник атомной бомбы. Он был свидетелем техногенного крушения мира».*

«Признаю, это, конечно, существенная разни-

---

[21] Примечания: 21

Теодор Джон Казински (род. 1942) — американский математик, социальный критик, анархист и террорист, известный своей кампанией по рассылке бомб по почте.

[22] Примечания: 22

Ричард Уоррингтон Болдуин Льюис (1917–2002) — американский литературовед, критик и биограф. Автор социологической работы «Американский Адам: невинность, трагедия и традиция в XIX веке».

ца. Никого нельзя извлекать из исторического контекста. Плюс Торо слепил бы самую негодную почтовую бомбу. Его зажигательный акт сопротивления не встречал одобрения современников».

Когда они встретились в своем баре на Шаттук-авеню, чтобы выпить пива на прощание, Алекс вручил Гордону, как бы в шутку, список любимых книг Теда Казински. Гордон когда-то читал его воззвание. Все его читали. Этот парень недолгое время был профессором в Беркли. Они выпили за отъезд Гордона.

— За мою ссылку, — сказал Гордон.

— Типа тебя выперли из Оксфорда?

— Просто отправили пожить на природе.

Гордон выехал из центра Окленда ближе к вечеру и двигался на восток и на юг, углубляясь в темные и плоские сельскохозяйственные просторы по Шоссе-99. В салон проникал горелый запах искусственных удобрений, несмотря на кондиционер, а в сумерках над дорогой возникло оранжевое свечение, огромный нимб посреди темноты. Таинственный источник света, словно от большого завода, затерянного в ночных полях. Он знал, что это они — женщины, три тысячи женщин. Как и в ЖТСК, там не могло быть ночи,

поскольку это место охранялось круглые сутки, семь дней в неделю.

Он остановился на ночь в придорожном отеле. Утром он встретится с агентом по недвижимости и получит ключи от хижины. Ему хотелось спросить девушку за стойкой, не знала ли она кого-нибудь, кто работал в Стэнвиллской тюрьме. Но вместо этого он спросил, годилась ли для питья вода из-под крана в городе.

— Я не из тех, кто пьет воду из-под крана? — сказала девушка с вопросительной интонацией.

Он спросил, не подскажет ли она, где можно поесть.

— А вы любитель жареных креветок?

Видимо, местный типаж.

Вода в горной хижине Гордона была ядовитой. Не от удобрений, а из-за природных залежей урана, так что приходилось покупать воду в бутылках. Хижина ему понравилась. В ней пахло свежестроганой сосной. Она была устроена разумно и компактно, можно сказать, уютно, и стояла на сваях, на крутом склоне холма. По соседству было еще несколько домов и необъятный вид на долину.

Он должен был появиться на новой работе в течение недели. Несколько дней он разбирал

свои жалкие пожитки и рубил дрова. Гулял по окрестностям. А по ночам топил печку и читал.

Гордон выяснил, что Тед Казински питался в основном кроликами. Белкам же, по словам Теда, похоже, не нравилась плохая погода. Дневники Теда, главным образом, рассказывали, как он жил и что происходило в окружающей дикой природе, и Гордон отметил, что сравнение его с Торо было не таким натянутым, как ему показалось поначалу. Но Тед никогда бы не написал такого: «Через пробудившуюся в нас самих невинность мы различаем невинность наших соседей».

Все новые соседи Гордона были белыми суровыми ребятами. Они ковырялись в грузовиках и мопедах и относились к Гордону свысока, и его это устраивало, потому что в случае чего такое отношение будет ему только на руку. В горах выпадал снег. Дороги заметало так, что было не проехать. Деревья падали и обрывали провода. Летом и осенью здесь бушевали пожары. Гордону не нравился надрывный визг двухтактных моторов мопедов, разносившийся над долиной по выходным, но деревня была деревней — это вам не чистый, неиспорченный мир туземной жизни с птичьими трелями, а деревенская братва, которая обрезала деревья бензопилами, клала

или мостила искусственный газон и прорубала дорожки сквозь подлесок для покатушек на мопедах и снегоходах. Гордон воздерживался от суждений. Эти люди знали гораздо больше его, как жить в этих горах. Как пережить зиму, и лесные пожары, и грязевые оползни от весенних ливней. И как правильно складывать дрова, что терпеливо показал Гордону один из соседей, живший ниже на склоне холма, после того, как две его стопки дров сбросил на дорогу парень по кличке Бобер, не имевший большей части пальцев. Гордон научился колоть дрова. Таков был первый итог его ссылки.

У соседа, который помог Гордону сложить дрова, была жена или подруга. Гордон не видел ее, но слышал, как они препирались. Голоса здесь разносились далеко.

Однажды ночью в один из первых дней его новой жизни в горах Гордон проснулся от женского крика, доносившегося откуда-то из темноты. Он нащупал лампу. Он был уверен, что это кричала жена соседа. Его дом стоял примерно в трех сотнях ярдов вниз по холму. Снова кто-то прокричал. Это был испуганный вскрик. На этот раз ближе. Похоже, кто-то попал в беду.

Он вышел на крыльцо в пижаме. В доме соседа

не было света. Он долго простоял, но больше ничего не слышал. Он решил, что должен разобраться в этом. Одевшись, он стал спускаться с холма в ту сторону, откуда доносился крик. Он постоял на дороге, вслушиваясь.

Ночь была безлунная, и он почти ничего не видел. Все кругом утопало во тьме, только поверху смутно вырисовывались верхушки сосен.

Неровный свет звезд — то яркий, то тусклый, то чуть поярче — напомнил ему свет фар. Фар машины, движущейся ночью по лесной дороге, просвечивая сквозь деревья. Но звезды были волшебны, а фары могли представлять опасность. Звезды были частью природы. Тогда как машины были неведомым порождением человека.

Деревья шелестели и свистели на ветру, и Гордон задумался, не от ветра ли мигали звезды — возможно, тот же самый ветер гулял в небесной вышине.

Он снова услышал женский вскрик, теперь еще дальше.

— Есть там кто? — позвал он. — Вы в порядке?

Он стоял на холоде и ждал. Но слышал только ветер.

Он вернулся в хижину и лег в постель. Попробовал заснуть, но не смог.

10

Выйдя в лютый мороз, я заметил дикобраза под деревом и выстрелил в него. Сперва он казался мертвым, но потом я увидел, что он еще дышит. Из-за плотной шкуры и колючек я не мог разобрать, где у него в голове мозг. Я приставил ружье туда, где по моим понятиям должен быть мозг, и выстрелил. Было трудно разделывать его, так как шкура не отдиралась чисто от плоти и приходилось следить за колючками. У него в брюхе было много глистов, так что после того, как я вычистил их, я тщательно вымыл руки и нож в сильном растворе лизола. Вообще я очень хорошо готовлю мясо.

Этим утром я шагал по снегу пару часов. Вернувшись, я сварил остаток дикобраза (сердце, печень, почки, несколько кусков жира и большой кровяной тромб из груди). Я съел почки и часть печени — это было восхитительно. Я также съел часть тромба, довольно приятного на вкус, правда, с сухой текстурой, но это ерунда.

После первой оттепели повсюду на холмах стали греметь динамитные взрывы. Я то и дело

слышал их из хижины. «Эксон»[23] проводит сейсмическую разведку нефти. Пара вертолетов кружит над холмами, опускают динамит на тросах и взрывают на земле. Измеряют приборами вибрацию. Поздней весной я разбил лагерь, надеясь подстрелить вертолет к востоку от горы Кратер. Это оказалось труднее, чем я думал, потому что вертолет всегда в движении. Только раз у меня появился слабый шанс. Два быстрых выстрела, когда вертолет пересекал пространство между деревьями. Оба раза мимо. Вернувшись к палатке, я заплакал, отчасти с досады на свою неудачу. Но в основном из-за скорби от того, что творилось с этим краем. Он так прекрасен. Но если они найдут нефть, все пропало.

11

— О'кей, смывай!

Сэмми Фернандес учила меня, как передавать вещи через парашу. Нужно протянуть шнур по стояку, чтобы переправлять вещи вверх и вниз.

---

[23] Примечания: 23

Exxon Mobil Corporation (*англ.*) — американская нефтяная компания, одна из крупнейших в мире.

Буррито. Печенья с кремом. Сигареты. Пруно[24] в бутылках от шампуня.

Нас с Сэмми посадили вместе в карцер на девяносто дней в наказание за отказ подчиниться приказам полицейских. Камера была 6´11 футов, с парашей и двумя бетонными лежаками с синтетическими матрасами. Мы болтали и по очереди подходили к окошку-кормушке, оглядывая коридор, известный как Главная улица, в котором, если повезет, можно увидеть, как кого-нибудь из одиночки ведут в наручниках в душевую два копа, согласно уставу. Мы находились в заключении круглые сутки, не считая двух раз в неделю, когда нас по одной выводили в душевую, и одного раза, когда нас выпускали на час подышать воздухом в загон с решеткой сверху.

Прямо под нами, в том же здании, были камеры смертниц. Копы называют их «категория А». Они произносят это полсотни раз за день, так что тюремное начальство, видимо, решило, что по моральным соображениям лучше говорить «категория А», чем «камеры смертниц».

На связи с нами через парашу, этажом ниже, была старая подруга Сэмми, Бетти Ля-Франс.

---

[24] Примечания: 24

Пруно, или тюремное вино, — это алкогольный напиток, который готовят из фруктов, уксуса, хлеба, сахара и других ингредиентов.

Бетти Ля-Франс, как и другие смертницы, имела доступ к столовой и контрабанде. А у нас был доступ к Бетти через парашу и вентиляцию, и слава богу, она дружила с нами, потому что Бетти не стала бы разговаривать с кем угодно, а уж тем более передавать буррито или тюремное бухло. Они с Сэмми сидели вместе в окружном СИЗО много лет назад, когда разбиралось дело Бетти.

— Это моя чиканочка? Сэмми? — прокричала она нам по вентиляции в первый вечер.

У Бетти были свои черные деточки и чиканочки, и Сэмми была ее любимицей. Бетти была моделью для рекламы колготок «Ее путь».

— Ее ноги застрахованы на миллионы. У нее стопы с таким изгибом внизу, как у куклы Барби, только настоящие.

Сэмми сказала, что у Бетти в камере были туфли на шпильках. Она заплатила копу несколько сотен, чтобы получить их, и теперь надевает их время от времени и восхищается собственными ногами.

Сотни. Миллионы. Невозможно верить всему, что говорят. Но это все, что у тебя есть.

Так или иначе, пруно Бетти, как и всякое пруно, по виду и запаху напоминало рвоту. Помойный запах пруно такой сильный, что, когда его гото-

вят, люди распыляют в камере детскую присыпку, чтобы перекрыть его.

— Это лучший самогон в Стэнвилле, милая, но его нужно хорошенько декантировать, — прокричала нам Бетти по вентиляции. — Не забудь декантировать. Он должен подышать.

Она готовила его обычным способом: наливала сок из пакетов в пластиковый мешок, добавляла кетчуп вместо сахара и туда же клала носок с хлебным мякишем вместо дрожжей — и все это бродило несколько дней.

Вслед за пруно Бетти передала нам винный бокал из пластика с отвинчивающейся ножкой.

— Где она взяла бокал?

— Известно где, — сказала Сэмми. — В шахне или дупле.

Женщины проносят героин, табак и сотовые телефоны во влагалище или анусе. Бетти проносила пластиковые бокалы.

Мы с Сэмми передавали друг другу пруно, и она рассказывала мне, как Бетти устроила убийство своего мужа, чтобы получить его страховку. В тюрьме не говорят, кто за что сидит. Но Бетти была исключением. Смертницы — особая категория. Они словно знаменитости в Стэнвилле, и все о них судачат.

Она подговорила своего любовника убить ее мужа, но потом, пока она ждала денег, Бетти стала волноваться, что этот тип сдаст ее, так что она подговорила продажного копа, с которым познакомилась в баре в Сими-вэлли, убить ее любовника. Она уже собиралась разделаться со вторым убийцей — с продажным копом, убившим первого убийцу, — и тут ее сцапали. Она боялась, что он донесет на нее или будет угрожать ей и шантажировать. Они были в Лас-Вегасе, проматывая деньги за страховку мужа. И она спросила охранников в казино «Эль Кортез», готовы ли они убить за деньги этого копа.

— Милая, это был НЕ «Эль Кортез», — прокричала Бетти из вентиляции. — Это был «Дворец Цезаря». И честно, если ты решила рассказать мою историю, не понимая разницы между «Цезарем» и «Эль Кортезом», значит, ты просто очень многого не знаешь. «Эль Кортез» для водителей лимузинов и филиппинцев. Ничего против них не имею. Нужно было нанять одного из них, чтобы избавиться от Дока, пока была возможность. — Она имела в виду продажного копа, как пояснила Сэмми. — Он раз пять пытался прибрать мое добро. Надо думать, хоть в камере смертниц женщине дадут пожить спокойно.

Побыть одной.

В числе свидетельств, приведших к аресту Бетти, была фотография, на которой она лежит голая под кучей денег. Ее сфотографировал Док, продажный коп, сразу после того, как она получила страховку за убитого мужа. Бетти любила деньги, сказала мне Сэмми, и спала в окружном СИЗО на подушке, набитой банкнотами. Она просила Сэмми охранять ее подушку, когда ее вызывали в суд. Сэмми сказала, что чувствовала себя королевой при мысли о том, что такая изысканная личность, как Бетти Ля-Франс, доверяла ей свою подушку, набитую деньгами.

Бетти и Дока арестовали в Лас-Вегасе. Сэмми знала эти истории, но всякая новая публика для Бетти заслуживала повторения. Она рассказала нам по вентиляции о СИЗО в Неваде, где ее держали до того, как экстрадировать обратно в Калифорнию. Она сказала, что девочки там — тамошние девочки — все работают. Каждая заключенная окружного СИЗО Лас-Вегаса должна пересчитывать игральные карты и складывать в колоды в определенном порядке для казино. Ее тоже заставляли заниматься этим, сказала она, и ее пальцы ужасно растрескались.

К тому времени мы уже захмелели от нашего

пойла.

— А она вообще показывала тебе это фото, где она с деньгами? — Я захотела увидеть его.

Не показывала, но, по словам Сэмми, у Бетти имелась здесь целая папка с материалами про себя — все статьи, появлявшиеся в газетах, протокол судебного заседания и тому подобное. Сэмми сказала, что ее процесс наделал много шума, прогремел по всем новостям. Бетти нанимала одного убийцу за другим, тот коп оказался вовлечен в массу разных афер, был большой скандал в ДПЛА[25]. Сэмми прокричала Бетти просьбу увидеть фотографию. Все, чего мне хотелось в моем осоловелом состоянии, всколыхнувшем все мои надежды и желания, это увидеть фотографию женщины, заваленной деньгами, чей голос я слышала из вентиляции. На самом деле я была бы рада увидеть что угодно, кроме бетонных стен крошечной камеры.

Бетти отказалась переправить фото по параше. Она боялась, что оно испортится. Можно завернуть вещи в пластиковые пакеты достаточно плотно, так что вода не протечет. Мы переправляли по параше мороженое и сандвичи из столовой,

---

[25] Примечания: 25
Департамент полиции Лос-Анджелеса.

завернув их в прокладки и целлофан для изоляции. Но Сэмми всерьез настроилась. Она спросила Маккинли, сержанта, работавшего в карцере той ночью, не передаст ли он ей книжку от Бетти. Все называли его большим папой.

— Я должна дочитать ее, большой папа, — сказала Сэмми. — Я прочитала все главы, кроме последней, когда была тут в прошлый раз.

Если бы он согласился, Бетти могла бы засунуть фото между страниц.

— Я не могу ничего передавать, Фернандес. Поймают тебя с чужой собственностью, накинут еще срок. Ты это знаешь. Я не хочу, чтобы мои девочки тут страдали. Просто следуй правилам, Фернандес, и тебя скоро вернут в общую камеру.

— Большой папа, — сказала Сэмми, — хотела бы я быть твоей дочерью. Вся моя жизнь могла бы пойти по-другому.

— Вот что, Фернандес, — сказал сержант Маккинли. — Я уверен, что твой отец сделал все, на что был способен.

Мы услышали, как он уходит в башмаках по коридору.

— Я никогда не знала моего отца! — прокричала ему Сэмми через окошко-кормушку. — И моя мать тоже! Она даже не уверена, кто это был!

Бетти услышала, как мы смеемся, и это решило дело. Она поняла, что перестала быть центром нашего внимания, и согласилась передать фото по параше.

После того как мы развернули тридцать слоев целлофана, Сэмми достала газету, в которой была статья с той самой фотографией. Я представляла классическое ню с бикини из сотенных бумажек и с длинными ногами, застрахованными на миллионы.

Но там была просто лавина денег, из-под которой торчала женская голова, как у жертвы несчастного случая. Она выглядела так, словно к кровати подкатил самосвал и сгрузил на нее весь кузов, замуровав ее в деньгах.

Мы смотрели на это, не говоря ни слова. Потом Сэмми сложила газету, завернула ее обратно и отослала назад по параше.

Наша прогулка по двору, положенная раз в неделю, проходила не в настоящем тюремном дворе, а во дворе карцера. Это был тесный бетонный загон, обтянутый колючей проволокой. Но там мы могли видеться с Конаном, гулявшим в соседнем загоне за колючей проволокой. Конан делал отжимания и болтал со мной о машинах. Началось с того, что Конан спросил, откуда я

родом.

— Фриско, хах, — сказал он. — Это же у вас придумали расширять оси в девяностые. Пики. Блин, да вам, ребята, можно предъявить за это.

Говорить «Фриско» так же пошло и нелепо, как и расширять оси, но Конан был прав. Однажды утром я словно проснулась и увидела, что все мои соседи по кварталу расширили свои оси, так что колеса их машин выдавались по обеим сторонам. Теперь это стало отдаленным воспоминанием, чем-то вышедшим из моды. Это было еще до того, как я переехала в Старый город, когда Сан-Франциско заполонили приезжие, и все, что мне оставалось, это перебраться в Тендерлойн. Расширенные оси были не менее важным воспоминанием, чем любое другое, дававшее тему для нашего разговора — это была часть той жизни, которой мы жили.

Мы с Конаном от души поговорили о больших дисках, плавающих дисках, спиннерах. О неоновой подсветке днища. О прокачанных карбюраторах и тюнингованных движках. О модных джипах и внедорожниках. «Шевроле интрудер». «Додж рендишн».

Мы с Конаном согласились, что «Интрудер» выглядит так, словно намеревается впереться

во что-то.

— Выходит новый «ниссан» под названием «Куб», — сказал Конан. — Его можно достать только в Японии. Но кому нужна квадратная машина? Куб. Сейчас в моде аэродинамика. «Ниссан» делает такие джипы, что катализатор можно отпилить за три минуты. Я просто не могу пройти мимо, чтобы не стырить глушитель. Мне надо подать в суд на производителя за разжигание во мне криминальных наклонностей.

Мы посмеялись насчет «умных машин». Они напоминали мне колпачки на мебельных ножках. Вертикальная чушка, которая тыкается повсюду.

— А ты на чем ездила? — спросил меня Конан.

— На «импале» шестьдесят третьего, — сказала я.

— Е-мое.

— Так-то, — сказала Сэмми. — Это моя девочка.

Но как только я это сказала, мой задор иссяк. У меня больше не было машины.

— Знаешь, что я ненавижу? — сказал Конан, пока я пыталась стряхнуть невеселые мысли и снова влиться в разговор. — Это когда люди снимают глушители с «эскалады». Ебучие «эскалады». В них что-то такое пластиковое, дешевое.

Я бы лучше взял «эльдорадо». В семидесятые настал конец хорошим американским машинам. Раньше мы делали настоящие джипы в этой стране. Теперь мы делаем *яйца* для джипов.

— Эти уродские побрякушки, которые болтаются над дорогой на скорости восемьдесят миль в час? Я не знала, что они так называются.

Я сказала, что мне кажется дурацкой идея, что мужчинам нравится красоваться искусственной мошонкой — самой уязвимой частью мужского тела — позади своих джипов. И Конан со мной согласился.

— Что тут крутого, когда эта штука болтается под бампером? — сказал Конан. — Если бы я был чуваком, я бы водил огромный трейлер с «харлеем». Или просто «харлей».

— Я слышала, — сказала я, — ты бахвалился Маккинли, что действительно *водишь* «харлей».

— О том и речь. Будь я чуваком, я был бы точно таким же. Только по другую сторону решетки.

Сэмми сказала, что у нее в пятнадцать лет была спортивная тачка «транс-ам». Подарок от ее приятеля и дилера, Смоки.

— Я знаю кое-кого по имени Смоки, — сказал Конан.

Я тоже знала Смоки. Хотя не лично. Смоки,

которого я знала, был Смоки Яник, строитель НАСКАРа. Мы с Джимми Дарлингом оба его обожали. Смоки Яник жульничал со всеми своими нововведениями для НАСКАРа, как и все другие. А еще, когда он был молодым гонщиком, он гонял, свесив один локоть из окна. Смоки Яник был пижоном. Но Смоки Яник уже мертв. Я в тюрьме. А Джимми — кто знает? С какой-нибудь бабой, это точно, и какой бы она ни была, она была на свободе. В отличие от меня.

— Ты, случаем, говоришь не о Смоки из Белл-гарденс? — спросил Конан. — А?

О нем самом, сказала Сэмми.

— Смоки был твоим *приятелем*? Я из Белл-гарденс, и Смоки, которую я знаю, это женщина.

— Я этого не знала, когда познакомилась с ним, — сказала Сэмми. — Он нарисовался в этих штанах в обтяжку — как они называются? — и с такими маленькими белыми ракушками на шее, и мы стали тусить — у него был пузырек «ангельской пыли», — и следующее, что я помню, это что я в мотеле в Уиттьере и прошло два дня.

— Ракушки пука, — сказал сержант Маккинли по громкой связи.

Он был в наблюдательной комнате, за зеркальным стеклом, и слушал наш разговор через

микрофоны направленного действия.

— Я просыпаюсь и совершенно не помню, как я туда попала. На мне повсюду засосы, и рядом со мной спит этот тип, Смоки. Мы оба, как это сказать, были без одежды. Я заглянула под простыни, и у него там внизу было как у меня. Я была в шоке. После этого мы были вместе два года.

Смоки могла завести любую тачку.

— Она угоняла машину, в которой мы зависали, потом мы стирали отпечатки пальцев и бросали ее.

Как-то раз они повздорили, после чего Сэмми попыталась купить героин в закусочной в Комптоне. Смоки прикатила туда, ревя мотором, в жутком цементовозе с крутящейся бетономешалкой. Сэмми прокричала сквозь тарахтение, чтобы Смоки вырубил ее.

— Я не могла покупать дурь, когда рядом тарахтела бетономешалка, так что я стала уходить, чтобы отвязаться от Смоки с этой тарахтелкой, а она ехала за мной на той же скорости. Никакой дилер не стал бы продавать мне ничего, с таким фоном. Я ору «выруби ее», как она называется, эту крутилку, а она мне: «Я не знаю, как». Все, что она могла, это включить передачу и тронуться с места. Мы орали друг на друга, и наконец я залез-

ла в кабину, чтобы разобраться без свидетелей. Мы катаемся по округе в этой бетономешалке и понемногу успокаиваемся. Я уже не бешусь. Водитель оставил на сиденье коробку с ланчем. Я открыла ее, собираясь выпить его сок и съесть сэндвич, какой там мог быть, а внутри коробки был бумажник этого чувака. Мы со Смоки снова стали драться. Она почему-то решила, что раз она угнала бетономешалку, то и бумажник ее. Нет уж. Извини. Я взяла наличность и вылезла. В наших отношениях было немало таких драматичных моментов. Мы по-разному смотрели на разные вещи.

Когда в тюрьме объявляли особый режим (наибастывали по-нашему), нас не выпускали на прогулку. Иногда из-за тумана. Или из-за нехватки персонала. В мою третью неделю это случилось из-за того, что заключенная общей категории вышла за границу миндального сада. Только тем, кому осталось до выхода шестьдесят дней, разрешают работать в саду, находящемся за стенами тюрьмы. Девушка, совершившая такое, запорола все. Бетти узнала об этом по телевизору и прокричала новость по вентиляции. Эту девушку взяли в доме ее матери. Она направилась прямиком домой. Сэмми сказала, что никому еще

не удавался успешный побег из Стэнвилла.

— Одной пожизненной по имени Энджел Мари Яники это почти удалось. Она была близка к цели. То есть вот на столько.

Она припрятала одежду во дворе, комбинезон механика и бейсбольную кепку, чтобы прикинуться одним из рабочих. Кто-то достал ей пару кусачек. В день, когда тюрьму окутал туман из долины, плотный, как молоко, она работала в незаметном со смотровой вышки месте, сбоку главного двора. Она прорезала дыру в заборе, выбралась наружу и пошла вдоль дороги. Но ее заметил надзиратель, выходивший из тюрьмы, и что-то заподозрил. Дороги вокруг тюрьмы не предназначены для пешеходов. По ним может ездить только сельхоз-техника и тюремный транспорт. Ее поймали через несколько минут. Теперь в Стэнвилле забор под электричеством. Электрифицирован, как сказала Сэмми.

— Только тронешь — и поджаришься.

— А если спрятаться внутри грузовика? — спросила я. — Как думаешь, они их проверяют?

— Они шмонают каждую машину.

— Тогда подо дном. Привязаться к днищу.

— У них зеркала на колесиках. Они заглядывают под все машины. Ты сможешь выбраться,

только если у тебя любовник с вертолетом, который сможет перестрелять охрану на вышках и приземлиться во дворе. Или, может быть, если прикинешься, что ты серьезно больна, и тебя отвезут в больницу в Стэнвилле, и там тебя будет ждать целая команда, готовая отбить тебя гранатами и штурмовым оружием, *и* с вертолетом, и чтобы у них был для тебя новый паспорт, наличность, все, что нужно, наготове.

На пятой неделе в карцере Конан на прогулке рассказал нам, как его однажды посадили в мужскую тюрьму.

— Я был на остановке где-то в долине, и меня загребли вместе с гомиками, но я решил не разубеждать их. Никого ни в чем не разубеждай, потому что чьи-то заблуждения могут стать твоим везением. Ты ждешь, смотришь, как оно пойдет, смотришь, не будет ли тебе гешефта с их заеба. Они продержали меня там полночи, а потом повезли в Старый город. В СИЗО был аншлаг, так что, если ты не чикса, тебя оформляли практически не глядя. У меня была зажигалка, и они даже не заметили. Просто сверкнули мне в дырку и сказали: следующий. На допросе меня спрашивают: ты гей? Я говорю: да — всегда говори правду, когда можешь. Они спрашивают, в какие

клубы я хожу, что там наверху, и я говорю наугад, и это прокатывает. Дальше коп говорит: как звать вышибалу? Я говорю: Рик. Он спрашивает: ты уверен? Ага, говорю, но засыпалась, и коп говорит: пошел на хуй отсюда. В голубые общаги берут только реальных педрил. Не будет тебе зумбы, приятель. Копы несколько раз повторили мне это. Не будет тебе зумбы. Типа, если бы меня приняли в главный обезьянник Лос-Анджелеса, я бы смог записаться на курсы зумбы. А я даже не знаю, что за зумба такая[26]. Мне выдали стандартные темно-синие шмотки вместо небесно-голубых и посадили в обычную камеру. Все было путем. Сокамерник мне попался кайфовый, по имени Честер. Я помог ему отодрать кусок решетки от вентиляции в душевой, потому что был там выше всех, и он за это прикрывал меня. Мужской СИЗО во многом лучше. Лучше кормят. Хорошие тренажеры в качалке. Отличная библиотека. Больше телефонов, давление воды сильнее…

— Ты принимал душ, и никто не заметил, что ты не мужчина? — спросила я.

— В мужской тюряге все были на стреме, — сказал Конан. — На случай драк и бунтов. Все

---

[26] Примечания: 26
Спортивный танец, вроде аэробики.

принимали душ в трусах и ботинках. В одно время со мной там сидел Шуг Найт. Надзиратели говорили, у него было восемьдесят тысяч долларов на тюремных книжках. Мог купить уйму мисок с лапшой. И дезодорантов.

— А зачем Честеру понадобилась решетка от душа? — спросила я.

— Чтобы сделать заточку, — сказал Конан. — Там придумали новую модель — выдвижное перо с рукояткой из скрученных Библий.

— И что он хотел с ним делать? — спросила я.

— Я не знаю. Не твое дело задаваться такими вопросами. Блин, ты бы и минуты не продержалась в мужской тюряге с такими мудацкими вопросами.

Из Центральной мужской тюрьмы Конана перевели в тюрьму Васко. И там уже, во время переодевания между рабочими сменами, выяснилось, что биологически он был женщиной. Его посадили назад в автобус, переправили в женскую тюрьму и перевели в Стэнвилл.

Однажды утром Маккинли проорал из-за двери, что после полудня меня ждет подготовительный урок на аттестат о среднем образовании.

— Когда сюда придут служащие после ланча, я не хочу никакого шаляй-валяй, Холл.

Я не записывалась на аттестат о среднем образовании, которое только и дают в Стэнвилле. Я окончила среднюю школу. У меня была неплохая успеваемость, когда я старалась. Но я подумала о том, что сказал Конан: «Никого ни в чем не разубеждай. Чьи-то заблуждения могут стать твоим везением».

В тот день меня вывели из камеры. Я чувствовала себя словно на воле, когда меня вели в цепях по коридору после нескольких недель заключения. Меня привели в клетку в администрации карцера и оставили ждать, под стрекот и клацанье швейных машинок из цеха смертниц.

— Ты весьма неплохо учишься, Холл, — сказал Маккинли. — Ты всем утираешь нос. Покажи миру, что ты не так уж плоха.

И затопал по коридору в своих большущих ботинках.

Если бы я знала, как надзиратели ненавидят гражданских служащих, я могла бы быть приветливей с Г. Хаузером, как значилось на удостоверении инструктора по среднему образованию, висевшем у него на рубашке. Этот тип сел на стул перед моей клеткой со стопкой бумаг. Он был примерно моих лет или чуть старше, со скучными усами и уродскими кроссовками.

— Начнем с чего-нибудь простого.

Он прочитал первый вопрос по математике.

— Четыре плюс три равняется: (а) восьми, (б) семи, (в) ничему из вышеназванных.

— Вы чего, бля, смеетесь надо мной?

— Это (а) восемь, (б) семь или (с) ничего из вышеназванного? Иногда помогает считать на пальцах, если так не получается.

— Это семь, — сказала я. — Я думаю, мы можем перейти к чему-то более внушительному.

Он перелистал несколько страниц.

— Ну, хорошо. Как насчет текстовой задачи? Если у нас идут в кино пятеро детей, две матери и одна кузина, сколько билетов им понадобится? (А) семь, (б) восемь, (в) ничего из вышеназванного.

— А на какой фильм они идут?

— В математике замечательно как раз то, что это не важно. Можно считать, не зная таких подробностей.

— Мне трудно представить этих людей, не зная, кто они и на какой фильм идут.

Он кивнул, как бы признавая, что мои слова разумны и не вызывают сложностей.

— Возможно, мы забежали немного вперед, — сказал он. — Как насчет сформулировать это в

форме вопроса? Или даже мы возьмем вопрос и упростим его.

У этого парня было терпение настоящего идиота.

— У нас трое взрослых и пятеро детей: сколько билетов им нужно?

Он произнес это без всякого сарказма. Г. Хаузер был так сосредоточен на работе со мной, точнее, с той, за кого он меня принимал, что у меня не получалось подыграть ему.

— Если детей пускают в кино бесплатно, откуда мне знать, сколько билетов им нужно? И потом, смотря какие это люди, какой это кинотеатр — они из гетто или образцовые граждане вроде вас? Потому что они могли купить два билета, а потом впустить одну из взрослых, например эту кузину, через аварийный выход.

Я представила запачканный плюшевый ковер многозального кинотеатра рядом с Оклендским аэропортом, такой, в котором кузину провели бы без билета через аварийный выход.

Вероятно, его уже там нет, как и всех других кинотеатров, которые я знала. Например, «Стрэнда» на Маркет-стрит, где мы с Евой еще девчонками пили дешевое вино с ребятами постарше. Или «Сьерра» в Дали-Сити, где показывали «Рокки

Хоррора». И «Серф», перед пляжем, куда я пошла с мамой, когда была маленькой, на фильм с актрисой, в честь которой меня назвали. В этом фильме все время показывали одну и ту же автомобильную аварию в замедленной съемке. Наверно, я задавала слишком много вопросов, потому что в итоге мама схватила меня и сказала, что мы уходим. Я испортила ей фильм.

— Они законопослушные граждане, — сказал Г. Хаузер. — Как я.

— И всем детям нужны билеты?

Он кивнул.

— Ответ «восемь».

— Отлично, — сказал он.

— Вы сейчас поздравили двадцатидевятилетнюю женщину с тем, что она сложила три и пять.

— Нужно же с чего-то начинать.

— А с чего вы решили, что я не умею считать?

— Здесь есть женщины без навыков счета. Которые с трудом складывают. Я могу дать вам практический тест на аттестацию о среднем образовании, и если вы уверены, что пройдете его, я запишу вас на определенное время.

— Мне не нужен этот аттестат, — сказала я. — Я здесь потому, что мне сказали прийти сюда.

— Вы можете считать, что вам не нужен аттестат, но в будущем, когда вы выйдете на свободу, вы будете рады, что он у вас есть.

— Я не выйду на свободу, — сказала я.

Он завел благопристойную шарманку о людях, не знающих точного срока своего заключения, и о бесчисленных программах для заключенных с большим сроком, для которых будет желательно иметь аттестат. Я не стала говорить ему, что окончила среднюю школу. Я сказала, что подумаю об этом, и меня отвели назад в камеру.

Джимми Дарлинг занимался математикой с Джексоном забавы ради. Это началось с урока об истории счета, за закусочным столиком на ранчо в Валенсии. Джимми нарисовал круг на бумажке.

— Это загон, в котором человек держит своих животных, — сказал Джимми.

Он нарисовал три круга, обозначавших животных.

— Каких животных? — спросил Джексон.

Пожалуй, это у нас было общее — желание знать ненужную информацию.

— Предположим, овечка, — сказал Джимми. — У фермера три овечки, и у каждой есть имя: Салли, Тим и Джо. Каждое утро фермер выпус-

кает овечек попастись. Вечером он загоняет их обратно в загон. Поскольку их всего три, он легко может свериться с коротким списком их имен и убедиться, что Салли, Тим и Джо все на месте в своем домике на ночь, где их не съедят волки. Но представим, что у фермера десять овечек, а не три. Если он даст имена каждой из них, ему придется вспоминать десять имен, когда они возвращаются. Ему нужно будет узнавать десять овечек. Каждой овечке положено отдельное имя. Если овечка Салли беременна, тогда он сможет узнать ее широкий живот и отметить ее имя, когда она вернется с пастбища. Но что, если у фермера тридцать овечек. Слишком много имен, да? Поэтому он берет ведро и кладет туда камни — ровно столько, сколько у него овечек. Он вынимает из ведра по камню за каждое животное, выходящее из загона утром. А когда каждое из них возвращается вечером, он кладет камень в ведро. Когда все камни снова сложены в ведро, он знает, что все его овечки благополучно вернулись домой. Больше овечкам не нужны имена. Фермеру нужно просто знать, сколько у него овечек.

Он объяснял Джексону, что цифры возникли, когда понадобилось что-то сосчитать, а счет начался с имен. Как в тюрьме — от имени к номеру.

Только мой номер больше походил на имя, чем на камень, обозначавший животное, потому что камень мог обозначать любое животное, а мой номер обозначал только меня. Нас пересчитывали каждый день. Счет велся по общему числу людей в тюрьме, а не по номерам заключенных. Так что мы были и тем, и другим: животными, которые не паслись, и отдельными людьми, которых нельзя было спутать.

Когда нас выводили во двор раз в неделю, нам были видны сквозь решетку камеры смертниц на нижнем этаже. Сэмми шла кошачьей походкой и выкрикивала.

— Кэнди Пенья, я люблю тебя! Бетти Ля-Франс, я люблю тебя!

Кэнди подняла на нас глаза. Ее лицо сложилось в грустную улыбку. Они сидели там за швейными машинками, строча швы на мешковине, а потом поворачивали ткань под прямым углом и строчили другой шов, потом опять поворачивали и строчили третий и, наконец, бросали мешковину в стопку. Я не видела Бетти, которая часто отказывалась работать и лишилась своих привилегий.

Смертницы шили мешки для песка. Ничего другого. У них было шесть машинок, и они шили мешки для песка для защиты от паводков. Если

увидите гору мешков с песком вдоль шоссе «Калифорния», знайте, что их касались руки наших знаменитостей.

Им платят пять центов в час, минус 55 % возмещения, за эту однообразную работу, не приносящую удовлетворения, поскольку они сдают мешки недоделанными. Их еще нужно наполнить песком.

Кто их наполняет? Вероятно, мужчины. Наполняют песком и зашивают верхний край.

В другие разы, когда мы проходили над смертницами, они сидели на телефонах или ждали своей очереди. Они общались с журналистами и адвокатами, как объяснила мне Сэмми. Смертницы активно сотрудничали со СМИ и всегда держали связь с ребятами по ту сторону решетки. Они знали самых разных людей благодаря своему положению. Они манипулировали людьми, намекая, что могли бы дать согласие на интервью или посещения, хотя они не собирались делать этого. Им не было интереса давать интервью. Им было интересно, чтобы им звонили, чтобы людям было что-то нужно от них; им нравилось чувствовать свою значимость. Они вели эту игру за внимание к себе. Но это было больше чем игра, потому что ничего другого у них не было.

Нам не разрешалось писать письма или звонить из карцера. И все равно я чувствовала, что мне повезло по сравнению с теми женщинами внизу, которые были на связи с «Пчелой Фресно»[27]. Моя мама приедет навестить меня с Джексоном, как только мне разрешат свидания, когда я отсижу в карцере и меня переведут — отконвоируют — в общую камеру. Она положит деньги на мои книжки, чтобы я могла купить нужные вещи: кофе, и зубную пасту, и марки, чтобы выжить. Сэмми постоянно говорила мне, как это важно, чтобы кто-то был у тебя на свободе, но я не говорила ей, что у меня есть близкие люди. Как и то, что мне дали два пожизненных срока плюс шесть лет. Это никого не касается, кроме меня. Как в раздевалке в «Комнате на Марсе», где ты не называешь своего настоящего имени. Ты не сообщаешь личные сведения. Не рассказываешь о себе, потому что тебе не будет от этого пользы.

Сэмми попала в карцер тем вечером, когда Кэнди Пенья получила свои документы на казнь. Кэнди должна была выбрать способ казни и поставить подпись. Сэмми слушала, как Кэнди Пенья плакала, читая бумагу, предлагавшую на

---

[27] Примечания: 27
Ежедневная газета, выходящая в городе Фресно, штат Калифорния.

выбор газ или инъекцию.

— Мы у себя выключили свет в знак протеста, — сказала Сэмми, — и каждая в карцере отказалась от ужина. Это вызывает массу бумажной работы у служащих. Им приходится заполнять формы на каждую заключенную, которая отказывается от еды и выключает у себя аварийный свет. Кэнди все плакала и плакала. И все в карцере, и другие смертницы тоже плакали. Даже надзирательницы плакали. Была одна зэчка в кандалах, которая не отказалась от ужина, но я думаю, она просто не понимала происходящего. Кэнди выбрала смертельную инъекцию.

Кэнди Пенья зарезала маленькую девочку. Она не сознавала, что творит, из-за метамфетамина и «ангельской пыли». Она молилась дни напролет, каждый час, минуту за минутой, перед алтарем, который сделала у себя в камере, чтобы почтить память девочки. Она подписывала бумаги и плакала, а Сэмми была человеком, пусть иногда и наезжала на кого-то, и она сочувствовала Кэнди. Даже если тебя посадили в карцер, это не значит, что ты лишен человеческих чувств. Ты слышишь, как плачет женщина, и это по-настоящему. Это не в зале суда, где задают все нужные и ненужные вопросы, придирчиво требуют подробностей,

чтобы разрешить противоречия и установить степень умышленности. Где женщину осаждают настоящие вопросы, так это в тишине тюремной камеры. Единственный подлинный вопрос, на который невозможно дать ответ. Большое *как же так*. Как ты могла? Не в практическом плане, а в моральном. Как ты могла натворить такое? Как ты могла?

Преступление Сэмми было в том, что она мочилась в постель. Она мне все об этом рассказала. Знаю, я говорила, что в тюрьме не делятся своими личными историями, но Сэмми все мне рассказала.

— Когда мне было четыре, мы жили в трейлере, и у нас не было электричества, потому что моя мать была наркоманкой и тратила любые деньги на дурь. По ночам я мочилась в постель, чтобы согреться. У меня на ногах выскочила сыпь. Соседка увидела мои ноги и сообщила в ОДО.

Органы детской опеки забрали Сэмми. Она сменила несколько интернатов и в итоге оказалась в органах по делам молодежи, где научилась драться. «Ты усваиваешь там много такого, что пригодится в тюрьме». К двенадцати годам она покинула ОДМ, вернулась к маме и стала разводить на деньги мужчин, помогая маме заработать

на наркотики.

Мужчинам нравилась компания девочки-подростка. Ее первым папиком стал залоговый поручитель по имени Мальдонадо. В конце концов она попалась на наркотиках, ее арестовали и дали телефон службы поддержки наркозависимых — не-не-номер, как она называла его, — и с тех пор она то и дело попадала в тюрьму по обвинениям в продаже и хранении наркотиков. Ее мать давно умерла. Многие из тех, с кем она познакомилась в ОДМ, сидели теперь в Стэнвилле. Сеть ее знакомств была внушительной. Вся ее жизнь прошла по тюрьмам.

За полгода до того Сэмми подала ходатайство об УДО. На воле она долго не задерживалась. Она стремилась выйти из тюрьмы, чтобы забрать назад свои вещи. У нее был телевизор, фен, кипятильник. И маска для сна, оставленная у подруги по имени Рибок.

— На ней такие маленькие хрюшки, — сказала она, — и я хочу вернуть ее.

Она раздавала свои вещи, но при условии, что, если она вернется, она сможет забрать их. Она понимала, чем были ее отлучки из тюрьмы — не переездами, а каникулами.

Но на этот раз она не собиралась назад слиш-

ком скоро. Сэмми собиралась выйти замуж за парня, с которым познакомилась по переписке. Все началось с его письма, только он его написал не Сэмми. Он написал другой заключенной Стэнвилла, а та использовала его письмо как товар, который можно продать одной из женщин, хотевших завести себе друга по переписке. Всем обычно этого хотелось. Кто-нибудь несомненно заплатит, чтобы начать переписку с этим парнем. Это письмо прочитало столько женщин, что, когда оно попало к Сэмми, его страницы протерлись по складкам. Письмо и тот, кто его написал, Берндт Кто-то-там — я так и не разобрала фамилии — имел потенциал, так что женщина, владевшая его письмом, постоянно поднимала цену. Когда письмо дошло до Сэмми, ставка перевалила за пятьдесят долларов. Лот представлял собой конверт с обратным адресом Берндта. Сэмми сказала мне, что, как только она начала читать письмо, она поняла, что оно стоит больше пятидесяти долларов, намного больше.

— Он пишет как третьеклассник, — сказала она со знанием дела, как бы намекая, что это означает огромную ценность. — Он даже свое имя не может написать нормально: Б-е-р-н-д-т. Кто, блядь, так пишет?

Бедняга Берндт со своим непроизносимым именем оказался идеальной жертвой.

Женщина, продававшая его письмо, воспользовалась для переписки фотографией школьной королевы красоты. Заключенные лепят на бланки для переписки фотографии, которые находят где-нибудь или покупают — чьих-нибудь дочерей, сестер, да кого угодно. Только не себя. Было очень важно иметь спонсоров — людей, переводящих тебе в тюрьму деньги. Одним из способов было найти таких мужчин по переписке. Берндт думал, что пишет этой школьной королеве красоты, но он сильно заблуждался. Это была пожилая женщина с раком горла и искусственной гортанью. Во время ценовых переговоров с Сэмми она держала у себя под горлом коробочку на батарейках и согласилась взять в виде оплаты CD-плейер. Так Сэмми получила конверт с адресом Берндта.

Сэмми написала Берндту ответное письмо с уверением в том, что сразу почувствовала особую связь между ними. Завязалась романтическая переписка. Срок заключения Сэмми заканчивался через несколько месяцев, и ей требовался не просто спонсор, а человек, готовый взять ее к себе домой. С жильем, финансовой стабильностью и подтверждением доходной деятельности, иначе

комиссия по УДО ни за что не выпустит ее. У Сэмми имелся старый приятель по имени Родни, который мог бы взять ее к себе в Комптон, но Родни бил ее, как она сказала мне, и она решила, что с нее хватит. И тут на горизонте возник Берндт.

Берндт сказал, что служил в воздушных войсках и летал на самолетах и что у него хорошая военная пенсия. Придя в тюрьму первый раз, он сделал предложение Сэмми. Он был крупным, неуклюжим и одутловатым белым мальчиком с бегающим взглядом. Сэмми ответила согласием, но не смогла заставить себя поцеловаться с ним в комнате для посещений. Как и все из нас, она занималась сексом за деньги, но она не могла позволить этому великовозрастному младенцу чмокнуть себя в щеку. Она сказала ему, что ей запретили поцелуи и объятия. Берндт ей поверил.

— Ох, божечки, не хочу, чтобы у тебя были неприятности, — сказал он. — Мы ведь можем просто пожать руки?

Ее выпустили на волю. Они поженились в окружном суде неподалеку от Стэнвилла, в Ханфорде, пыльном фермерском городке, в котором отец Берндта продавал тракторное оборудование. Его семья подобрала им жилье, где все было синим, потому что Сэмми сказала, что это ее

любимый цвет. Синие занавески, синий диван, синяя посуда для микроволновки. На самом деле у Сэмми не было любимого цвета. Она просто говорила Берндту то, что, как ей казалось, он хотел услышать. Синий цвет она назвала потому, что в тот первый день, в комнате для посещений, на ней была синяя одежда, как и на всякой другой заключенной.

Вот так мексиканская девочка из бедняцкого квартала в восточном Лос-Анджелесе стала жить в маленьком городке в Калифорнийской долине с белым мужем-недотепой, который, как выяснилось, никогда не управлял самолетом и не служил в воздушных войсках, а вместо этого просиживал день за днем в кресле и смотрел автогонки по телику. Он говорил, что собирается на гонки в Дейтону, он постоянно говорил о Дейтоне. Раз в месяц он заполнял свои бланки дополнительного социального дохода, причем левой рукой, чтобы правительство думало, что он недоразвитый даже больше, чем на самом деле. Его большое тупоумное семейство ничего не знало о Сэмми и не интересовалось, где Берндт с ней познакомился. Он взял ее на пикник за шоссе I-5. Там было сборище людей в костюмах героев Гражданской войны. Женщины в старомодных платьях гото-

вили бисквиты в бревенчатых хижинах. Берндт захотел, чтобы Сэмми присоединилась к ним. Она в жизни ничего не готовила, кроме тюремных бутеров. Она могла сварганить тюремный пудинг из «Спрайта» и сухих сливок или тамале[28] из столовских чипсов, размоченных в воде и размятых руками. Она переминалась с ноги на ногу, жалея, что не надела чего-нибудь с длинными рукавами, чтобы скрыть свои тюремные наколки. Одна из белых женщин, раскатывавших тесто, похвалила ее «загар». Мужчины тем временем палили из пушек. А один из них дул в охотничий рог. Берндт изображал капитана воображаемой армии и выиграл настоящую саблю. Однако ему пришлось избавиться от этого трофея, поскольку Сэмми за время долгого обратного пути успела объяснить ему, что у нее была четвертая категория УДО, а это значило: никакого огнестрельного оружия и никаких ножей длиннее десяти дюймов, иначе ее сразу же вернут в тюрьму. «Вот же черт». Берндт надул губы и выпустил воздух, как ребенок. Как Берндт Как-его-там, живущий во сне. Он заполучил себе смуглую Сирену из Стэнвилла и вывез ее на пикник, где белые люди восхищались ее

[28] Примечания: 28
Мексиканское блюдо наподобие шаурмы.

загаром.

Но после этого Берндт больше никуда ее не возил. Сам он выбирался из дома раз в неделю, по вечерам в воскресенье, когда работал охранником-волонтером в Красном Кресте. Он считал это делом большой важности. И всегда брал с собой дипломат, в котором, по его словам, лежали важные документы, нужные ему для следующих гонок в Дейтоне. Это был не настоящий дипломат, а пустая коробка из-под нард. Один раз Сэмми открыла ее. Внутри были конфеты.

У Сэмми не было ни денег, ни машины, и она чувствовала себя в ловушке с этим мудацким полудурком в квартире рядом с пастбищем. Берндт проводил дни, сидя в кресле перед теликом и покачиваясь из стороны в сторону, как будто участвовал в гонке. На нем была блестящая гоночная рубаха с надписью «Моторные масла Дейтона» через плечо. Сэмми стала просить у него денег. Он с недовольным видом давал ей по нескольку долларов. Она шла в дешевый магазин, покупала кварту крепкого пива и выпивала его, общаясь с работниками фермы, жившими в хибарах позади стоянки. Однажды вечером она пришла домой пьяной. Берндт раскачивался в своем кресле, глядя по телику, как гоночные ма-

шины нарезали круги на трассе. Сэмми больше не могла выносить этого. Она взяла тяжелую стеклянную пепельницу и шарахнула его по голове, а потом выбежала на улицу.

Она была беглянкой без всякого убежища. На железнодорожном переезде она услышала гудок поезда в отдалении. Спрятавшись за разветвительной коробкой, она обождала, пока проедет поезд, а потом пошла по рельсам. Она вышла на скоростную магистраль и стояла на обочине в южном направлении, ловя попутку.

Сэмми знала квартал трущоб, ей не раз случалось жить там между тюремными командировками, и она направилась туда. В таком месте человек мог раствориться, если был достаточно осторожен. Ей удавалось избегать ареста несколько месяцев, но в конце концов она попалась на тотализаторе. Берндт выдвинул обвинение, но они так и не оформили развод, так что, насколько понимала Сэмми, она все еще была замужем за этим деревенским дурачком, жившим неподалеку.

На нашей еженедельной прогулке в клетке на свежем воздухе я заметила за колючей проволокой того учителя. Он шел по дорожке в жилой блок карцера. Я прокричала ему приветствие. Он

ответил мне через завитки колючей проволоки.

— Вы что-то надумали насчет аттестата на среднее образование?

Я ответила, что нет.

— Дайте знать администрации, если захотите пройти тест. Вопросы были легкими для вас, и это хороший показатель. Хотя я не проверял ваши навыки чтения.

Я сказала ему, что умею читать. И окончила среднюю школу.

Он кивнул.

— Я этого не сознавал.

— Я могла бы поступить в колледж. Я поступила в Калифорнийский университет.

Я не была особой лгуньей до того, как попала в тюрьму. Инстинкт лгать служащим и надзирателям включается сам собой. Они дурят нас, мы — их.

— Не шутите? Серьезно? Моя школа была рядом.

Я рассказала ему историю о том, как мне было грустно, что я не могу продолжать образование, потому что мой отец болел и мне приходилось ухаживать за ним.

— Мне на самом деле не хватает чтения, — сказала я. — Люблю читать книги.

Это не ложь.

— Я с радостью достану вам что-нибудь почитать, если хотите. И теперь, когда я знаю, что у вас достаточно высокий уровень, это будут не учебные пособия для школьного аттестата, обещаю. А что вы любите читать?

– *Что вы любите читать*, — сказала Сэмми, передразнивая его, когда он ушел. — Этот парень выглядит как форменная жертва. Мог бы стать твоим личным Берндтом. — Сэмми изобразила, как сматывает удочку. — Делай это медленно, делай это правильно — и вот перед тобой Берндт Второй.

Я притворилась, что решила заарканить учителя, но только потому, что сочувствовала Сэмми, которая привыкла смотреть на всех как на возможных жертв, поскольку жертва означала спасение.

Те индейки, которых я видела из тюремного автобуса, утром после *ночи в цепях*, с перьями, летевшими по ветру над дорогой, направлялись не в Стэнвилл. День благодарения отметил наш первый месяц в карцере. Нам подали праздничную еду через кормушку. Я посмотрела на свой поднос. На нем лежала большая, мясистая птичья

ножка. На редкость большая. Я еще никогда не видела такой большущей ножки.

— Каждый год у них одно и то же, — сказала Сэмми.

— В смысле?

— Гигантское мясо в День благодарения. Говорят, это эму.

Эму — это большие, страшные и злобные птицы, вроде страусов. Их держал сосед по ранчо, где жил Джимми Дарлинг. Иногда они выбирались наружу и бродили по округе. Они были как люди, агрессивными и непредсказуемыми, с мозгами размером с грецкий орех.

Выдав нам эту отвратную еду, Маккинли вывел нас в зарешеченный бетонный двор на дополнительную прогулку в честь праздника. Было довольно холодно. Бледно-серое небо напоминало цветом старую кухонную утварь. Ветер бросал пыль нам в глаза, а мы сидели на земле, ожидая, пока мимо, по ту сторону колючей проволоки, пройдет кто-нибудь из служащих или надзирателей. Такие немудреные развлечения скрашивали нам жизнь. Пробежала медсестра. Затем еще две.

— Спасайте жизнь! — прокричал Конан.

Его интонация поубавила их рвение, придала их миссии комический оттенок. Жизнь здесь

немного значила. Просто Конан захотел что-то выкрикнуть, глядя, как качаются груди бегущих сестер.

Я была голодной. Но не стала есть эму. Сэмми тоже.

— Если бы я не застряла в карцере, я могла бы продать эту хавку, — сказала Сэмми. — Черные девочки пустили бы ее на фарш вместе с кукурузными консервами. Я видела в прошлом году, как черная чика стащила большую птичью ногу из харчевни. Обварила себе снутри ляжку до волдырей.

— Почему ты такая расистка? — сказал Конан. — Черные девочки это. Черные девочки то. Просто потому, что мы правим этой тюрьмой.

— Мы могли бы править здесь, — сказала Сэмми, имея в виду латинок, — если бы многие из нас не ловили кайф все время.

— А что, хорошая идея, выменять лишнюю хавку, намешать с кукурузой и фаршем, — сказал Конан. — Может, намять туда кукурузного сыра, добавить маринованных перцев. С такими кусками мяса они не выебывались. Это было серьезно. Это вам не мортимерская порция.

Считается, что была такая заключенная в Стэнвилле, по фамилии Мортимер, которая за-

судила тюрьму. Из-за нее теперь нам выдавали не больше 1400 калорий в день, чтобы мы не могли подать на них в суд за ожирение, как это сделала Мортимер. Мортимерская порция — это очень мало. Но служащие говорят нам винить не тюрьму, а Мортимер, которая подложила нам всем свинью, подав жалобу по форме 602, приведшую к необоснованному судебному иску. Есть немало подобных правил, с которыми связаны имена каких-то заключенных. Чтобы получить лекарства, мы становимся в будку Армстронг. Будка Армстронг — это красный квадрат, нарисованный на полу вокруг стойки с таблетками. Во имя конфиденциальности. Если же вас не вызывали к окошку или вы просто проходили мимо и наступили на красный квадрат, вы получаете выговор по 115-й статье — спасибо параноичке по фамилии Армстронг.

Мы ненавидим таких зэчек, которые всем портят жизнь, но, возможно, их вообще не существует. Сэмми сказала мне, что в действительности жалобы по форме 602 попадают в измельчитель бумаг в офисе помощника судьи. Я сомневаюсь, чтобы заключенные могли внести свою лепту в историю, чтобы их фамилии присваивались новым правилам, когда даже подать жалобу за

гранью возможного.

Говорят, праздники в тюрьме — самое депрессивное время. Это правда. Проблема в том, что ты не можешь не думать о своей прежней жизни или о том, какой она могла бы быть. Праздники дают понять, какой должна быть жизнь.

Мой последний День благодарения на воле я бездарно угробила. Я отработала дневную смену в «Комнате на Марсе». Мужчины по праздникам не отдыхают от своих пристрастий. Праздники у мужчин — занятое время, потому что им нужно сбежать из своих реальных жизней в свои реально реальные жизни с нами, своими фантазиями.

Никто не заставлял меня проводить День благодарения в «Комнате на Марсе». Я не так уж сильно нуждалась в деньгах в тот день. Почему я не провела его вместе с Джексоном? Я отвела его к соседке. К ней пришли друзья, и они что-то приготовили. Дети веселились. А я сидела с Куртом Кеннеди в темном театре. В то время я решила поддаться слабости завести себе постоянного клиента. Инстинктивно я была против этого, но это как будто давало какую-то новую определенность. Я знала, что он будет там в мою смену. Он выберет меня не раздумывая. Мне не нужно будет осматривать помещение, ходить

кругами в ожидании кого-то, кто решит провести обеденный перерыв в этом темном пристанище, в «Комнате на Марсе», и захочет заплатить именно мне, за компанию.

Посетители берут, что им нужно, а если видят кого-то получше, другую женщину, то говорят тебе исчезнуть. С постоянным это тебе не грозит. Я стала чьим-то вожделением — вожделением Кеннеди — еще до того, как попала в этот театр, до того, как он оказался там. Он был готов заплатить мне за пару часов несколько сотен долларов. Все, чего он хотел, это чтобы я притворялась, что я его девушка.

Ты моя девушка, да? Шероховатая, сухая кожа его рук на моих бедрах. Хриплый голос. Говорил по большей части он. Его подстрелили в ногу, пока он выполнял свою работу, поэтому он хромал. Он говорил, что был детективом или следователем, но потом он говорил, что это была не совсем правда, и долго рассказывал о своей настоящей работе, но я не слушала, мне было все равно, чем он занимался, как и то, лгал он мне или говорил правду. Он был на пенсии по инвалидности, и у него была уйма свободного времени. Он хотел покатать меня на своей яхте. Я ненавижу яхты, но я этого не сказала. Разумеется. Похоже, пер-

воклассная затея. Ты не представляешь, сколько стоит место для швартовки в этой гавани. Ну, разумеется. Двадцать тысяч в год, сказал он, давая мне очередную двадцатку. Ага. Тебе нравится, когда тебя шлепают? Я хочу отшлепать тебя. Он дал мне еще двадцатку. Иногда его банкноты были новыми, такими хрустящими и гладкими, что я начинала сомневаться, настоящие ли они. Деньги есть деньги. Великий нейтрализатор: вот работа, а вот оплата. Я бы хотел, чтобы твоя задница покраснела. Боже, я имел в виду, чтобы залилась, блядь, ярко-красным. При этих словах он легко похлопал меня по заднице своей грубой рукой. Легкость похлопываний говорила о том, что он был в своих мыслях. Если можно было назвать это мыслями. Никакого ему шлепанья. Обойдется. Я была его машиной виртуальной реальности, когда терлась задницей о его сомкнутые колени, опустошая его бумажник. Когда бумажник становился пустым, он либо шел к банкомату в прихожей «Комнаты на Марсе» и снимал еще, либо уходил, но непременно возвращался на следующий день.

Через несколько дней после Благодарения сержант Маккинли сказал, что для меня есть сообщение в кабинете администрации.

Я прошла туда в кандалах, в сопровождении Маккинли и еще одного копа, шагавшего позади меня.

В кабинете администрации передо мной возникла лейтенант Джонс.

— У вас имеется скончавшийся родственник, — сказала Джонс.

— Родственник?

— Тут написано — это ваша мать.

В Стэнвилле три тысячи женщин. Здесь то и дело бывает, что тебе сообщают неверную информацию — например, что ты ВИЧ-положительная, когда это не так. Или дают чужую почту. Я была уверена, что Джонс что-то напутала. Или просто решила помучить меня, потому что у нее была такая роль, мучить нас.

Я сказала, что не верю ей.

— Здесь написано: Гретхен Бекер. Погибла в автомобильной аварии в прошлое воскресенье, тридцатого ноября.

— Нет, — сказала я, — нет. Этого не может быть.

— Ее и ребенка забрали в главную больницу Сан-Франциско, — прочитала Джонс механически. — Ребенок получил неопасные для жизни повреждения.

— Это мой сын, — сказала я. — Ему только семь. У него никого больше нет. Я должна попасть к нему.

— Ты должна *попасть к нему*? У тебя два бессрочных приговора, Холл. Ты никуда не выйдешь отсюда.

— Это мой сын. Он в больнице, я…

— Холл, если бы ты хотела быть матерью, ты бы подумала об этом раньше.

Я метнулась к бумаге, которую держала Джонс. Я должна была увидеть ее.

Меня схватил Маккинли. Я попыталась вырваться. Мне нужно было увидеть бумагу.

Маккинли повалил меня на пол, и его большой ботинок мягко вжался мне в плечо, не давая подняться. Я понимала, что Маккинли не хотел мне зла. Я это чувствовала. Но Джонс была лейтенантом, его начальницей. Его ботинок прижимал меня к полу. Его ботинок говорил: «Твоя мать мертва». Моя мать мертва. Я осталась один на один с системой, словно на войне.

— Дайте мне увидеть бумагу, — сказала я. — Пожалуйста.

Мой голос был далеко не ровным — что правда, то правда. Я сказала «пожалуйста», срываясь на крик. Пожалуйста. Пожалуйста. Дайте ее мне.

Дайте мне ебучую бумагу.

— Когда-то я жалела вас, сучек, — сказала Джонс. — Но если ты хочешь быть матерью, ты не попадаешь в тюрьму. Просто и ясно. Просто *и* ясно.

Я попыталась встать. На меня навалились другие копы. Я укусила чью-то руку. Они вдавили мою голову в пол. Я повернула ее в сторону и плюнула. Я плюнула на Маккинли и получила дубинкой по затылку. Зазвучала сирена. Сирена мычала мне в уши, и все, что я могла, это бороться.

— Это моя семья! Это мой сын! Это мой сын!

Я пыталась поднять голову, я брыкалась, сучила ногами, пока их не придавили к полу, пока не придавили каждую часть моего тела.

II

12

Док погряз в коррупции одним из первых среди следователей Рампартского подразделения ДПЛА. Он пошаливал, как он это называл, задолго до того, как они заработали плохую репутацию. По этой причине Док считал, что опередил свое время. Время, которое ему предстояло провести за решеткой, отбывая пожизненное заключение без права досрочного освобождения в блоке особой категории тюрьмы Новый Фолсом в Калифорнии.

В особом блоке имелась комната отдыха с монолитными бетонными сиденьями и широкой сценой, на которой разыгрывались драмы перед рядом автоматических дверей голубого цвета, с маленькими смотровыми окошками, шнипсами. Камера Дока была 8 на 10 футов, как и у всех, и, как у всех, у него был сокамерник. Сокамерников не выбирают. А в особой категории Нового Фолсома твоим сокамерником будет педофил, стукач или транссексуал, без исключений, поскольку именно таких держат в этом блоке. Делить камеру с

транссексуалом — Док против этого не возражал. Он не имел ничего против мужчин с сиськами. Он даже развлекался с такими, не спереди, не всерьез, просто щупал их и приходовал сзади; он считал, что в жизни надо попробовать все. Транссексуалы в его блоке играли в софтбол пуховкой, и Доку нравилось смотреть на них, не меньше, чем другим полнокровным самцам. Им всем это нравилось. А что еще оставалось натуралам, угодившим пожизненно в тюрягу с кучкой других мужиков? И вдруг ты видишь перед собой этих созданий с большими задницами и настоящими, реальными сиськами, качающимися туда-сюда под казенными хлопковыми футболками, когда они бегают и прыгают по полю, трогательно беспомощные у площадки отбивающего, или несутся к мячу, летящему им навстречу, и никогда не могут поймать его. Они были забавными, глупыми и несобранными, и от них хорошо пахло, как от женщин, и, как у женщин, у них были куриные мозги, и они говорили мягкими или писклявыми голосами.

Док был бы не прочь делить камеру с кем-то из них. Но вместо этого его посадили со стремным типом, который изнасиловал свою дочь. Он сказал, что она была его *приемной* дочерью, когда

Док потребовал от него отчет, как было принято в особой категории. О'кей, у всех нас есть что-то такое. Док честно рассказал, что его насиловал в детстве приемный отец. Он не стал наезжать на сокамерника. Это тюрьма. Здесь не бывает друзей. Никому нет дела до чужих чувств. Вы устанавливаете правила по камере и не переходите дорогу друг другу. Правила Дока в основном касались поддержания чистоты. Многие заключенные особой категории Нового Фолсома были помешаны на чистоте. Бетон в общей комнате сиял как стекло — настолько он был отполирован; это была сплошная чистота и блеск, само совершенство. Запах патентованного чистящего средства «Тюремный блок 64» в блоке Дока сшибал с ног. Он не просто был повсюду, а властно доминировал, пронизывал твое дыхание, мысли, бытие. Док, назначенный уборщиком в блоке, имел доступ к чистящему средству. Ему была оформлена личная поставка «Блока 64». Он мог бы пользоваться этим средством как одеколоном, но у Дока были деньги на книжках, и он пользовался настоящим одеколоном, а не каким-нибудь гребаным «Олд спайсом». Хорошим одеколоном от известного итальянского дизайнера, чье имя он все время забывал. Ах, да: Чезаре Пачотти. Ему

всегда требовалось не меньше минуты, чтобы вспомнить это имя. «Блок 64» служил исключительно для удаления пыли и грязи с его личных вещей, то есть с его контрабанды. Любая вещь у тебя в камере, в случае шмона или твоего перевода, если ты не купил ее и не сохранил чек, чтобы доказать право на нее, конфискуется. Любая вещь у тебя в камере, на которую нет четкого разрешения УИУ Калифорнии, считается контрабандой. Прошу прощения — Управления исправительных учреждений *и реабилитации* Калифорнии — добавили словечко в этом году. Но программу никак не обновили. Просто добавили сраную букву «Р».

Док лежит на койке и перебирает воспоминания в поисках чего-нибудь этакого. Порнография в тюрьме запрещена. Интернета у них, конечно же, нет. Разум там, где сердце, точнее, там, где ты припрятал горячие картинки. Док просматривает свои горячие архивы, значительную часть которых занимают образы его последней женщины, Бетти Ля-Франс, засадившей его сюда. Он решает сосредоточиться на эпохе, предшествовавшей этому досадному событию.

Он видит себя патрулирующим улицы в гражданской машине. Если он сумеет проникнуть

в свою прежнюю жизнь, он сможет запустить хороший сценарий.

Он вспомнил курносую официантку, разносившую коктейли. В баре «Вершки», в районе Орлиной скалы, куда он любил захаживать.

Коп в гражданском входит в бар. Он никогда не мог припомнить анекдот, начинавшийся с этих слов.

Коп в гражданском входит в бар. Вот и все. Никакого продолжения.

В один из вечеров официантка с коктейлями в «Вершках» была такой пьяной или под кайфом, что не обиделась, когда Док засунул ей за трусики двухдолларовую канадскую банкноту, стоившую даже меньше двух американских долларов. Ха-ха-ха. Почему на официантке с коктейлями не было ничего, кроме трусиков? Это была часть загадки «Вершков». Это была единственная загадка «Вершков». Он раскусил эту загадку и взял официантку в свою гражданскую машину. Стянул с нее трусики и запустил ладонь в промежность. Она пользовалась бритвой или воском, так что у нее там было гладко, как у девочки, чего Док не выносил, поскольку защищал и оберегал детей. Образ безволосого лобка разозлил его, так что он отдернул руку; он не подумал об этом, выбирая

этот файл из своего мысленного архива. Он бросил официантке скомканную двадцатку и сказал убираться из его машины. И вот его мысли сползают в область порочных мужчин и невинных детей, и вместо того чтобы отдаться фантазиям о сексуальном стриптизе или о женщине, умоляющей его вложить ей в рот свой член, он мечтает о том, чтобы раскрасить ландшафт из «узи». Раскрасить весь этот огромный ландшафт детских мучителей.

«Узи». Он вспомнил ту малышку в конфетно-розовых шортиках, которая укокошила своего инструктора по стрельбе в Лас-Вегасе. Все смотрели в новостях об этом на своих персональных экранах, десятки тысяч мужчин по всей стране, отбывающих пожизненное заключение без права УДО, как Док, устроившись поудобнее с дешевыми дребезжащими наушниками, подключенными к их смартфонам, надеясь уловить момент, когда это дитя в шортиках конфетной расцветки уложит взрослого мужчину из «узи». В новостях показывали, как девочка с увлечением берет в руки оружие, затем была пауза, а затем инструктор говорил ободряюще: «Ну, порядок»! Типа, *«так держать, эта детка что надо»*. А затем она отступала назад и начинала палить, но

в новостях видео было обрезано до того, как она скашивает инструктора. Этого никогда не показывали, но каждый зэк в блоке особой категории пересматривал этот момент, надеясь увидеть заветную сцену. Словно бы, пересматривая его снова и снова, они вызывали возможность того, что новостной ролик мог каким-то образом, вследствие технического сбоя, какого-то вселенского глюка, перескочить туда, куда не должен, и показать ту часть, где девочка вскрывает инструктору череп, разбрызгивая ошметки мозга и костяное крошево.

Док плавно отстраняется от этого воспоминания. Он может вспомнить все, что захочет. Важно иметь это в виду, когда обследуешь свое хранилище. Но бывает, что слишком широкий выбор подавляет тебя.

Тирания выбора — это не совсем то, что люди считают главной проблемой в тюрьме. Тем не менее Док никак не может остановиться на одном конкретном образе. Скоро его сокамерник уйдет и вернется не раньше установленного времени, когда откроется автоматическая дверь (вот уж действительно робот), так что Док хочет использовать это время с умом.

Он перенесся в то время, когда еще был следо-

вателем и патрулировал улицы под прикрытием, до того, как он оступился одной знойной ночью. Док стал большим знатоком баров Лос-Анджелеса с проститутками, работавшими в открытой и естественной манере. В их числе был ресторан «Гладкая ручка» на бульваре Уилшир в Корея-тауне, оформленный в средневековом антураже, с темницей в подвале. Или «Бобби Лондон» на углу бульвара Беверли и Вестерн-авеню, где обслуживали только корейцев и ДПЛА, точнее, ДПЛА давали взятки, а еще точнее, взятки давали Доку, и, строго говоря, это были не взятки, а шантаж.

Коп входит в бордель.

Анекдотов с таким началом он тоже не мог вспомнить.

Зато он помнил бар «Лас Бризас» на обширном пустыре за бульваром Сансет, вблизи стадиона «Доджеров», где машины проносились на скорости семьдесят миль в час. Там можно было заняться сексом с барменшей в кладовке, она радушно принимала его, с материнской чувственностью. От нее пахло говяжьими тамале и шампунем «Фабулозо» с маслянисто-цветочным ароматом, напоминавшим, если подумать, «Тюремный блок 64». Визиты Дока в «Лас Бризас» начинались с крепких объятий и обжиманий с

различными леди, ловившими клиентов в этом заведении, но завершались всегда в кладовке, с барменшей, от которой пахло, как от «Блока 64». Она доводила его до оргазма руками, а дальше они, скользкие от спермы, трахались стоя, и Док впечатывал ее в стопку ящиков с баночным пивом. Щедрая женщина всегда радовалась, когда Док кончал, заливая ей промежность спермой, словно его оргазм был ее гордостью, словно он был ее большим мальчиком, даривишим ей букет красных роз на длинных стеблях.

Док делает глубокий вдох, но беззвучно, потому что автоматическая дверь открывается — она будет оставаться открытой десять минут, а потом закроется. Его сокамерник возвращается и садится на свою койку внизу.

Красные розы. Красные розы пышно цвели за воротами Старого Фолсома, где он мотал свой первый срок. Он видел их сквозь закрытое зарешеченное окно тюремного автобуса, тяжелые и крупные цветы, и был уверен, что чувствует их запах, несмотря на запах хлорки и человеческих тел в автобусе. Он чувствовал запах этих крупных роз, лениво клонивших головы. Это был запах чужой свободы. Свободного мира пожилых женщин в очках «кошачий глаз» и вязаных свитерах.

У этих женщин были пианино, на которых они не играли, и фотографии внуков, которые их не навещали. А также у них были покойные мужья со стрижкой бобриком, умершие до начала движения за гражданские права. С большими, мятыми, отвисшими ушами стариков. И именами вроде Флойд. Или Ллойд. Покойные мужья этих пожилых женщин, чью свободу выражали вязальные спицы и безупречные розы в клумбах у ворот. Такие женщины все время качали головами, словно всем говоря «нет», из-за старческого тика или лекарств. Они всегда были недовольны чем-то, как его тетки и бабки, не любившие его и отдавшие приемным родителям.

В его первую ходку в Старом Фолсоме не было особой категории. Среди заключенных попадались типы со странностями, не без этого, но не было отдельного блока, призванного обеспечить безопасность популяции заключенных, состоящей из стукачей и копов. Он почти не выходил из камеры. Ему передали письмо с угрозой, очевидно, от Бетти Ля-Франс, пусть даже она не могла писать ему напрямую, письмо нервозными печатными буквами, которое вручил ему некто Фред Фадж, заявив, что скоро заключенные в его дворе узнают, что он всего лишь грязный коп.

Это была ее месть. Давай, трахни меня, грязный коп. И он повелся. Он был наивным. Это ее длинный язык навлек на них правосудие, и он был уверен, что она по-прежнему треплется с кем попало.

Он лежал у себя в камере и мечтал о побеге. Стены Старого Фолсома, точно огромные гранитные зубы, простиравшиеся под землю даже дальше, чем в небо, были построены первыми заключенными, и Док испытывал к ним злость и зависть: плоды их трудов держали его взаперти, а кроме того, они были заняты чем-то действительно важным.

Тыловую границу тюрьмы отмечала Американская река с бурливыми порогами и сторожевая башня, возвышавшаяся над окрестностями.

Когда Док был ребенком, по радио часто крутили «Блюз Фолсомской тюрьмы». Дока эта песня не трогала, как считал Вик, его приемный отец, который обожал ее и измывался над маленьким Доком. Много позже, став взрослым и вступив в ряды полиции, нацепив полицейский значок и разъезжая в патрульной машине с ружьем, Док снова услышал эту песню. Она звучала из музыкального автомата в «Вершках», и Док до глубины души прочувствовал слова о том, как

герой застрелил человека в Рино только затем, чтобы увидеть, как он умрет, потому что именно за этим Док и стрелял в людей, хотя он никогда не был в Рино.

Джонни Кэш нюхал кокаин, и это также объединяло их с Доком. Лицо барда отмечали глубокие морщины и особый изможденный взгляд, полный внутреннего напряжения, какой бывает у атлетов, преодолевающих полосу препятствий, и еще у тех, кто курит крэк до самого рассвета.

Вик не имел пагубных пристрастий, он только бил и насиловал маленького Дока. Он работал оценщиком страховых убытков, выкуривал ровно шесть сигарет в день и иногда позволял себе бокал розового вина. Вик следил за своим садом с дотошностью маньяка, проверяя, чтобы Док убирал всю опавшую листву до последнего листика.

Ребенком Док видел Джонни Кэша по телевизору, когда тот давал свой знаменитый концерт в кафетерии Старого Фолсома, том самом кафетерии, где позднее бывал Док, когда у него хватало мужества пойти туда пошамать, превозмогая страх, что его зарежут. Когда Док сидел в Старом Фолсоме второй месяц, в этом самом кафетерии вспыхнул бунт. Кому-то дали недостаточно большой кусок пирога, и двести шестьдесят зэков

устроили погром. Надзиратели бросились наутек, осознав численный перевес. Док залез под один из кривоногих столиков и смотрел, как на пол летели столовые приборы, брызги крови и куски еды. Металлические подносы использовались как ударное оружие, простое и эффективное. Копы окружили кафетерий по периметру, вдоль узкого огороженного прохода, отделенного от кафетерия защитной стеной. На копах было защитное снаряжение. Они бросили в кафетерий гранату со слезоточивым газом. Кто-то из зэков подхватил ее и бросил назад. Узкий проход, запруженный копами в защитном снаряжении, стал заполняться газом, и копы начали беспорядочно ломиться куда подальше. Зэки ревели от восторга, несмотря на то, что газ просачивался через стену и в кафетерий, вызывая у них слезы. Газовые слезы восторга.

Что Доку нравилось в барменше из «Лас Бризас», это чувство того, что она отдается ему без остатка. Если женщина позволяет тебе обкончать себя с ног до головы, это может означать, что она принимает тебя целиком и полностью, таким, какой ты есть.

И еще в «Лас Бризас» был старик, сидевший за барной стойкой и подмигивавший Доку, когда он

выходил из кладовой, — нет, это был не сутенер, а просто старый мексиканец с пропеченным солнцем лицом, которому нравилось сидеть, потягивая пиво, и подмигивать людям, как бы говоря: «Меня радует видеть то, что я вижу, и знать то, что знаю».

Парень идет на свидание вслепую. Док рассказывал себе такой анекдот, про свидание вслепую.

Парень по имени Ричард идет на свидание вслепую с женщиной по имени Линда. Они договорились по телефону. Эта Линда говорит: «Встретимся у автомата с газировкой». Ричард подходит к автомату с газировкой и ждет.

К нему подходит молодая женщина и спрашивает: «Вы Ричард?»

Он говорит: «Да».

Она его оглядывает и говорит: «Я *не* Линда».

Один раз Док был женат на девушке из Болгарии. Временный проект — так он думал об этом потом. Он никогда на самом деле не мог объяснить себе или понять, почему женился на ней. Он бы трахнул ее сейчас, если мог бы. Он представляет, как задирает на ней ночнушку, которую купил давным-давно, и всовывает ей, и двигает туда-сюда. Секс — это так просто, он не понимал,

почему у людей столько бзиков на этот счет. Он всегда был готов кинуть палку. У него с этим не было проблем. Девушка из Болгарии во время секса лежала как мертвая, что слегка тревожило его. Даже ритм ее дыхания не менялся, когда он утрамбовывал ее, достигая кульминации, готовый взорваться и оросить ее живот своим соком. Док думает теперь об этом, слыша, как его сокамерник ворочается на нижней койке. Он думает не о том, почему она была такой зажатой. Это его ничуть не заботит. Он вспоминает то ощущение, когда он утрамбовывал ее.

Очень грустно, когда ты настолько привыкаешь дрочить среди дня, что уже не обращаешь внимания на сокамерника, лежащего внизу на своей койке, — Док, наверно, может вам не объяснять.

Иногда среди ночи Доку кажется, что он слышит, как весь тюремный блок гоняет лысого. Сдержанное хоровое хлюпанье. «Охренеть», — вероятно, думаете вы. Но Док хотел бы вам напомнить, что это человеческие существа. Кровь приливает к их пенисам независимо от того, на воле они или за решеткой, а когда человеческий пенис набухает и нет возможности для разрядки, человеческий самец инстинктивно

обхватывает свой набухший член и принимается надрачивать его.

И это приводит на память Доку очередной анекдот.

Это единственный анекдот, который он может вспомнить полностью. Все анекдоты, мелькающие у него в уме: в бар входит конь… Сколько мексикашек нужно, чтобы… что? Он не может вспомнить даже завязку.

За все его годы у него в уме отчетливо отложился только один анекдот.

У чувака с женой «супружеская проблема». У них никак не получается потрахаться. Так что они идут к этому врачу, сексопатологу. Врач говорит, что они, похоже, плохо понимают друг друга. Мужик с женой признают, что им неловко говорить о сексе. Врач предлагает им придумать физические подсказки, чтобы они могли понимать, когда другой в настроении. Жена говорит: «О'кей, милый, давай так: если ты готов пошалить, похлопай меня пару раз по животу. А если ты *не* настроен, — говорит она ему, — шлепни меня по животу один раз». Муж говорит: «Ты хорошо придумала, дорогая. Один шлепок — это я как бы говорю: «Не сегодня»; два шлепка: «Начинаем вечеринку». А вот знаки для тебя: «Если

охота потрахаться, дерни меня за хер один раз. А если ты не в настроении, дерни сто раз».

Ребята из Рампартского полицейского участка называли болгарскую девчонку Дока «невестой по почте», но посторонние люди никогда не смогут понять, что связывает двух человек и почему они держатся вместе. Ему было двадцать три года — новобранец, только из ворот Полицейской академии. Она подошла к нему на улице и спросила, как пройти куда-то. Ему понравились ямочки у нее на щеках и как она с трудом говорила по-английски. Он подвез ее, куда ей было нужно, и взял у нее номер телефона. Она была словно сиротка в большой неведомой стране. Док взял ее к себе, на время, и она хорошо готовила и прибиралась. Но она много хандрила, и он понял, что тихони могут контролировать тебя не хуже, чем скандалистки. Просто они делают это по-другому. Когда он устал от ее хандры и слез, он оставил ее.

Он развелся с ней в двадцать семь и решил, что никогда больше не женится. Он обожал женщин и часто сходился с ними. Но никого не любил. Даже свою «невесту по почте». Через десять лет после развода он встретил Бетти Ля-Франс и запал на нее. Крепко запал, хотя эта женщина не готовила и не прибиралась, зато была очень шумной

в постели, хотя могла и притворяться, но какое ему дело? Что это меняло для него? Важно лишь то, насколько тебе кайфово.

В каком-то извращенном смысле он скучал по Бетти, пусть и желал ее смерти. Он хотел бы убить ее, но это было невозможно. Теперь она в камере смертниц, и ему до нее не добраться, потому что бабы слишком тупы, чтобы совершать насильственные действия в тюрьме. В мужской тюряге можно заказать кого угодно. Люди сделают это за миску лапши. Они убьют за пачку мыла «Ирландская-блядь-весна» (приятный запах, отлично годится для дрочева). Но единственные зэчки, у которых имеется доступ к Бетти, это такие же унылые психопатки из смертниц, которые, вероятно, с утра до вечера лежат и скулят, тогда как зэки проявляют чудеса изобретательности, как-то: вставить петлю от шкафчика для одежды в солнечное сплетение или спрятать лезвие в ручку зубной щетки, чтобы снять с кого-нибудь лицо.

Впрочем, Бетти была на редкость крутой бабой, в отличие от большинства. Отчасти поэтому она так ему нравилась. Если бы он мог выбрать кого-то из женщин, кому можно заказать мокрое дело, он бы поставил на Бетти, но, поскольку он хотел

заказать именно ее, такой вариант отпадал.

Бетти капала ему на мозг, что его отношения с женщинами коренились в отношениях с матерью. Но что Бетти знала о матери Дока? Он и сам-то мало знал ее, поскольку жил с ней только до пяти лет. Он помнил, как спрашивал ее, кем она работает, потому что она все время ходила с ним по домам разных мужчин и оставляла его сидеть одного на диване, и каждый раз ему казалось, что ее нет целую вечность.

— Услуги, — говорила она ему. — Я оказываю услуги.

Бетти говорила, что хотела бы от него ребенка, но оказалось, что ее матка не в порядке. Или, может, не в порядке был его член. То есть он был в полном порядке для секса, но она не могла забеременеть, хотя он кончал в нее множество раз, надеясь заронить в ней семя Дока-младшего. (Обычно Док предпочитал кончать на тело или, в идеале, на лицо.)

В бар заходит конь.

В бар заходит конь, и бармен говорит: «Чувак, на тебе лица нет».

Дерни сто раз. Этот анекдот всегда казался Доку уморительным, но иногда он был не прочь подергать сам себя. В тюрьме выбор невелик, чья

рука, кроме твоей собственной, притронется к твоему члену, если только ты не готов обратиться к другому мужчине. Один раз он трогал здесь кое-кого, и если ты не гей и делаешь это впервые, тебя ждет неслабый сюрприз. Эрегированный член другого мужчины для натурала напоминает некий корнеплод. Женщины знают мужской член на ощупь, и каждый мужчина знает свой собственный член, но ты не ощущаешь свой член *со стороны*, ты вызываешь ощущения *в нем*. Когда Док прикоснулся к чужому члену, почти такому же, как свой, но не своему, у него шарики за ролики заехали. Он отдернул руку и не стал делать второй попытки. Это был один из тех трансов, которые играли в софтбол пуховкой. С виду симпатичная латинка, и ему хотелось, чтобы она умоляла его, и стонала, и закидывала голову назад, как реальная женщина. Это было бы чем-то новым в таком месте, где один день почти неотличим от другого. Но неожиданно у этой чики обозначился здоровый хер в штанах. Доку не нравилось вспоминать этот момент, но иногда он делал это, чтобы отвадить себя от желания повторить такое.

Единственный пенис, который он трогает, это его собственный. И он занят этим прямо сейчас.

Большинство мужчин дрочат почти каждый день. Потом ты вытираешь капли, скрывая улики, хотя все это знают, и никто не знает, потому что об этом не говорят просто так в коллективе, в общем разговоре в блоке Дока. Он только предполагает об этом, как люди предполагают самые разные вещи, не ожидая эмпирических доказательств. А в этом случае он их и не хочет. Но он знает. Просто знает.

Бетти все время провоцировала его быть сукиным сыном. Ей нравились самые грязные типы, а в особенности копы. Они с Доком много пили и много дули кокаина. Бетти нравилось есть кокаин. Он не встречал никого, кроме нее, кто бы ел кокаин; сам он для надежности предпочитал колоться.

В плену любви и кокаина он по дурости уверял ее, что он самый грязный коп из всех. На этом держалась их связь. Об этом были их постельные разговоры. Всякие глупости, которые люди говорят друг другу после секса, — о всевозможных злоупотреблениях своим положением, обо всяком дерьме, которое сошло им с рук, о людях, которых они убили.

Когда Бетти пригрозили высшей мерой, она выдала все, что когда-либо слышала от Дока.

Ему предъявили обвинение в убийстве первого убийцы, нанятого Бетти, и в причастности к другому заказному убийству, управляющего мужского клуба, много лет назад. Но имелись еще двое людей, которых он пустил в расход, хотя у полиции не было доказательств, и это нельзя было использовать в суде. Один из убитых был отморозком, насиловавшим своего пятилетнего сына. На него донес сосед, позвонивший по номеру 911. Док первым приехал по вызову, и этот тип даже не успел застегнуть ширинку. Ребенок плакал, из ануса у него текла кровь. Док сказал подозреваемому расслабиться, и, как только тот опустил руки, Док начал стрелять в него.

Анекдот про Линду и Ричарда был историей Дока. Реальной историей. Но, когда он ее рассказывал, люди всегда думали, что он шутит. Это случилось с ним в школе. Он испытал такое только один раз, но все отрочество юного Ричарда Лин Ричардса, которого все звали Док, можно было выразить в этом моменте унижения девчонкой по имени Линда у автомата с газировкой на Магнолия-стрит в пригороде Лос-Анджелеса. История всей его жизни могла бы уместиться на этой булавочной головке. Я не Линда.

Флойд и Ллойд также были реальными людьми. Братьями, женатыми на двух двоюродных бабках Дока. Одно из немногих воспоминаний Дока об этих смурных старухах и их мужьях-братьях касалось шутки, которую Док иногда рассказывал. У Флойда был персик, он откусил его, повернулся к Ллойду и сказал: «Этот персик на вкус как манда. Невероятно». По подбородку Флойда тек сок. Он дал персик Ллойду, и тот тоже откусил его, но выплюнул в траву. «Говно вкус», — сказал Ллойд. На что Флойд сказал ему повернуть персик другой стороной, потому что он откусил не с той. В этом месте Док теряется. Эту шутку нужно показывать в лицах, как будто он видел это своими глазами, но это не так. Флойд и Ллойд, его двоюродные деды, никогда не разговаривали друг с другом. Они были завзятыми молчунами, со всеми, всегда. Они все время сидели вразвалку перед телевизором, вызывая у женщин и детей смутное чувство тревоги. Кроме того — и всем это известно, — безотносительно трагической семейной истории Дока, любые персики восхитительны на вкус, поистине восхитительны, и ничуть, он это повторяет, *ничуть* не похожи на говно.

13

Мою соседку Роми перевели куда-то, а я не знала куда. Большой папа отказался мне сказать. «Занимайся собой, Фернандес», — вот и весь его ответ.

Теперь я тут одна. Кое-кто из карцера заявляет, что Роми держат под присмотром, чтобы она не покончила с собой. Я не верю этому. Карцер — это фабрика сплетен, где люди сидят взаперти и перекрикиваются через кормушки.

Большой папа ни с чем не хочет помогать мне. Даже не дает никакую книжку почитать. Только и знает: «Никаких передач, Фернандес. Не-а». Видно, рассчитывает получить повышение.

Один раз я за год прочитала в карцере восемь романов Даниэлы Стил. Она написала роман про тюрьму, просто крышесносную вещь. Все ее читали. Мы рвали книгу по нескольку страниц, чтобы пересовывать под дверьми, и все говорили о ней. Она прогремела по тюрьме как грозовая буря. Мне не казалось странным, что женщины в тюрьме хотят читать о других женщинах в тюрьме. Ты хочешь читать о мире, который знаешь, а не о чем-то неизвестном.

Мне было нечем заняться и не с кем поговорить.

Я устала от Бетти Ля-Франс, то и дело кричавшей что-то по вентиляции. Мне было восемнадцать, когда я с ней познакомилась, и она чертовски меня впечатлила. Она была богатой и называла всех «дорогуша». Учила манерам женщин в окружном СИЗО. Но это было десятки лет назад, а за столько времени кто угодно осточертеет. Я всегда буду любить Бетти, потому что она часть моей истории и просто потому, что она настолько упоротая и чудна́я. Но иногда тебе хочется, чтобы она угомонилась.

Она все орала снизу через вентиляцию о своих новых планах. Она сказала, что собралась наконец рассчитаться с крысомордым копом. Я сказала ей не шуметь. Но она не может. Это Бетти. Она начала бубнить что-то о Библии. Когда я была молодой и глупой, Бетти меня убедила, что Книга Даниила на самом деле о пришельцах, прибывающих на Землю. Она меня до чертиков напугала. На этот раз она взялась за Книгу Судей.

— Эй, Сэмми. Что слаще меда и сильнее льва? — спрашивала она меня через трубу. — Слаще меда и сильнее льва?

Я не знала, о чем она толкует. С ней лучше, когда она говорит о деньгах или своих ногах, застрахованных на миллионы.

— Льва убил Самсон, — сказала она. — Он вскрывает львиное тело, и там внутри пчелиный улей. Пчелы делают *мед*, сечешь?

Она так сказала «мед», словно это был ключ к ее загадке, и теперь я должна была все понять. Словно мед был каким-то шифром.

— В останках мед. Сладкий мед, — сказала она. — Но ты не получишь его, пока не убьешь льва. Сперва ты должна убить льва. Я заказала его. Я загнала его в угол.

Она начала говорить о войне, но я не стала ее слушать.

— Ты хотя бы в курсе, что мы воюем? — спросила она, когда я перестала отвечать.

— Я знаю об этом, — сказала я.

Но я не много знала. В окружной каталажке не показывают новости по телику. Слишком опасно или типа того. Они крутят нам «Друзей». Все в СИЗО любят «Друзей». Эти ребята нам практически кореша.

— Американские солдаты в Ираке, — прокричала Бетти, — защищают *твою* свободу.

— Зря стараются, — проорала я. — Мне она до фени.

Когда я была в окружном СИЗО, кому-то из моих соседок по нарам передали новость, что мы

вторглись в Ирак. Я стала спрашивать людей, не знают ли они, где этот Ирак, и никто из женщин не знал. Даже образованные люди в СИЗО не знали. Словно этих мест не существует, пока мы их не разбомбим.

Бетти стала донимать надзирателя внизу. Я слышала по вентиляции, как она просит его помолиться с ней о военных.

Общение с Роми навело меня на мысли о прошлом. Однажды ночью мне приснился сон про «Чванливую лису». Я там шла по балкону вдоль комнат. Был день, и слышался дорожный шум с Фигероа-стрит. Я шла мимо комнат с табличками «Не беспокоить» на дверных ручках, занавески были задернуты. Я подошла к комнате с открытой дверью. Комната была пустой и чистой, и я вошла, закрыла дверь и легла на застеленную кровать и заснула.

Я думаю, в тюрьме так устаешь, что самые лучшие сны — это такие, где ты просто спишь. Вот о чем мы мечтаем. Спать. Когда я проснулась, я почувствовала, что отдохнула гораздо лучше обычного. Когда большой папа подал мне завтрак через кормушку, я крикнула Конану в конец нар и рассказала свой сон. Я сказала, что чувствую, словно выспалась дважды, поскольку я спала во

сне в «Чванливой лисе».

Бетти Ля-Франс прокричала по трубе:

— «Чванливая лиса»? «Чванливая лиса»? Откуда я это знаю? Что это такое?

— Это мотель, — сказала я.

— Думаю, там бывал Док, — сказала она.

В этом вся Бетти. Все должно всегда вертеться вокруг нее.

«Чванливая лиса» была моей точкой. В комнатах получше были массажные кровати, покрытые красным бархатом. Ты вставляешь монетки, и кровать оживает под тобой. В душевых было два носика: один в обычном месте, наверху, а другой на уровне интимного места. Один из моих джонов, старик, работавший в здании суда в Старом городе, рассказал мне, что такой душ, с носиком для промежности, был у знаменитого президента, Линдона Б. Джонсона. Сам президент ополаскивал свои яйца таким душем, как у нас в «Чванливой лисе».

Комнаты попроще стоили десять долларов в час. Когда я приводила джона, я говорила ему, что комната стоит двадцать или тридцать долларов в час, и брала эти деньги себе сверх того, что он мне платил. Но они были со мной в комнате минут двадцать. У меня люди приходили

один за другим, иногда по пять клиентов за один только час.

Один раз ночью, когда я была с клиентом, я слышу, как по двери стучит кореянка из администрации и вопит: «СЛИШКОМ МНОГО ДЯДЕЙ! СЛИШКОМ МНОГО ДЯДЕЙ!»

А парень меня спрашивает: «Чего это она?» Он понятия не имел, в чем дело. Как же я смеялась.

В итоге я перебралась в мотель «Гнездо» на бульваре Лонг-бич в Комптоне, где никого не парило, сколько дядей я привожу в свою комнату. На бульваре Лонг-бич я познакомилась с Родни, там же, в Гнезде. Но не в мотеле. Комптон тоже был Гнездом.

Я была с Зеленоглазкой, и мы обе только что обслужили клиентов и хотели купить герыча, но моего дилера не было поблизости. Зеленоглазка сказала, что знает кое-кого, и мы пошли на квартиру к этому дилеру. Мы туда вошли, и этим дилером был Родни. Я подумала, что никогда еще не видела такого урода. А он говорит Зеленоглазке: «Это кто?» И на меня показывает. А Зеленоглазка такая: «Это Сэмми». И он говорит мне таким резким, грубым тоном: «Фрукты любишь?»

Я посмотрела на Зеленоглазку за подсказкой,

типа что мне отвечать на это, потому что мы пытались достать герыча, а про людей заранее не знаешь, пока не имеешь с ними дела несколько раз. Я надеялась на какой-то сигнал от Зеленоглазки, типа что мне отвечать? Нравятся мне фрукты? А Зеленоглазка шепчет: «Скажи «да», дура».

Понимаете, он задавал мне *личный* вопрос. Он застал меня врасплох. Какое ему было дело, что мне нравится?

Он говорит: «Апельсин хочешь или яблоко?»

Я сказала ему, что люблю только клубнику и арбузы, что это мои любимые фрукты. Мы купили герыча, я и Зеленоглазка. Потом я работала на автобусной остановке, подкатила машина, и я начала переговоры, но у парня было мало денег, и я сказала ему уезжать. Дальше подкатывает другая машина, медленно так. Окно опускается, и там Родни. Он говорит, что меня могут обидеть на улице и чтобы я была осторожней. У меня не было клиента, так что я согласилась поехать с ним в магазин. Он купил мне клубники, и мы отвезли ее к нему в дом. Я оставалась там всю ночь, курила герыч, болтала, ела клубнику. Вот так это и началось. Теперь у него тату с моим именем в двадцати шести разных местах по всему телу.

Родни был из Гонзалеса в Луизиане. С семнадцати лет до двадцати двух он жил в Анголе. Он носит усы, чтобы скрыть шрам от хлыста, которым стегают лошадей. Ему пришлось работать на плантации окры. Его ступни изуродованы из-за того, что он стоял в воде без резиновых сапог. Когда он выбрался из Анголы, ему запретили въезд в страну. Он приехал в Комптон, но остался типичным южанином, суеверной деревенщиной. Никакой готовки, когда у тебя месячные. И он был помешан на чистоте. Это было во многом похоже на то, как люди относятся к чистоте здесь, включая меня. Я люблю, чтобы было чисто. Это дает какую-то власть, наверно. Хотя я могу смеяться над этим. Смешно, что большинство из нас торговали собой, чтобы купить крэк, жили в палатках и срали в ведра в трущобах, но здесь, став авторитетами, мы заставляем других женщин принимать душ три раза в день и мыть ванную с отбеливателем после того, как они почистят зубы. Мы здесь дрючим всех, как в армии — правила, проверки, ругань и побои, — я сама такая. Я вам как следует вмажу, если увижу в раковине хоть каплю воды.

Родни меня бил как собаку. На самом деле я думала, он бьет меня потому, что любит, что так

он выражал заботу, что это такая жесткая сторона заботы и любви. И у меня была зависимость. Я была, как все эти потерянные девчонки с дилерами — девчонки, подсевшие на дурь, которыми крутят эти паханы, имеющие власть и деньги.

Родни был со странностями. Он был необычной личностью. Он ел только пресную пищу: без соли, без перца, без кетчупа, без острого соуса. Не пил, не ширялся, не слушал рэп или ар-н-би. То есть ничего. Только деньги его заботили. Так и было. Наличка. Больше ничего.

По утрам я просыпалась и выпивала сороковку «Староаглицкого». Родни выпивал пакет молока. Вот так каждый из нас начинал свой день. Мы вели дела вместе; я работала в ночную смену. У нас в квартире было три бронированных двери в прихожей: одна, две, три, чтобы никто нас не обчистил. И мы хранили наши нычку, и деньги, и оружие в сейфе под полом, под холодильником, где была панель, которую надо поднять, чтобы добраться до сейфа. Парень, устанавливавший это, был курильщиком, так что мы расплатились с ним герычем, как и со всеми. Чтобы все были повязаны, как и здесь. У меня вся камера была повязана, я всем раздавала дурь, чтобы на меня никто не настучал.

Родни уважали в Гнезде, но он не был бандитом. У него была карта. Пропуск. Он мог вести дела, и ему давали добро, как одиночке, без всякой крыши. Не каждому позволят ходить вот так без ансамбля, но Родни имел связи с серьезными ребятами, сделал много хорошего людям и заработал свой статус.

Обычно мы вели дела в квартире Родни. Мы сами продавали свой товар. Мы никогда не нанимали детей стоять на уличных углах, как это делают теперь. Эксплуатируют детей. Находишь ребенка без приводов, и он продает твою дурь. Когда его прижучат, он не сядет, поскольку это его первое правонарушение, но от него уже не будет пользы, так что ты ищешь нового. Втягиваешь одного ребенка за другим, и все они попадают на учет. Мы брали только пятерки и десятки, потому что двадцатки метила полиция из наркоконтроля. Я помню, как к воротам подошла одна девчонка с двадцатками, и Родни ее вытолкал на улицу и сказал, чтобы она больше никогда не пыталась что-то купить у него с такой мелочью.

У нас с Родни было два «кадиллака». Один был кофейного цвета, и на капоте был рисунок аэрографом — я в образе Девы Гваделупской, и понизу надпись: «Давай я расскажу тебе про блюз». Ча-

сто я была единственной латинкой в камере. Я перезнакомилась с уймой черных женщин. Но я всегда хорошо ладила с любыми людьми; у меня нет заскоков по расовой теме. Я могу с кем угодно говорить. Родни брал меня в игорные клубы. Девочки там — это что-то с чем-то. Им каждый день укладывают волосы и красят ногти. Если им не сделали укладки в какой-то день, они спят, положив руки под щеки, чтобы волосы не терлись о подушку. Ты идешь в клуб, и все там покупают «Хеннесси» бутылками. В баре у них стриптизерши.

Мы любили путешествовать. Были в Вегасе. Сан-Франциско. Мы всегда вели дела в дороге и носили с собой оружие. Мы ездили прямо в Сьерра-Мадре, где был нелегальный полигон, чтобы пристреляться. Он там за скалой. Нужно ехать туда с чуваками, которые там заправляют, по грязной дороге, в их здоровом джипе. Помню, в нем на рычаге был череп. Эти белые просто сумасшедшие. Они продают новые, чистые пушки. Мы покупали у них карабины «СКС», поставлявшиеся прямо из Ирака. Отдача у них офигенная. Я пристрелялась лучше, чем Родни.

Иногда мы спорили, как вести бизнес. Как-то раз утром мы увидели одного парня, красившего

здание на углу неподалеку от нашей квартиры. Он занимался внешней отделкой и начал говорить с Родни, и они оставили друг другу свои контакты. Потом этот парень — белый чувак — звонит и говорит, что хочет купить большой объем кокаина, но что он застрял в Лагуна-Нигеле и хочет, чтобы мы приехали туда. Мне было вполне ясно, что если он аж из Лагуны-Нигеля и серьезный покупатель, у него должны быть свои люди здесь. Зачем ему понадобились мы? Я подумала, что это лишний риск, ехать туда, но Родни уперся на этот счет, потому что чувствовал, что эта сделка могла расширить его бизнес. Мы поехали. Это был шикарный район, как Родни и подозревал. Перед домами были длинные подъездные дороги с домофоном в начале. Мы подходим к домофону и говорим, кто мы, и эти здоровенные ворота сами открываются — вуаля. Мы подруливаем к дому по круговой дорожке, и выходит этот парень. Он передает Родни деньги, и Родни дает ему дурь. И вслед за этим выходят эти люди из-за деревьев. Двадцать или тридцать, все в черном и в масках. Мне к виску приставили ствол. У меня во рту была незажженная сигарета «Кэмел». Она дрожала вверх-вниз, тряслась как сумасшедшая. Я боялась не ареста. Ебать арест. Я

была в тюрьме уже двенадцать раз и считала это частью жизни. Я думала, этот парень собирается выстрелить мне в голову, вот чего я боялась. Они вытащили Родни из машины и обработали его перцовым баллончиком. Нам дали каждому по восемь лет, как лохам. Того чувака из Лагуна-Нигеля завербовали. Он подставил нас, чтобы с него сняли обвинение. Пришел в суд для обвинения и показал на нас. Без зазрения совести.

Родни никогда не пытался отомстить ему, хотя мог бы. Стоило лишь нанять частного детектива, чтобы найти этого козла. ЧД получают массу заказов от таких клиентов в Лос-Анджелесе. Люди думают, что вся их работа — это выслеживать неверных супругов. Нет. Большую часть работы им дают дилеры и гангстеры, которым нужно выследить кого-то. Иногда чтобы убить. Детективы не задают лишних вопросов. Они просто находят нужного человека и отходят в сторону, потому что их работа сделана. Конечно, они понимают, что будет дальше. Если даже это не убийство, козла тащат в гараж, чтобы пытать и вправить мозги. Такие гаражи в секретных местах есть по всему южному Л-А. Я бывала в двух. Тебя там подвешивают под потолком. Это не то место, где тебе хотелось бы окончить свои дни.

Родни не понадобился гараж для пыток, чтобы наказать меня и подчинить. Теперь, похоже, он постарел, и я постарела, так что у нас больше нет претензий друг к другу.

Когда я убежала от Берндта, я знала, что меня схватят. Мне было все равно. Трудно жить на улицах. В тюрьме ты можешь быть кем-то. В жизни появляется порядок, если знаешь, как мотать срок, а я знаю. Я в этом эксперт. Жизнь в палатке — это что-то временное. Ты живешь так, пока снова не сядешь. Такие дела.

Что со мной случилось — я просто устала. Когда у тебя зависимость, ты вечно на взводе; это отнимает столько сил. Когда я была в окружном СИЗО после того, как меня схватили, у меня началась ломка, потому что я осталась без дозы. Когда ломка прошла, я это поняла, как будто свет зажегся. Я решила завязать. На этот раз моя жизнь должна будет пойти по-другому.

14

— Мисс Холл, вы можете перестать плакать, мисс Холл?

Если заключенная не может перестать плакать, они ставят галочку в графе «риск самоубийства». Ими движет не надежда спасти жизнь. Они

пытаются избежать бумажной волокиты и внутренних расследований.

Меня перевели в другую часть тюрьмы, в стационар, где никто не мог услышать моих криков, никто, кроме дежурного копа. Они следовали протоколу поведенческой таблицы. Я была одна в голой камере, без одежды и без простыней на кровати, в отделении, где держат невменяемых.

Моя мать сидела в зале суда, не в силах спасти меня, но в каком-то смысле она спасала меня самим своим существованием. Теперь же у меня не было никого, как и у Джексона.

В те дни, когда меня записали в самоубийцы, я поняла, как кто-то мог прийти к мысли, что самоубийство может быть способом рассчитаться за все с этими людьми. Когда тебе дают только ложки и мягкую пищу, никаких вилок и ножей, это заставляет тебя размышлять, каким способом можно использовать запретные принадлежности. Когда тебе не дают ни простыней, ни подушек, сам собой возникает вопрос, как удушить себя, чем и к чему привязать. Но я не хотела покончить с собой. Мои мысли были заняты Джексоном и тем, что нам теперь делать, когда мы осиротели.

Джексон был крупицей реальности, вокруг

которой крутились мои мысли. Мне виделось его милое простодушное лицо, казавшееся еще более простодушным из-за чубчика, придававшего ему несовременный вид, словно из эпохи брильянтина. Он не причесывался. Его волосы завивались сами над широким лбом. Джексон был красавчиком, как и его отец. Но, в отличие от отца, он всегда старался найти что-то светлое в жизни.

Когда мы только переехали в Л-А, Джексон слышал гудок овощного грузовика, остановившегося на нашей улице, и выбегал из дома посмотреть, что он там привез. Водитель грузовика вылезал и открывал фургон. Собирались старухи в домашних халатах, выстраиваясь в очередь за бакалеей. Я считала, что покупать с грузовика могут только мексиканцы, а мы пойдем в супермаркет и купим все, что нужно, как белые люди. Но Джексон настаивал, чтобы мы встали в очередь. Мы покупали авокадо, манго, яйца, хлеб и сосиски, свисавшие с крыши фургона, и все это стоило вдвое дешевле, чем в супермаркете. Так мы перезнакомились со всеми нашими соседями.

Джексон верил в этот мир. Я рассматривала его лицо, закрыв глаза. Чувствовала его влажную ладошку в своей руке. Слышала его голос, чувствовала тепло его тела, когда он обнимал меня

за талию.

Я сосредоточилась на крупице Джексона, на ощущении его близости. Что бы со мной ни сделали, они не коснутся этой крупицы. Только я могла касаться ее, касаться и быть рядом с ним.

Я никак не могла связаться с ним. Мне отказывались говорить что-либо. Я была нужна ему, но ничего не могла поделать. Я лежала в этой крохотной голой камере и пыталась увидеть Джексона, мысленно навестить его.

Джексону хотелось, чтобы я знала то, что знает он, изучала, что он изучал, поэтому он проверял, какие колонны я знаю, когда прочитал о них в книжке-раскраске про Грецию, которую ему дала моя мама. Если там сверху были разные гроздья, я говорила наугад: «Коринфские». Он спрашивал меня так, словно мой ответ был для него гарантом истины. «А пята — это вся площадь моей ступни или только это задняя часть?» Он кивал, когда мои ответы совпадали с картиной мира, которую он выстраивал у себя в уме, с правильными именами и определениями, с фактами. Он проверял свои факты. «Мамочка, эта кошка не могла быть чьей-то, потому что она без ошейника». Когда по Альварадо-стрит прошел человек с клюшкой для гольфа, которой он бил по телефонным столбам

и по автобусной остановке, Джексон сказал, что у этого человека не в порядке мозг, что это болезнь и он надеется, что ему полегчает.

Ко мне пришла с проверкой Джонс, которая была назначена моим тюремным консультантом. Консультант — это вовсе не тот, кто консультирует. Твой тюремный консультант определяет твой режим содержания, а также когда и в каком случае тебя переведут на общий режим. Твой консультант ведет учет поведения и докладывает в комиссию по УДО, если ты можешь рассчитывать на него. Консультанты обладают огромной властью над заключенными, и все они говнюки.

Я спрашивала Джонс, можно ли как-то узнать, что Джексон в порядке. Не выписали его из больницы? Какие у него травмы?

— В больницах действует положение о защите личной информации, Холл, — сказала Джонс.

— У вас есть дети, лейтенант Джонс?

— Только его законный опекун или назначенный судом адвокат может узнать, в больнице он или нет, — сказала Джонс. — Ты не его опекун, Холл.

— Но кто его опекун? Мне нужно узнать, в каком состоянии мой сын.

Она стала уходить от моей камеры. Я обра-

тилась к ней со смирением в голосе, надеясь вернуть ее.

— Пожалуйста, лейтенант Джонс. Пожалуйста.

Я дошла до этого. Я умоляла садистку голосом маленькой девочки.

Джонс остановилась, разыгрывая порядочность.

— Мисс Холл, я знаю, что вам трудно, но вы попали в такое положение на сто процентов из-за тех решений, которые сами приняли, и действий, которые сами совершили. Если бы вы хотели быть ответственной матерью, ваши решения были бы другими.

— Я это знаю, — сказала я, роняя слезы на пол камеры.

Я стояла на четвереньках, опустив лицо к окошку-кормушке, потому что только так можно было общаться с людьми в коридоре.

Я пыталась представить, что бы сделала Сэмми. Она бы не плакала. Это было трудно. Но я поклялась, что не буду плакать.

Я сосредоточилась на том, чтобы выбраться из отделения для невменяемых, чтобы вернуться в карцер и выбраться из карцера в общий режим, чтобы попытаться позвонить по телефону, связаться с адвокатом, получить информацию,

сделать что-то.

Однажды ночью мне приснилось, что я в постели с Джимми Дарлингом, на ранчо во Влансии. Джексон спал в детской кроватке. Джимми сказал, что ему приснился плохой сон, в котором меня забрала полиция. Он прижался ко мне, радуясь, что это только сон. Я тоже обрадовалась, но потом проснулась и увидела на потолке зарешеченные белые лампы, жужжавшие все время.

Джимми не любил меня такой любовью. Когда меня на самом деле забрали, он перешагнул через меня. Я поняла это, когда услышала его голос по телефону в окружной тюрьме.

Нельзя вечно оставаться в отделении для самоубийц, как и в карцере. Эти камеры требуются для других заключенных. Через три месяца после смерти матери и через четыре после *ночи в цепях* меня перевели в общий режим, во двор «B», в блоке 510.

Блок содержит 260 женщин на двух этажах с открытой общей комнатой и будкой надзирателей — полицейским участком — в центре. Камеры там большие, гораздо больше, чем в карцере, и заставлены двухэтажными нарами. Каждая камера была рассчитана на четверых женщин, но вмещала восьмерых.

Я была рада узнать, что попала в камеру к Конану, но, к сожалению, там же была и Лора Липп.

Она подошла ко мне, когда я натягивала простыню на матрас.

— Эй, привет, я Лора Липп, и я из Яблочной долины.

Я продолжала застилать постель.

— Это в пустыне Мохаве. Она суше пыли, и там нет яблок. Но есть кафешка «Яблочная пчелка».

Лора Липп не помнила нашу совместную восьмичасовую поездку в автобусе. Я не стала поднимать этот вопрос, мне не хотелось ее фамильярности.

Когда я убирала свою скромную собственность — фотографии Джексона — в маленький шкафчик, вошла другая сокамерница.

— Э, нет! — выкрикнула она, глядя на меня. — Тупорылых сучек в этой камере не будет. Пиздуй отсюда.

Ее звали Слеза. Она была здоровой и могла бы уничтожить меня, если бы мы стали драться, но за меня вступился Конан.

— Она своя. Я за нее ручаюсь.

Они вышли в коридор перетереть.

— Только я думаю, «Яблочную пчелку» закрыли, — продолжала Лора как ни в чем не быва-

ло. — У нас многое меняется. И все не к лучшему.

Я приблизилась к Фернандес и сказала Лоре закрыть варежку.

— Но наш городок имеет свою историю, — продолжала Лора, на всякий случай отойдя подальше от меня. — Это было прекрасное место, и все пошло под откос. Когда-то мы были ковбойским краем. К нам съезжались все поклонники кантри и Дикого Запада из-за Роя Роджерса. У него был музей с большой витриной всех его блесен для рыбалки. Он владел гостиницей «Яблочная долина». Мой отец возил нас туда на обед по воскресеньям. Беззаботное было время. Тогда не было таких проблем, как сейчас. Знаешь, что тогда волновало людей? Статическое напряжение. Это была главная страшилка по телику, и люди боялись до жути. Статическое напряжение.

Вернулись Конан и Слеза.

— Чтобы все свое держала в ящике! — проорала мне Слеза, но уже помягче, давая понять, что разрешает мне остаться. — И никто, блядь, не открывает воду, ни кран, ни смыв, пока я не встану утром.

Также с нами в камере была Кнопка Санчес, которая родила девочку в первый день в тюрьме. Остальных трех зэчек Сэмми называла «пере-

летными». У них были короткие сроки, они ни с кем не общались и старались не попадать в неприятности.

Я не могла понять, как это я была тупорылой, а Лора — нет, но потом догадалась, что Слеза брала с нее дань за проживание в нашей камере. Никто не хотел делить камеру с детоубийцей, так что ей, вероятно, было некуда деваться.

В обед я пошла в столовку и увидела Сэмми в очереди. Я попыталась заговорить с ней, но она взглянула на меня и покачала головой. Коп сверканул на меня фонарем. «ДВИГАЙ СВОЙ ПОДНОС», — рявкнул он через микрофон. Тебе дают десять минут, чтобы поесть этой дерьмовой еды, причем молча. В основном в столовку ходят те, у кого нет денег. Слеза всегда ест только в нашей камере, ей лично приносят еду из столовой, лапшу рамен, в которую она наливает воду и греет кипятильником.

В тот вечер я внесла свое имя в лист регистрации на телефонный разговор и встала в очередь в общей комнате. Говорившие кричали в трубки, потому что рядом с ними тоже кричали. Объявления на шлакобетонных стенах были такими же, как и в приемном блоке, набранные курсивом: *«Леди, не нойте. Леди, сообщайте служащим,*

если чувствуете признаки норовируса». Двери и перила были выкрашены тем же грязно-розовым цветом, вероятно рассчитанным на то, чтобы смягчить нрав таких изолированных от общества беспредельщиц, как мы. Телефонная очередь продвигалась быстро, потому что многие из тех, кому звонили, не брали трубку. Я набрала номер мамы. У нее имелся счет компании «Глобал-телесвязь», монополизировавшей связь в СИЗО и тюрьмах. Нельзя попасть на номер, не имеющий счета «Глобал-телесвязь». Я знала, что мама мертва. Но все равно не могла не попытаться. Я не дозвонилась. Потом я позвонила адвокату Джонсона, зная, что все публичные защитники используют «Глобал-телесвязь», но он не ответил.

Несколько дней после этого я записывалась на телефонные звонки, ждала в очереди и набирала номер адвоката. После восьмой попытки мне наконец повезло. Я стала умолять его помочь мне получить информацию о Джексоне.

Он сказал, что попытается и что ему понадобится по крайней мере неделя. Когда мне снова удалось дозвониться, он сказал, что пытался выяснить, кто был назначен делопроизводителем Джексона, но безрезультатно. Такая работа, как он сказал, под силу только адвокатам суда по

защите прав иждивенцев.

Я спросила его, предоставит ли мне государство такого адвоката, стараясь сдерживать тревогу, чтобы не показаться озлобленной или отчаявшейся.

— Ну нет, — сказал он.

Повисло молчание, словно он ждал, что я стану давить на него, как будто он был обязан мне помогать, но он первым заговорил и сказал, что чрезвычайно загружен своими прямыми обязанностями, к которым я не отношусь, и вынужден завершить разговор.

Как только я пришла в норму, я попыталась получить тюремную работу. Мне посоветовала Сэмми. Она не была в моем блоке, но была во дворе «В», и мы могли видеться в свободное время.

— Белым девочкам достается вся лучшая работа, — сказала она. — Ты можешь быть секретаршей, сидеть с кондиционером и печатать письма, а нам, черным и коричневым, приходится вытаскивать использованные тампоны из отстойника за восемь центов в час. Пользуйся возможностью.

Все секретарши действительно были белыми. Я тоже подала заявку, но для этой работы нужно было не иметь дисциплинарных взысканий, а

также быть в любимчиках у копов.

Сэмми, Конан и я записались в деревообделочный цех, где ставка была двадцать два цента в час — хорошие деньги. Конан бахвалился, что с такими деньгами он сможет накопить на татуировочную машинку и подрабатывать, а заодно и себе сделает хорошую татуировку. Был вечер пятницы, мы сидели в общей комнате и ждали, когда покажут кино. Показ задерживали, потому что в том кино, что наметили к показу, обнаружилась нецензурная лексика. В итоге нам опять показали «Шофера мисс Дэйзи», который показывали в прошлую пятницу.

— А какую наколку ты хочешь? — спросила Сэмми Конана.

— Здоровый такой портрет Саддама Хусейна, — сказал Конан. — Прямо тут набить. — Он надул бицепс. — Чисто позлить этих мудаков.

Тем временем два копа пытались справиться с кинопроектором.

— Поддержим наши войска! — выкрикнул Конан.

— Заткнись, бля! — прокричал кто-то.

Начиналось кино.

Все мои сокамерницы получили работу в деревообделочном цехе, кроме Кнопки Санчес,

которая была слишком молода, чтобы работать по закону. Живот у нее втянулся. И я не замечала признаков горя на ее лице. Дочку у нее забрали. Она ходила в школу, а после уроков играла со своим домашним кроликом, которого поймала в зоопарке в главном дворе и приручила. Он жил в маленькой коробке у нее под нижней шконкой, а засыпкой ему служили разорванные прокладки. Кролик не гадил где попало. Санчес брала его с собой на уроки, пряча в казенном лифчике. «Мое дите», — говорила она. Она сшила ему кукольную одежду. Сделала поводок. И тайком выносила его в главный двор, чтобы он мог повидать своих сородичей. Иногда кролик кусал ее, а еще ее кусали блохи с клещами, которые жили на нем. Слеза сказала ей избавиться от кролика. В каждой из восьми камер была своя Слеза. Самая мощная баба диктовала всем правила. Слеза пригрозила Кнопке закатать ее в матрас вместе с кроликом и выставить в коридор. Они жестоко подрались. Кнопка была мелкой, а Слеза огромной, но молодежь выручает безбашенность. Они отфигачат тебя по башке чем попало, даже не задумываясь. Кнопка выложилась по полной и уделала Слезу щипцами для завивки. Кролик остался при ней.

— Не опускай руки, — сказала мне Сэмми.

Она знала много женщин в ситуациях, похожих на мою. При всей ее плачевности, меня утешало, что я такая не одна. Другие нашли способ как-то справиться с этим.

Когда я была в окружном СИЗО Лос-Анджелеса, рухнули башни Всемирного торгового центра. Это случилось вскоре после моего ареста. У нас не было доступа к новостям, но люди узнавали их от родных по телефону. Все стали сходить с ума, только одна девушка сказала, что ее утешает мысль, что не только ее жизнь накрылась медным тазом. Остальные стали гнать волну на нее, но я ее понимала.

— Вы вообще были близки? — спросила Сэмми про мои отношения с мамой.

— Нет.

— А здоровье у нее было?

— Нет.

— Тебе в итоге все равно мог бы понадобиться другой опекун для ребенка. На воле случается такое, что ты не контролируешь происходящее.

Сэмми сказала, что я могла бы накупить на заработанные деньги марок и начать рассылать письма в госучреждения касательно Джексона. Она была готова помочь мне. В библиотеке имелись справочники с адресами разных учре-

ждений.

— Тебе надо начинать с того места, где ты есть, — сказала она.

Это был ее девиз.

В наш первый рабочий день в деревообделочном цехе тюремно-трудовой инструктор сказал, что мы получим превосходные рабочие навыки, которые обеспечат нам трудоустройство после выхода на волю.

— А что, если кому-то не светит выйти? — спросила Слеза.

— По-хорошему, на тюремные работы таких не берут, — сказал он. — По-хорошему, мы не можем вас привлекать, поскольку вам не нужна рабочая практика, раз вы не выходите, а наша задача именно в том, чтобы обучить людей рабочим навыкам. Но у нас масса заказов, которые ждут выполнения, так что вам повезло. Вас здесь научат делать мебель, и могу сказать вам, леди, что столяры зарабатывают большие деньги.

На Конана это занятие произвело впечатление.

— Е-мое, нам дадут настоящее дерево? Циркулярные пилы? Усорезы? В Васко даже не дают настоящего дерева. Там вместо дерева ДСП. И ты склеиваешь эти куски. Твой единственный инструмент — клей. Тебе не дают даже гвоздь

забить, а то это все раскрошится и развалится. Нас там ничему не обучали.

Я сказал инструктору: «Вы все говорите о столярном деле, а мы не делаем ничего, чтобы освоить его». А он мне: «Это потому, что вы, люди, животные, и если мы дадим вам инструменты, вы поубиваете друг друга». Я его спрашиваю: «Чему нас здесь учат?» А он говорит: «Вас здесь учат работать. Приходить вовремя. Как положено рабочим». Как будто это что-то значит. Мы ни хрена не учили на древообделке в Васко. Мы весь день нюхали клей. А потом они выпустили этот клей без запаха. «Не морщи нос», так его называли, название было такое, клей «Не морщи нос». Его не понюхаешь. Никакого толку. Ни тебе электрических инструментов, ни технического опыта, ни прихода. Но это было получше другого тюремного труда.

В цеху дальше по коридору ребята делали защитные очки для тюремных работ. А в соседнем здании для тюремных работ делали *ботинки*.

Меня поставили за верстак.

— Я стопроцентная норвежка, — сказала моя новая напарница по верстаку.

Норвежка была шести футов ростом, с длинными светлыми волосами, заплетенными в

несколько кос. Из-за верхнего края спецодежды у нее виднелась татуировка головы морского орла. У нее на груди был орел, держащий в клюве американский флаг. Вид у него был безумный, даже более безумный, чем обычно у орлов.

Инструктор поставил Лору Липп рядом со мной и норвежкой.

— Можно мне перейти? — спросила я.

— Нет, — сказал он.

— Слава богу, — сказала норвежка, — белые.

Она окинула взглядом Конана, Слезу и Рибок, троих черных, с которыми я вошла.

— Как вы к черным относитесь? — спросила норвежка нас с Лорой Липп.

Лора Липп, польщенная таким редким вниманием (хоть кто-то спросил ее мнение), стала давать развернутый ответ.

— Ну, я стараюсь не придавать значения, кто какого цвета, но не всегда. То есть некоторым пришлось зайти дальше, чем другим, чтобы…

— Давала им нырять тебе в пилотку — вот что мне нужно знать.

Лора задохнулась.

— Господи, нет!

— Я работаю за этим верстаком и должна знать, кто есть кто, — сказала норвежка.

— Ну, раз ты затронула эту тему, я согласна насчет сексуальных отношений, поскольку мой муж был испанцем, и это была катастрофа, это разрушило мне жизнь, но, если хочешь знать, я как-то вечером упала в обморок, и девочки, пришедшие мне на помощь, были черными, и…

Норвежка потеряла интерес к Лоре Липп и пододвинулась ко мне.

— Тебе нравится «Айрон мэйден»? — спросила она. — Я их играю.

— У нас есть радио?

— Я радио в этой части цеха.

В тот день норвежка напевала разные песни. Чаще прочих «Бегите на холмы» и «Железный человек». Я снова попала в школу. Но когда она спросила, откуда я родом, и кивнула со словами «Фриско, клево», я почувствовала, что я очень далеко от родных мест. Ее я ни о чем спрашивать не стала.

Меня ни в малейшей степени не занимали подробности из жизни ее братьев и приятелей из «Нацистских бунтарей»[29] в Сан-Бернардино или где бы то ни было. Пусть это снобизм, но есть культурная разница. Район Сансет не был таким

---

[29] Примечания: 29

«Nazi Lowriders» (*англ.*) — тюремная банда белых расистов, действующая в Южной Калифорнии.

уж утонченным местом, но рядом был Хейт-Эшбери[30], и потому мы чувствовали близость к более причудливой культуре, нежели обычная шпана, хотя среди нас были типы, ставшие потом законченными белыми шовинистами, такие как Дин Конте, унылый паренек из моей школы, над которым вечно стебались.

Дин Конте перемерил всевозможные личины маргинальности: книжный червь, поклонник Новой волны, скейтбордист, мирный панк, хардкорный панк, потом бритоголовый и в итоге неонацист в костюме при галстуке. Когда он был бритоголовым, Дин со своими дружками разгромил ярмарку на Хейт-стрит. Около шести вечера, когда ярмарка закрывалась и помост со столами убирали в грузовики, воздух на уровне головы — в зоне поражения — наполнился на $^{9}/_{10}$ пивными бутылками, спасибо бритоголовым. А раньше, когда Дин еще был книжным червем, он пригласил компанию ребят, прогуливавших школу, в дом его отца на Хьюго-стрит, где мы выпили весь отцовский алкоголь и подожгли занавески. Я не вспоминала о том дне, пока не увидела выросшего Дина по телевизору. Его пригласили на

[30] Примечания: 30
Центр психоделической революции 1960-х.

передачу как представителя белого шовинизма. Один из бритоголовых во время эфира кинул стул в ведущего и сломал ему нос.

Дин стал знаменитостью. Но я смотрела на него и видела мальчишку, а не взрослого. Я не оправдываю его идеи. Просто я знала его когда-то. Он был влюблен в Еву, а Ева филиппинка, но это его не останавливало. Обычная история. Я знала одного парня в школе, который потом попал за решетку и вступил в «Арийское братство». У него была черная подружка и цветные дети. В жизни все очень запутано, нравится это кому-то или нет. В людях больше тупизны, чем крутизны, нравится это кому-то или нет.

Перед ланчем Лора Липп просверлила себе руку сверлильным станком, и ее отвели в медсанчасть. На этом деревообделка для нее закончилась. Норвежка сказала, это ей в наказание за то, что вышла замуж за чурку. Норвежка была в тюрьме так давно, что не знала, что это словечко уже вышло из моды, его больше не использовали, и мне вдруг стало жаль ее.

Не знаю, хорошо это или плохо, но у нас с Джимми Дарлингом была привычка иногда жалеть всяких мракобесов.

Как, например, одинокую женщину за стойкой

в пустом баре, с которой мы познакомились, катаясь по Валенсии, где Джимми преподавал. Нам нравилось выискивать что-нибудь достойное внимания среди этих жутких торговых рядов. Как-то вечером мы проехали мимо трейлерного парка в Санта-Кларите с обшарпанной табличкой «ЖИЛЬЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ». Ого, сказал Джимми. Можно только гадать, что это значит. Мы стали рассуждать, что у них там могут быть стеклянные душевые кабинки. Кровати с водяными матрасами. Это место для взрослых. Только для взрослых. Мы заметили таверну на заброшенной проселочной дороге, тоже почти заброшенную. Барменша сказала, что скоро купит это заведение, но ей не нравится мексиканская клиентура.

— Ты с ними только отвернись, — сказала она, — сразу прирежут.

Она спросила нашего совета, как ей повысить число белых посетителей.

— Предложите сэндвичи, — сказал Джимми.

— Черт, это хорошая идея.

Они с Джимми принялись на все лады обкатывать ее кулинарию.

— Пикули, — сказал Джимми. — Картофельные чипсы.

Она не понимала, что он шутит. Он шутил с

серьезным видом.

На стене над нами висели плакаты, гордо демонстрировавшие мебель, собранную заключенными Стэнвиллского тюремно-трудового деревообделочного цеха.

Вот что мы делали:

Судейские кафедры, скамейки для присяжных заседателей, калитки зала суда, свидетельские трибуны, пюпитры, судейские молотки, панели для судейской половины, деревянные клетки для содержащихся под стражей обвиняемых в зале суда, деревянные рамки для государственной печати, используемой в кабинете судьи, и судейские кресла, которые обивались в следующем цехе.

Помимо госзаказа, который мы выполняли, кто-то когда-то соорудил детскую парту, как в школах, со столешницей на петлях, под которой открывался ящик для письменных принадлежностей. За партой стоял соответствующий стульчик. Этот школьный уголок встречал нас при входе в цех.

— Меня печалит эта маленькая парта, — сказал Конан.

Я заставляла себя не смотреть в ту сторону.

Когда в голову лезли мысли о матери, умершей окончательно и бесповоротно, я напоминала

себе, что Джексон не умер. Она да, но не он. Я, как могла, утешалась этим обстоятельством.

По выходным мы с Сэмми гуляли в главном дворе. Когда ты первый раз видишь тысячи людей в одинаковой одежде, это ошеломляет.

Люди кучковались, подтягивались и отдыхали, играли в баскетбол и гандбол. Девочки выносили гитары и бренчали для нескольких слушательниц (никаких сборищ больше пяти человек). Кто-то что-то обсуждал, кто-то принимал наркотики. Другие ласкались в туалетных кабинках или под открытым небом, выставив наблюдательниц — атасниц — следить за копами.

Было лето, и горячий ветер трепал нашу свободную одежду всех оттенков синего — от светлейшего голубого до темно-синего и гранитно-зернистого денима — наши фальшивые джинсы. Деним не фальшивка. Но выдавать его за джинсы — это фальшь. Штаны, топорно сшитые из денима, с эластичным поясом и одним кособоким, слишком маленьким карманом — это не джинсы в моем понимании.

Мы с Сэмми шли по дорожке. Мы прошли мимо 213 девушек, и все они махали ей. В главном дворе свои порядки, наравне с государственными.

Повсюду стояли таблички со словами «БЕГАТЬ

ТОЛЬКО ПО ДОРОЖКЕ».

Если ты побежишь в любом другом месте, тебя могут застрелить.

— Кто достал ей кусачки?

— О ком ты говоришь?

— Энджел Мари Яники.

— О да, скажи, красотка? — сказала Сэмми. — Она была самой классной девчонкой в Стэнвилле.

— Где она достала кусачки?

— От кого-то с воли. Какого-нибудь парня, запавшего на нее. Я тебе говорю, она была красавицей.

Из громкоговорителя прозвучали приказы — ясно, четко и громко.

— Вы, за сортирами. Я вижу, как вы курите. Бросить немедленно.

— Лозано, ты вышла за границу.

По периметру тюрьмы кружил грузовик, по грязной дороге между забором под напряжением и внешним, крайним забором.

— Копли, ты оставила свою вставную челюсть у гандбольной площадки, — послышался смех надзирателей рядом с микрофоном. — Копли, хе-хе, подходи на наблюдательный пост за своими зубами.

Когда бывает жарко, надзиратели в основном остаются на наблюдательном посту с кондиционером и следят за нами в бинокли. И когда бывает холодно, они также не выходят оттуда. Двор большой, а они ленивые.

— Какую слепую точку она использовала?

— За качалкой. Поэтому у нас такой режим теперь. С Энджел Мари Яники началась новая эра.

— Им не видно забора за качалкой?

— Не с первой башни. Но им теперь это не нужно. Забор под электричеством.

Грузовику понадобилось не меньше десяти минут, чтобы сделать круг. Возможно, одиннадцать.

Откуда надзиратели знают, чья вставная челюсть: с краю искусственных десен указан номер заключенной?

Мы проходили мимо китового пляжа, когда надзиратели принялись сгонять загоравших.

— Китовый пляж, без лифчиков. Китовый пляж, я сказала, без лифчиков. Все встали и оделись.

Китовый пляж — не самое удачное название, но так называют это место за прогулочной дорожкой, где женщины мажутся маслом и жарятся. Лифчики — это самодельные нательные рубашки. В главном дворе не полагается оголяться,

но людей это не останавливает, они мажутся пищевым маслом или маргарином, который используют на центральной кухне, под названием «Не верится, что это не масло»! Или как говорит Конан: «Не верится, блядь, что это дерьмо не масло».

Никто не бегает по дорожке, поскольку это женская тюрьма, и мы не привыкли убивать друг друга. Но это не касалось Конана, пробежавшего трусцой мимо нас с Сэмми.

— Я сейчас порешила десять тысяч мошек открытым ртом!

Он развернулся и побежал назад, к нам.

— Попробуй закрыть рот, — сказала Сэмми. — И проблема решена.

Мимо поспешно прошла одна из копов.

— На столах не сидеть! — проорала она.

Также не разрешалось сидеть под столами, в единственном месте, где можно было укрыться от солнца во дворе. Сидеть можно было только по уставу.

Конан проводил сердитым взглядом женщину в форме и кивнул одобрительно:

— Без одежды, скажу я вам, она не такая.

В Стэнвилле почти всё, что говорят для красного словца, вранье. Но даже если человек отвечает

на вопрос, это такое же вранье. Конан травил байки покруче дозорных вышек, на которых вооруженные фуражки следили за нами и жевали свиные шкварки.

— Она мне говорит: «Ты не просто вылизывай, я хочу, чтобы ты *дул* в меня, как будто я дудочка». Так и сказала. *Как будто я дудочка.*

Вдоль дорожки трудилась ландшафтная бригада, распыляя глифосат на сорняки. Их задачей было не оставить во дворе ничего живого, кроме грязи. Лора Липп, которая теперь работала в дворовой бригаде, говорила, что они «вовсю стараются». Порыв ветра из долины поднял земляную пыль, и мы увидели, что к нам идет новый коп по имени Гарсия.

Новые служащие всегда привлекают к себе внимание как заключенных, так и копов, но Гарсия казался каким-то особенно уязвимым; он как будто не мог найти себе места в главном дворе, состоящем из трех дворов: Б, В и Г — три тысячи женщин и шесть фуражек.

Фуражками мы называли их в честь Элмера Фуража, непутевого мультяшного охотника. Это Конан подал идею.

— Эй, страж-фураж, — обратился Конан к Гарсии.

Тот напрягся на секунду, решая, стоит ли связываться с Конаном или лучше сделать вид, что не услышал.

— А как насчет кафешек «Фуражка дяди Бена»? — Конан был в приступе остроумия. — Рифмуется с «шарашка вошь ебена», да? Но кто такой дядя Бен? Они придумывают эти имена, и мы делаем вид, что верим им, как будто это взаправду. Словно дядя Бен — это реальный шеф-повар, а не герой комикса.

— Моя семья *всегда* там ела, — сказала Лора Липп с нажимом, продолжая распылять глифосат.

— Мы ходили в «Ого»[31], — сказал Конан.

— С твоей *семьей*? — Лора качнула головой.

— С моей девочкой и ее детьми, — сказал Конан. — Там хорошее детское меню. Но это… ты замечала, что «о» в «Ого» то же, что и «О» в «IHOP»?[32] Я был поваром в «IHOP». Чтобы сделать блинчики, ты добавляешь воду в смесь. Это «Международный дом H_2O».

---

[31] Примечания: 31

Hooters (*англ.*) — *букв.* «сиськи», американская сеть ресторанов с полуобнаженными грудастыми официантками.

[32] Примечания: 32

International house of prayer (*англ.*) — «Международный дом молитвы», американская сеть ресторанов домашней кухни. Аббревиатура IHOP созвучна фразе «I hope» — «Я надеюсь».

Я тоже была официанткой в «IHOP», сразу после школы. Это, кроме всего прочего, сближало меня с Конаном. У меня был номер 43, и повара звали меня: «Сорок третья! Твой заказ готов!» Что, как я поняла много позже, было подготовкой к тюремному быту.

Чтобы устроиться работать в «IHOP», вам сперва нужно пойти в супермаркет типа «Уолмарта» и купить рабочую обувь. И там вы понимаете, если еще не знали этого, что большая часть взрослой обуви, которую там продают, для строительных площадок, больниц, тюрем, ресторанов и школ, а детская обувь представляет собой уменьшенные версии взрослой обуви. Для официантов, медсестер и рабочих. Дешевые фабричные подделки для людей, вынужденных работать на этих дерьмовых работах или же натворить что-нибудь и переехать на казенную хату, чтобы с полным правом носить еще более дерьмовую обувь, сделанную руками зэков.

Этот новый коп отвел Сэмми в сторону и начал задавать ей вопросы. Он шел по известной дорожке: я хочу узнать тебя поближе. Вот как здесь копы добиваются своего — все они говорят одно и то же, теми же словами: я хочу узнать тебя поближе.

Есть такие копы и служащие, которым нравится крутить шуры-муры с заключенными. Сэмми уже сближалась с начальником техобслуживания, гражданским, который катал ее в своем грузовике и приносил ей гамбургеры из кафетерия для служащих, а потом они шли в дренажную канаву, где он приходовал ее, не снимая казенной джинсовки. У нее также был медбрат из квалифицированного медперсонала (из «нюхачей», как мы их называем), который раз в неделю мял ей грудь и угощал табаком. У Конана были надзирательницы — лесбиянки либо натуралки, находившие его достаточно мужеподобным.

— Вы мне кого-то напоминаете, — сказал Гарсия Сэмми. — Из родных мест, в Филадельфии. Вы откуда?

— Филадельфия, ха, — встрял Конан. — Вы замечали кое-что в Колоколе Свободы? Его кокнули. И никому нет дела. Выставляют напоказ эту щель на видном месте, словно гордятся ей.

Гарсия перевел внимание с Сэмми на Конана. Его взгляд не вызывал сомнений: исчезни, пока я обрабатываю эту цыпочку.

— Это на вас казенная одежда, мэм? Потому что я вижу боксерские шорты, которые здесь не разрешаются. Я мог бы вынести вам замечание.

На выходе из рабочей администрации я налетела на школьного учителя, Г. Хаузера. У меня случилась запарка в администрации, потому что на меня сработал металлодетектор, и они перерыли все мои вещи. Даже вытащили из пакета и раскрошили сэндвич с колбасой, которые нам выдают перед харчевней, чтобы брать на работу. Мне пришлось раздеваться и терпеть шмон в маленькой кабинке за занавеской в администрации, и я кипела злобой, когда вышла оттуда. Но при виде Хаузера что-то щелкнуло во мне, как выключатель. Я приветливо поздоровалась с ним. Это не было сознательным решением — изменить интонацию голоса. Это случилось автоматически. Нужда — модулятор голоса. Нужда меняет твой настрой, делает голос мягче, приветливей. Я этого не просчитывала, просто для меня все изменилось с тех пор, когда я виделась с ним прошлый раз.

— Эй, — сказала я, — я как раз думала, как бы нам пересечься.

Я совершенно забыла про него. Я о нем ни разу не вспоминала.

— Я во дворе «В», — сказала я, — и я думала о вашем предложении достать мне что-нибудь почитать. Было бы здорово.

Он расцвел, словно я сделала ему одолжение, тогда как это я просила его. Мы еще поболтали немного, и он сказал в порыве воодушевления:

— Почему вы не запишитесь на мои занятия?

— Здесь дают только подготовку к школьному аттестату. Это уровень образования наших надзирателей.

— Ну, да, — он сдержанно хохотнул, — но, поскольку это все, что у нас есть, я строю программу на чтении. Мы читаем книги и обсуждаем их. Попробуйте. Я был бы рад видеть вас в классе.

И он сказал мне, как записаться к нему на занятия.

Сэмми была права, когда сказала, что работа поможет мне сохранить рассудок. Я это поняла. Работа отвлекала от ненужных мыслей. Вместо них я сосредотачивалась, как и остальные, на текущих задачах.

Конан вырезал из дерева самотыки. Он принялся работать над ними, как только наш инструктор открыл марафон по чтению книжек в мягкой обложке. Каждый день он приходил на работу с книгой, садился на свое место и погружался в чтение. Это были бульварные романчики с пошлыми картинками на обложках и рельефными буквами, в духе «Дважды убитой». Замусоленные

и разбухшие от влаги, из тех, что люди оставляют в благотворительных коробках. Инструктор читал их, не отрываясь, по семь часов, день за днем, пока Конан доводил до совершенства свои творения шлифовальным и фасочным станками. Они со Слезой соревновались, у кого выйдет лучший самотык. Кроме того, у них имелись контакты на центральной кухне на запретную продажу огурцов. Кухни блочного уровня получают огурцы нарезанными, для предотвращения неуставного и нелегального использования провизии, то есть в качестве самотыков. Заключенные, работающие на центральной кухне, продают огурцы целиком с черного хода.

Норвежка вырезала деревянные свастики и пентаграммы. Мое же нововведение касалось колбасы. Во время обеденных перерывов я стала поджаривать мою колбасную нарезку электрическим тавром, которым мы клеймили все свои продукты. На тавре значилось «ПУТК»: Производственное Управление Тюрьмы Калифорнии. Я была ответственной. Я заклеймила с обеих сторон свою колбасу, а потом и хлеб для сэндвича. Железо прекрасно поджарило хлеб и мясо. И я стала поджаривать сэндвичи всем желающим в обмен на пакетики растворимого кофе. Я научилась

прятать кофе на случай шмона после работы. Так я постигала тюремные порядки. У тебя норовят отобрать любую мелочь.

По субботам нам разрешалось ходить в библиотеку. Но все, что нам выдавали, — это Библии: версия короля Иакова и новая версия — этим ограничивался читательский выбор. Мы с Сэмми каждую субботу прочесывали справочники, пытаясь выяснить, кому я могу писать письма о Джексоне. Однажды, выходя из библиотеки, я опять столкнулась с Хаузером. Скоро я должна была начать заниматься у него.

Я сказала ему, что там нечего читать.

— Я знаю. Поэтому я заказал для вас несколько книг. Они еще не пришли? Пришлось заказывать на «Амазоне», потому что мы не можем давать вам книги напрямую.

Я представила руки Сэмми, сматывавшие удочку, с жертвой на крючке. «Медленно, — говорила она, — нужно делать это медленно».

— Я их еще не получила, — сказала я ему.

Требовалось время. На тюремной почте сортировали посылки для трех тысяч женщин.

Я продолжала звонить адвокату Джонсона, потому что он был единственным, с кем я могла

связаться, так как он пользовался «Глобал-телесвязью». Как правило, он не отвечал, но один раз все же принял звонок. Он сказал, что у него есть новость. Он увольнялся, после тридцати лет работы публичным защитником, и я больше не смогу связаться с ним по этому номеру.

Все казалось настолько безысходным, что мне с трудом верилось в реальность происходящего. Никому, кроме меня, не было дела до судьбы Джексона. А я не знала, где он. Я не могла поговорить с ним. Я застряла в тюрьме в Калифорнийской долине, под бескрайним знойным небом, с которого палило солнце, и тупо глазела на птиц поверх колючей проволоки, высчитывая, сколько времени понадобится грузовику на объезд всей этой территории по периметру. Воображая крутую и прекрасную Энджел Мари Яники, пролезающую сквозь забор.

Я то и дело прокручивала в уме воспоминание о том, когда Джексону было пять лет. Была осень, и моя мама поехала с нами в парк Тилден, в Восточном заливе. Над нами возвышались деревья с листвой насыщенного ярко-лилового цвета, в который я иногда красила волосы. Были деревья с золотой и багряной листвой. В Калифорнии такое не часто увидишь. Моя мама, Джексон и я сидели

и смотрели, как ветер качает эти разноцветные деревья. Джексон был заворожен.

— Такая красота пропадает ни за что, — сказала мама. — Завтра уже облетят.

— Но потом, бабушка, — сказал Джексон, — деревья отрастят новые листья, и они тоже станут цветными, как эти.

Джексон сказал, что это будет повторяться снова и снова, год за годом. Опадающие листья означали, что на их месте вырастут новые. Мама смотрела на него так, словно не могла понять, с какой он планеты.

Он был прирожденным оптимистом, и это качество он унаследовал не от нее и не от меня.

Когда Джексону было три года, он спросил меня, как сформировалась Земля.

— Как она попала сюда?

Я сказала, что никто не знает точно, но, возможно, был такой взрыв, который ученые называют «Большой взрыв».

— Но где были все, когда взрывался этот взрыв?

В его представлении люди существовали всегда. Люди, которые заботились друг о друге.

Адвокат дал мне телефонный номер службы детской опеки, где, по его словам, мне могли ска-

зать имя куратора по делу Джексона, но я могла звонить только тем, у кого был счет «Глобал-телесвязь». Я писала письма и старалась не сойти с ума. Одно письмо я послала на старый адрес Евы, и одно на адрес ее отца, но я почти не надеялась, что до нее дойдет хотя бы одно из них. Я позвонила Джимми Дарлингу, но звонок не прошел, так как он не пользовался «Глобал-телесвязью». Я сказала себе, что если когда-нибудь выберусь на волю, то взорву «Глобал-телесвязь».

Я получила посылку. Меня позвали по фамилии в почтовое отделение, как одну из тех счастливиц, у которых есть семья, поддержка во внешнем мире, и мне разрешили забрать посылку. Хаузер достал мне три книги: «Моя Антония», «Я знаю, отчего птица поет в клетке» и «Убить пересмешника».

— Это все, что он тебе достал? — сказала Сэмми, подавляя смешок. — Даже я это уже читала.

Мне стало грустно и слегка неловко за этого учителя, который хотел помочь мне. Я решила оставить их у себя, пусть даже не особенно хотела их читать. Они были связью с внешним миром. Но одна женщина в моем блоке предложила в обмен на три книги шампунь и кондиционер. Государство дает своим заключенным только

зернистое порошковое мыло для тела и волос. Возможность как следует вымыть и уложить волосы сделала меня счастливой, хотя бы на один вечер, ведь последний раз я могла позволить себе это еще до того, как меня арестовали, три года назад.

Я ходила на занятия Хаузера пару недель, когда он остановил меня после урока и спросил, понравились ли мне книги.

— Я с удовольствием читала их, — сказала я, — когда мне было четырнадцать лет.

Я не собиралась говорить этого. Это, несомненно, было опрометчиво для приручения моего Берндта.

— Господи, — сказал он. — Простите. Так неловко.

— Да ничего. Просто вы меня не знаете.

Он спросил, что бы хотела почитать, и я сказала, что не знаю. Я сказала, у меня много всего на уме, и сложно определиться.

Он достал мне еще книг. В одной, под названием «Пикап», рассказывалось о двух пьянчугах в Сан-Франциско в 1950-е. Я начала читать ее и не могла остановиться. А когда дочитала, сразу стала перечитывать. Я так и видела все, о чем там рассказывалось, хотя рассказчик не называет

почти никаких мест, кроме Гражданского центра и угла Пауэлл- и Маркет-стрит, где разворачивается канатный трамвай, что приводило в восторг Джексона, как и всех малышей. Я водила его туда смотреть на уличных музыкантов. С некоторыми из них был знаком Джимми Дарлинг. Джимми знал самых разных людей, в отличие от меня, и если мы случайно встречали кого-то, вечер получался особенным, они приглашали нас на концерт, или вечеринку, или закрытый кинопоказ.

Когда я была маленькой, на углу Паулл и Маркет был большой «Вулворт» с отделом париков в центре магазина. Мы с Евой заходили туда и примеряли парики, делая вид, что собираемся купить их. Пожилые леди, работавшие там, помогали нам убирать волосы в особые сеточки и накручивали бесподобные причесоны. Мы смеялись и дурачились перед зеркалами, прихватывали макияж и заколки, и фотографировались в фотокабинке, которая была внутри магазина. Иногда после этого мы шли в кафе «Зимс» на Ван-Несс-авеню, заказывали кучу еды и уходили, не заплатив. Это было не то же самое, что свалить, не заплатив, из более знакомого «Зимса» на Таравал-стрит. Мы ощущали особую изысканность

Старого города. Иногда мы заходили в музей, на Ван-Несс, чтобы спрятаться после «Зимса». Там была картина, которая нравилась Еве. Она называлась «Девушка с зелеными глазами». Среди ребят, с кем мы общались, было не принято ходить по музеям, но Еве никто был не указ, и ей нравилось смотреть на эту девушку с длинной шеей, словно стянутую полотенцем. Она пристально смотрела на нас, а мы на нее.

Всю долгую эру моего детства я носилась по улицам как типичный сорванец и думала о доме не больше, чем подростки с плаката на станции «Грейхаунд» на Шестой улице. Силуэты высоких фигур, словно длинные тени, и слова: «БЕГЛЕЦЫ, ОБРАТИТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ». И номер горячей линии. Мое детство было эрой горячей линии. Но мы никогда не звонили ни на одну из них, не считая розыгрышей, и я не была беглянкой. У меня даже была мама. Я могла бы узнать ее поближе, но я не сделала этого, не так хорошо, как могла бы. Когда мне было шестнадцать, я считала, что нам уже слишком поздно налаживать отношения. А когда я попала в тюрьму, то решила, что теперь уже действительно слишком поздно. Но я ошибалась. Слишком поздно стало только теперь, когда она умерла.

Я сказала Хаузеру, что прочитала «Пикап». Он спросил, что я думаю.

— Что это одновременно хорошая и плохая вещь.

— Я понимаю, о чем вы. Конец удивляет, да? Но от этого хочется перечитать книгу, чтобы понять, были ли там раньше подсказки.

Я сказала ему, что так и сделала. И что мне было приятно читать книгу о Сан-Франциско, что я оттуда.

— О, я тоже, — сказал он.

Я бы не подумала по его виду, и я сказала ему об этом.

— Ну, то есть из тех краев. С другой стороны залива, округ Контра-Коста.

Он назвал свой городок, но я о таком не слышала.

— Это в самой подмышке залива, за нефтяным заводом. Там никакого гламура, не то что в большом городе.

Я сказала, что ненавидела Сан-Франциско, что там из-под земли просачивалось зло, но мне понравился «Пикап», потому что он напомнил мне такие вещи о городе, которых мне не хватало.

Помимо «Пикапа», Хаузер достал мне еще две книги: «Фактотум» Чарлза Буковски и «Сын

Иисуса» Дэниса Джонсона. Я сказала ему, что прочитаю их тоже.

— «Фактотум» — одна из самых смешных книг на свете.

Я сказала, что знаю о другой книге, про Иисуса, потому что видела фильм по ней. Фильм был хорош, не считая того, что его герои не очень походили на людей семидесятых.

— Та девушка в фильме, она носит топик с открытым животом и кожаную куртку с меховым воротником, как хипстеры в Сан-Франциско в девяностые.

— Но те люди, о которых вы говорите — возможно, даже вы, я не знаю, — они на самом деле взяли все это из семидесятых.

Это было правдой. Я рассказала ему, как Джимми Дарлинг заглядывал в этот книжный в Тендерлойне, чтобы купить номера «Плейбоя» из 1970-х, которые там лежали стопками на полу у задней стены. Один раз старик похлопал Джимми по плечу и сказал шепотом: «Сынок, у них там есть новые», кивнув в сторону глянцевых журналов — «Буфера» и «На грани» — на витрине у самого входа.

— А Джимми — это…

— Мой жених. Он преподает в Институте ис-

кусств Сан-Франциско.

— И вы… еще помолвлены?

— Он умер, — сказала я.

Той ночью, когда выключили свет, я думала о Северном пляже и пыталась вспомнить те места, где я бывала с Джимми Дарлингом, жившим и работавшим неподалеку, и до Джимми, когда я была подростком и Северный пляж был полон заманчивых мест, чтобы бродить пятничными вечерами с друзьями. Мы кружили между столиков на веранде «Энрико» и допивали оставленные посетителями напитки. Я вспомнила огни вдоль Бродвея. И «Большого Эла». «Клуб Кондор» с его вертикальной вывеской и вишнево-красные соски Кэрол Дода, в духе китайского квартала. «Эдемский сад» дальше по улице, его розово-зеленую неоновую вывеску в тумане.

Потом неоновую Кэрол Дода убрали, но в моих воспоминаниях она была на месте. Я помнила все эти светящиеся вывески, оставшиеся в прошлом, но продолжавшие жить во мне, потому что тот мир был частью меня.

Был один клуб на Коламбус-авеню, где стриптизерши-феминистки получали по одиннадцать долларов в час. Это было очень мало за то, что они выдавали и получали, видя, как мужчины

мастурбируют в кабинках вокруг сцены. «Мир королевского шоу» был классическим пип-шоу без всякого феминизма. Странная и стремная бухгалтерша из «Королевского шоу» шабашила с нами в «Комнате на Марсе», и, насколько я знала, ей не удавалось заполучить ни одного клиента, но она приходила ночь за ночью, крупная и неуклюжая, в толстых очках и уцененном белье и, как добрая бандерша, угощала нас в раздевалке закусками и комплиментами. Она раздавала нам маленькие морковки, которые называла по-французски «crudités». Особенно ее материнские чувства распространялись на мою подругу по прозвищу Стрелка.

Стрелка засветилась в журнале «На грани». Она была моей ровесницей, слегка за двадцать, но у нее были такие глаза с поволокой, что она казалась девочкой или как минимум невинной девушкой, как раз в стиле «На грани». Мы со Стрелкой иногда подрабатывали в «Бешеном коне», где я впервые увидела будущего папу Джексона. Он был симпатичным и забавным, единственным вышибалой в «Бешеном коне», которого тамошние девочки пускали в раздевалку. Он читал вслух якобы статьи из местной газеты, пока девочки красились, но он просто шелестел

страницами и выдумывал заголовки, пародируя типичные передовицы: «Женщина поднимает «фольксваген»-жук, чтобы спасти из сточной канавы последнюю сигарету»; «Человека, сбросившего двести фунтов на диете из шоколада, печенек и пирожков, переехал молочный грузовик». «Сногсшибательная новость: Толедо в штате Огайо оказался плодом коллективного воображения». Папе Джексона было не занимать ума, он только плохо применял его по жизни, а точнее, сходился не с теми людьми. Но он был достаточно умен, чтобы сбежать из-за решетки. Он перелез через забор окружного СИЗО Сан-Матео и пробежал весь путь до Сан-Франциско. Я услышала эту историю еще до того, как познакомилась с ним. Я представила себе парня, бегущего вдоль шоссе, как будто, чтобы попасть пешком из Сан-Матео в Сан-Франциско, он должен был двигаться по автомобильной дороге, пусть и на своих двоих. Одинокий мужчина, бегущий и потеющий на обочине шоссе. Я уверена, что он выбрал совсем другой путь, но передо мной вставала именно такая картина. Он попался почти сразу.

Джимми Борода работал вышибалой в разных стрип-клубах по всему городу еще с 1960-х. Он рассказывал истории. Одна была про чокнутого

режиссера, который влюбился в порнозвезду по имени Чудо-Том. Чудо-Том выступал в гейском порнотеатре, где Джимми Борода был привратником. Чудо-Тому не особенно был нужен этот режиссер. Он использовал его, а потом бросил ради кого-то другого. Отвергнутый режиссер, пылая злобой, сел на междугородный автобус и приехал в Сиракузы в штате Нью-Йорк, откуда был родом Чудо-Том. Режиссер постучал в дверь дома Чудо-Тома, где жила его мать. Дальше, в изложении Джимми Бороды, открывается дверь, и на пороге появляется мать, чопорная старуха, застегнутая на все пуговицы, типичная нью-йоркская матрона. Она говорит: «Да, я могу чем-то помочь?» А режиссер говорит: «Нет, мэм, просто я подумал, вы захотите взглянуть на это». И разворачивает красочный плакат, на котором Чудо-Том приходует своего брата-близнеца. Они вдвоем снимались в порно. На этом моменте Джимми Борода так хохотал, что едва мог говорить. «Этот парень показал старушке из верхнего Нью-Йорка двух ее сыновей, ебущихся друг с другом». Он считал, что ничего, смешнее этого не слышал. Это типичный пример чувства юмора Джимми Бороды. Не стоит удивляться, что ему показалось смешным запалить мое укрытие

от Курта Кеннеди. После того как я перебралась из Сан-Франциско в Лос-Анджелес, Кеннеди не находил себе покоя, пока не выяснил, где я. От Джимми Бороды.

15

К тому времени, как пошел второй год жизни Гордона Хаузера в Стэнвилле, он уже не путал крик животного с криком женщины. Тот крик, что он слышал в одну из первых ночей в своей хижине, издавала пума. Не женщина и не в беде.

Когда выпал первый зимний снег, он увидел звериные следы вокруг жилища, закругленные выемки, точно совпадавшие по форме и площади с теми, что описывались в его путеводителе, согласно которому, голос пумы отличался широким диапазоном и мог напоминать крик, визг или стон женщины.

Он никогда не видел пуму, только слышал. Иногда ранним утром, спускаясь по склону в сторону Стэнвилла, он замечал серых лисиц, подметавших землю глянцевитыми хвостами. Он шел по извилистой дорожке, минуя высохшие без дождей дубы, неровные листочки которых покрывала пыль, и ржаво-красные купы конских каштанов и дымчато-зеленых толокнянок. Вет-

ви конских каштанов без листвы отливали на солнце белым, точно кость. Травы были густо-желтыми, как влажная солома. Он никогда еще не видел таких красивых трав.

На прямом участке дороги на подходе к бурой низине в пейзаж вторгались нефтепроводы и нефтяные вышки, оси которых беспрерывно крутились. За вышками был пыльный рыжий перелесок и ферма с двумя пальмами перед домом, а дальше дорога раздваивалась. Эти две пальмы с густой, лохматой кроной выделялись своим экзотическим шиком, вроде инуитских сапог.

На дне долины температура была на двадцать градусов выше, а в воздухе висел тяжелый запах удобрений. Больше не было видно ни апельсиновых деревьев, ни нефтяных вышек, только линии электропередачи и миндальные рощи, тянувшиеся ровными длинными рядами до самой тюрьмы.

Как и во всех тюрьмах Калифорнии, перед Стэнвиллской тюрьмой реяли три флага: государственный, штата и ВП/ПБВ[33]. Флаг ВП, служивший напоминанием о солдатах, пропавших во Вьетнаме, всегда угнетал Гордона,

---

[33] Примечания: 33
Военнопленные/пропавшие без вести.

поскольку эта война стала позорным поражением для США. Все военнопленные наверняка были давно мертвы, и в любом случае никто не собирался возвращаться за ними, но тюремные надзиратели в любом исправительном учреждении упрямо поднимали флаг в их честь. Теперь, когда захватывали военных, все было по-другому. Многие из них служили по контракту, и им отрубали головы в прямом эфире. Президент Буш заявил по телевизору, что он строит больницы и школы для граждан Ирака. Бамперы большинства машин, припаркованных у Стэнвиллской тюрьмы, украшали желтые ленточки[34].

Освоить тюремную планировку было непросто. Все эти одно- и двухэтажные строения из шлакобетона, стоявшие поодаль друг от друга на обширном пространстве из грязи и бетона, опоясанные завитками колючей проволоки, казались Гордону одинаковыми. Он проходил через три электронных двери, чтобы попасть в свою классную комнату, представлявшую собой вагон без окон, рядом с техническими мастерскими и центральной кухней. Из кухни постоянно несло прогорклым жиром, перекрываемым только

[34] Примечания: 34

Для американцев желтая лента символизирует память о военнопленных и заложниках.

едкой вонью растворителя из автомастерской, где стояли в ряд джипы надзирателей, которые заключенные перекрашивали втридешева.

У Гордона был пропуск в эту часть тюрьмы, но жилые блоки и прогулочные дворы были для него закрыты, за исключением одного тюремного блока во дворе «А», 504-го, где он мог работать с заключенными из камер смертниц и карцера.

Гордон поначалу панически боялся камер смертниц, но оказалось, что они совсем не похожи на видения из его кошмаров. Он представлял себе железные решетки, средневековые картины безысходности. Но эти маленькие камеры с белыми стальными дверьми, снабженными стеклянными окошками, имели современный вид и были автоматизированы. Всего было двенадцать камер, по одной женщине в каждой, и узкая длинная комната со столами и швейными машинками за решеткой. Надзиратели открывали решетчатую дверь и пускали Гордона к ученицам, с каждой из которых он общался один на один, пока другие шили или вязали грубые коврики за столами рядом. Бетти Ля-Франс, не входившая в число учениц Гордона, всегда настаивала на разговоре с ним, а за вышиванием включала фоновую музыку на своем приемнике,

который брала с собой из камеры. Эти женщины также делали поздравительные открытки, стараясь подражать фирменному стилю печатной продукции — лучшие из них напоминали открытки, продающиеся в магазинах подарков, с любезными напутствиями, набранными нейтральным шрифтом. Женщины могли свободно выходить из своих камер, пахнувших освежителями воздуха и устланных самодельными ковриками, вероятно, чтобы вызвать ощущение личного пространства и хоть какой-то пользы от их ручного труда, помимо перемалывания времени.

Они называли его голубчиком, пупсиком и красавчиком. Голубчик его вымораживал. Так называет Раскольникова старая процентщица Алена Ивановна перед тем, как он приводит в исполнение свой план и убивает ее, — во всяком случае, такое обращение выбрал переводчик романа на английский язык. Голубчик.

В карцере, располагавшемся над камерами смертниц, не было общей комнаты, и женщины не имели возможности для общения, кроме перекрикиваний. Они орали друг другу из камеры в камеру, дразнили надзирателей и просто шумели, чтобы как-то отвлечься. Гордон ждал в

маленьком кабинете, пока к нему не приводили очередную ученицу, звеневшую цепями, и сажали в клетку, чтобы он провел урок. Именно так он познакомился с Роми Холл, которая теперь училась в его классе. Что он сразу отметил в ней — она смотрела ему в глаза. Многие из этих женщин смотрели ему в плечо или за спину. Они всячески избегали встречаться с ним взглядом. К тому же она сохранила привлекательность, несмотря на обстоятельства. Широко поставленные зеленоватые глаза. Губы бантиком, как говорят про такие, верхняя соблазнительно нависает над нижней. Ее губы как бы говорили: верь этому лицу. Но лицо говорило: я не то, чем кажусь. У нее была правильная речь, и читала она выразительно. Впрочем, ему не было дела до этого. Как не было дела ни до какой из женщин Стэнвилла.

Второй раз он увидел ее в одной из клеток, которые надзиратели называли вольерами, для прогулки заключенных карцера. Путь в блок 504 проходил мимо клеток, и инстинкт подсказывал ему не смотреть на женщин в этих зарешеченных коробках. Но Холл обратилась к нему так привычно, словно женщина на остановке, которая просит прикурить или спрашивает, когда придет следующий поезд.

Ему нравилось видеть ее в своем классе. Она прилежно читала. Многие из учениц, как думал Гордон, были недалекими, говорили на фене и смеялись над ним, но эта казалась вполне адекватной. Приговоры этих женщин выходили за границы его понимания — ПБПО, то есть пожизненное заключение без права досрочного освобождения, а то и несколько пожизненных. Даже одно пожизненное заключение ему было сложно осмыслить.

Он раздавал им ксерокопии книг, вроде «Джулии из племени Волков» и сочинений Лоры Инглз-Уайлдер, но не говорил им, что это детские книги, и ему было не важно, нравилось ли этим женщинам читать их. Он считал, что только такие книги они и могут осилить, если многие из них даже не окончили среднюю школу. Они писали округлыми печатными буквами, словно девочки-подростки. Даже мужеподобная Лондон, которую все называли Конан, писала такими же буквами. Лондон была умна, это не вызывало сомнений. Она ничего не читала, но веселила других, что значило немало.

— А *бюст* — это единственное число? — спросила Лондон.

— Наверно, смотря чей, — сказала другая уче-

ница.

— Бюст Джонс. Напоминает название приключенческого фильма. Лейтенант Джонс и бюст судьбы.

Джеронима Кампос, старая индианка, на всех уроках рисовала в блокноте. Гордон подумал, что она, возможно, не умеет читать или писать. Однажды после урока он спросил ее, что она рисовала. Он решил, что если она признается, что не умеет писать, он предложит ей частные занятия.

Она сказала ему, что рисует портреты, и показала блокнот. На каждой странице был рисунок и имя под ним. Она умела писать. Но на рисунках были не лица, а беспорядочные цветные штрихи. «Это вы», — сказала она, показав на черные штрихи с грязно-синим пятном.

Когда его класс обсуждал одну из глав «Рыжего пони» Джона Стейнбека, женщины стали говорить о горах в книге и о тех, что они видели из тюремного двора. Горы, похоже, внушали им страх, что удивило Гордона. Он-то думал, что горы для них должны символизировать свободу, как зримый образ природного царства.

— Там нужно сражаться с медведями, — сказал Конан. — Здесь хотя бы зверье помельче. Зверье и гнилье. И я знаю, что могу *победить*.

Когда они дошли до третьей главы, «Обещание», про Нелли, беременную кобылу, одна из женщин подняла руку и сказала, что когда она рожала, ее живот принял форму сердца.

— Разделился надвое, — сказала она, — как у лошади, и даже врач подтвердил, что лошадиная матка по форме как сердце.

Они читали главу вслух. При упоминании свиней одна ученица сказала, что сестра написала ей из каталажки в Аризоне, что у них там газовая камера, куда раз в месяц, в воскресенье, помещают свинью, чтобы проверить машину.

Гордон попытался вернуть разговор к книге. Какое обещание дал Билли Бак?

Девушка, сестра которой написала, как травят газом свиней по воскресеньям, сказала, что когда свинья «идет вверх по трубе», по всему двору расходится запах.

— Пахнет, как цветущий персик, — сказала она. — Так мне сестра сказала.

Роми Холл подняла руку. Она сказала, что Билли Бак пообещал мальчику, Джоди, здорового жеребенка. Перед этим Билли Бак пообещал присмотреть за рыжим пони, и пони умер. Так что это новое обещание подарить мальчику здорового жеребенка было шансом для Билли Бака

показать, что он человек слова.

Гордон спросил, сдержал ли он обещание.

Роми сказала, что в этом заключалась загвоздка истории. Формально да, но, чтобы кобыла родила жеребенка, ему пришлось убить ее. Он убил кобылу, чтобы спасти увечного жеребенка. Он размозжил ей череп молотком, и это был дерьмовый способ сдержать обещание. Кобыла могла бы родить других жеребят, не увечных, но ей пришлось умереть потому, что один ковбой решил всем показать, что он человек слова.

– *Давать* обещание — это нормально, — сказала Лондон Гордону, как бы подытоживая для учителя мораль истории, — а вот *выполнять* — это не всегда хорошая идея.

Однажды вечером после урока Роми Холл задержалась. Гордон принялся собирать бумаги, неудобно перегнувшись через стол, лишь бы как-то отстраниться от нее.

Она успела многое рассказать о себе за каких-нибудь пять минут. Она говорила ровным голосом, и Гордону казалось, что она готовилась к этому. Он все время отступал, желая сохранить дистанцию между ними, а она все приближалась, и ему не нравилось, что она пытается манипулировать им. Одна женщина пыталась подкупить

его, чтобы он проносил для нее сотовые телефоны, другой от него был нужен табак. В этих махинациях участвовали и служащие, и надзиратели. Но Гордон не хотел ввязываться в это.

Она сказала ему, что отбывает пожизненное заключение и что у нее есть маленький сын. Она извинилась, что причиняет ему беспокойство. Она сказала, что проснулась в депрессии. Ощущала туман в своей камере, даже без окна, и сказала, что влажный воздух напомнил ей дом.

Она хотела, чтобы он позвонил по телефонному номеру и выяснил, где ее ребенок. У нее все это было на бумаге, и он все отстранялся, не желая брать ее, а она наступала на него. Даже если он доставал ей книги и считал ее привлекательной, даже если он думал о ней иногда, это не означало, что ему были нужны ее семейные драмы.

Его участие в жизни заключенных, в нарушение правил, началось с Кэнди Пенья из камеры смертниц. Кэнди плакала как ребенок, потому что у нее не осталось ни шерстяной пряжи, ни денег, и она не могла помогать детям. Другие смертницы шили детские одеяла для христианского благотворительного фонда в Стэнвилле.

Он знал, что мог пронести пряжу. Его сумку почти никогда не проверяли. Он решился на это

за завтраком в кафе «Баресси». Обстановка кафе действовала умиротворяюще, на стенах висели в рамках фотографии спортивных машин, побеждавших на местной трассе. С одной стороны заведения располагалась кухня, а с другой — бар и пианино в углу. Субботними вечерами на нем играла женщина.

В Стэнвилле было невозможно вылечить зубы. Не было там и ремонта обуви. Нельзя было купить приличную посуду, даже по скромным меркам Гордона. Однако в Стэнвилле имелись три магазинчика хобби и рукоделия. Он заглянул в один из них. И купил пряжу четырех цветов. Кэнди сказала, что ей нужна шерсть, но в том магазинчике не было шерстяной пряжи, даже с синтетикой, но, может быть, шерсть больше не означала шерсть, а просто пушистый трикотаж. На следующий день он отдал, что купил, Кэнди. Она растаяла от благодарности, и ему стало жутко неловко. Не потому, что он нарушил правила, а потому, что ему это почти ничего не стоило, а она расплакалась и сказала, что никто никогда не был так добр к ней, ни разу в жизни.

Единственным способом избавиться от этого досадного чувства, казалось, было сделать что-то хорошее для других заключенных, чтобы он не

чувствовал себя святым Кэнди, обесценить один хороший поступок за счет других.

Бетти Ля-Франс попросила Гордона отправить письмо ее давнему любовнику, который, как она объяснила, мотал срок в Государственной тюрьме Калифорнии. Заключенным не разрешалось переписываться с другими заключенными без письменного разрешения со стороны Департамента исправительных учреждений, в этом Гордон был твердо уверен, но он посчитал, что Бетти, вероятно, просто выдумала эту любовную историю. Когда Гордон первый раз увидел ее, она шумела, чтобы привлечь внимание надзирателя.

— Офицер! — кричала она. — Пожалуйста, скажите дежурному по парковке, чтобы он забронировал место моему парикмахеру!

Она смотрела свысока на других смертниц, говорила Гордону, что они ей не ровня. Один раз она спросила его, летал ли он когда-нибудь бизнес-классом Сингапурских авиалиний. Когда он сказал, что не летал, ей, похоже, стало его жалко. Она была помешанной, приговоренной к смерти. Он сочувствовал ей. И отправил ее письмо.

Для одной из своих учениц, занимавшейся садоводством, он купил семена. Началось с того, что

она принесла Гордону в подарок свежую мяту, и на его вопрос, где она ее достала, она сказала, что нашла ее в пиломатериалах, которые привезли в тюрьму для мастерских. Она пересадила ее и поливала. Она сказала ему, что смотрела на небо и ждала птиц, чтобы собирать семена из их помета, а потом тайно выращивала их во влажных бумажных полотенцах. Согласно правилам, заключенным не разрешалось держать растения. Но главный надзиратель двора «Г», где она жила, разрешил ей оставить эти растения. Она отбывала пожизненное заключение. Гордон дал ей пакетик семян калифорнийского мака. Она закрыла руками лицо, чтобы он не видел ее слез.

— Это Бог мне вас послал, — сказала она. — Спасибо вам за этот божий промысел.

И это снова заставило его искать, кому бы сделать доброе дело, чтобы избавиться от неприятного ощущения, что он стал чьим-то благодетелем. Пакетик семян стоил 89 центов.

Так он стал посылать книги Роми Холл. Открываешь «Амазон» и кликаешь мышью. Что для него значили двадцать баксов, если они подарят несколько недель свободы мысли одной из заключенных? Но вмешиваться в ее личную жизнь во внешнем мире, звонить по телефону от ее

имени — это было совсем другое дело. Это было, если уж на то пошло, вмешательством не только в ее жизнь, но и в его тоже.

Он положил бумажку, которую она дала ему, на свой кофейный столик. Телефонный номер и имя ее ребенка. Он не стал звонить, и, к его облегчению, хотя бы частичному, она не стала спрашивать его об этом. Они болтали о всякой ерунде.

«Она думает, я не хочу ей помогать, что мне плевать».

Но ему хотелось, чтобы она знала, что ему не плевать и что для него было не безразлично, что она попросила его о таком одолжении.

Он сел на диван, взял бумажку с номером и снова положил. Вместо того чтобы звонить по этому номеру, он открыл интернет и после некоторых поисков заказал новый набор красок для Джеронимы. Это было несложно и не требовало серьезных раздумий.

Джеронима принесла новые краски в класс и прилежно работала несколько недель, а потом подошла к Гордону.

— Я бы хотела показать вам, над чем работала. Портреты, но такие, которые вы, вероятно, предпочитаете.

— Которые я предпочитаю?

— Ну, большинство людей.

И она показала ему. Это были настоящие портреты, и он сразу узнал эти лица. Джероними. Лондон. Себя. Роми. Каждую женщину из его класса. Портреты были лаконичными и выразительными. Она перевернула страницу, и он увидел незнакомое лицо, смотревшее на него со слезами, стекавшими по щекам.

— Это Лили, которая живет в моем блоке. Она похожа на мою младшую сестру. У меня нет фотографии сестры, поэтому я попросила ее позировать мне.

16

Весной я начал слышать несносный шум машин, иногда удивительно громкий, в зависимости от погодных условий. Если бы не это, окончание зимы обещало приятные прогулки по окрестностям, но все было испорчено ревом и воем этих металлических монстров, слышимых на много миль окрест холмов. Задумал отомстить им. Но было трудно определить источник шума. Так или иначе, пришлось ждать лета, поскольку снег мог легко засыпать мои ловушки. Но не успела кончиться весна, как шум прекратился. Летом

я снова стал слышать его. Я пошел в сторону шума и выяснил, что его вызывает лесозаготовка у водосбора Вербного ручья. Они вырубали одно из моих любимых мест. Деревья валили бульдозерами вместо того, чтобы резать пилами. Я смотрел с высокой скалы, где меня было не видно. Под конец рабочего дня они ободрали всю эту местность. Когда они ушли, я спустился на рабочий участок. На машине, которая собирала бревна и грузила их в грузовики, стояла канистра масла на пять галлонов. Я налил масло на двигатель машины и поджег его. Я с удовольствием провел ночь на вершине горы и, набравшись сил, вернулся домой поутру. Мне было так хорошо от того, что я сделал, хотя риск разоблачения слегка тревожил меня.

17

Док был в «Лас Бризас» той ночью, когда принял вызов об ограблении ломбарда на бульваре Беверли в филиппинском квартале. Сработала беззвучная сигнализация ломбарда. Док решил подъехать с выключенными фарами и без сирены, чтобы никого не спугнуть.

Он увидел, что подозреваемый еще на месте. Его машина, побитая «шеви-каприс», никак не

заводилась. Парень безуспешно поворачивал ключ. Стартер гудел, но не заводился.

Док подкрадывается к нему, приставляет служебный револьвер к голове парня и вежливо просит его выйти из машины. Его голос, голос Дока, смягчается. Словно голос проповедника, но он не пытается никому подражать. Этот голос подходит Доку как перчатка.

У Дока такой опрятный вид, что он больше похож на дантиста, чем на копа. Он думал о своем образе через баскетбольную аллегорию: это было начало 1990-х, и если в органах служили ребята, использовавшие уличный стиль и язык, вроде «Лейкерс» в шортах до колен, то Док, как он думал об этом, играл за «Юта джаз», команду, в которой очки набирали белые парни в шортах должного размера.

Парни, которые, как и Док, напоминали дантистов и говорили о стратегии и технике культурным языком, в отличие от недоумков, которые бахвалились на камеру после игры, что они выиграли за счет того, что не теряли времени и рассчитывали броски. «Не теряю времени, рассчитываю броски». Большинство игроков не говорили ничего другого, словно просто заучили эти фразы. Но это на самом деле была хорошая

формула. Именно так действовал Док.

— Похоже, у тебя проблемы с машиной, — говорит Док.

Затем он спокойно спрашивает подозреваемого, как прошло ограбление.

— Чего?

Парень растерян. Чернокожий. В работе Дока черные ребята доставляют больше всего неприятностей. Или, лучше сказать, это он доставляет им больше всего неприятностей.

Док укладывает парня на капот его развалюхи с раскинутыми руками и забирает награбленное с переднего сиденья, завернутое в наволочку, что приводит на память его детские хождения по домам на Хэллоуин, чтобы набрать побольше сладостей и всем утереть нос. Наволочка полна оружия, часов, драгоценностей и всякого такого. У парня был пистолет, который Док тоже забрал. Австрийский «глок». Док приятно удивлен, что парень на такой дерьмовой тачке, что она даже не заводится, имеет приличное оружие, которое Док мог бы продать, но скорее всего оставит себе.

Полицейское радио Дока сообщает сквозь помехи, что подкрепление приближается к Беверли и Вендому. Подкрепление? Он *не запрашивал* подкрепление. Но, согласно диспетчеру, оно

уже в пути. Возможно, это призрачный патруль. Обычная наебка. Комиссар хочет, чтобы у него в отделении было побольше машин.

Что ж, шел бы он лесом: патрульные по всему городу дурят диспетчера, говоря ему, что они на вызове, тогда как в действительности они зависают в барах и казино или в спортзале, а то и кувыркаются с бабами в круглосуточном закрытом заведении на Вестерн-авеню, «Чванливой лисе», популярной точке у ребят в форме. И уж конечно (Док хочет, чтобы вы понимали), это не заурядный притон типа «Пещеры Венеры», где курят дурь и берут в рот за пять долларов. «Чванливая лиса» — это первоклассное заведение с номерами люкс, качественным льдом и зеркалами на потолке, так что ты можешь смотреть на себя. (Доку кажется бредовой идея рассматривать в зеркале кого-то, кроме себя. Он вел такие разговоры с ребятами из Рампарта и всегда говорил то же самое: «Если мне захочется увидеть, как смотрится сзади шлюха, я ее разверну. Для этого мне зеркало не нужно. Кого я не смогу увидеть без зеркала, так это *себя*»).

Док решает, что, кого бы ни направили ему в поддержку, эти ребята наверняка вертят хуями в «Чванливой лисе».

Подозреваемый смотрит на него, подняв руки.

— Не напрягайся, — говорит Док. — Знаешь, никому из нас уже не выкрутиться, так что давай работать друг с другом. Я могу это облегчить. Тебя отвезут в центральный обезьянник. Завтра тебе предъявят обвинение, и суд назначит тебе приличного адвоката.

«Или не назначит», — подумал Док.

— Максимум тебе припаяют два года.

Подозреваемый начинает всхлипывать.

— Эй, я понимаю. Ты просто хотел провернуть дельце по-быстрому.

Подозреваемый уставился на Дока с недоверием во взгляде, потому что он напуган и наверняка ненавидит копов.

— Это трындец, — говорит он.

Док слышит завывание сирен в направлении пересечения Вирджил/Темпл/Сильвер-лейк/Беверли. Поддержка на самом деле в пути. Если будет красный свет, у него еще есть время, пока патрульная машина сбросит скорость, чтобы разобраться в этом многополосном перекрестке со встречным движением.

Док достает сигарету.

— Мне такие вещи тоже радости не доставляют.

Он предлагает сигарету подозреваемому, который смотрит на него с опаской и качает головой, смаргивая слезы.

— Можешь опустить руки, — говорит Док, выдыхая дым. — У меня твое оружие, я знаю, что ты не опасен. Просто не делай глупостей. Но расслабься. Ты заставляешь меня нервничать.

Подозреваемый смотрит на него. И держит руки поднятыми.

— Расслабься, серьезно. Я передам тебя этим ребятам на оформление, машина уже в пути. И знаешь что? Я ненавижу отправлять людей в тюрьму. Ну, ладно тебе. Я приказываю тебе опустить их. Я вижу, ты хороший парень. Готов поспорить, это твое первое ограбление, поэтому ты так бездарно облажался. Опусти руки и перекури. Скоро эти ребята наденут на тебя наручники, и это тебе не понравится.

Глаза подозреваемого блестят от страха. Он начинает слегка опускать руки.

Вытирает мокрое лицо рукавом рубашки.

Помните эпоху, когда все носили такие спортивные рубашки в широкую цветастую продольную полоску и с оттопыренными воротниками? Вот такая была на подозреваемом.

Док ненавидел такие рубашки.

Подозреваемый полностью опускает руки.

— Вот и молодец, — говорит Док. — Постарайся не нервничать. Я знаю дежурного полицейского. Я попрошу его быть с тобой помягче. Возможно, ты даже выйдешь под залог сегодня ночью.

Подозреваемый не просто опускает руки, а сует их в карманы.

В тот миг, когда руки подозреваемого исчезают в карманах, Док стреляет ему в лицо. Дважды, целясь повыше.

Подкрепление прибывает через несколько секунд. Достаточно долгих секунд, чтобы Док успел заныкать наволочку с награбленным.

Приближаются два полисмена из центрального управления.

— Господи. Что тут случилось?

Подозреваемый завалился на решетку своей машины. За ним на капоте растекалось пятно крови.

— Я ему говорю: руки вверх, — говорит Док, — а он лезет в карманы. Я не собирался полагаться на удачу.

Он не знал, почему он это сделал. Тот гад, что насиловал своего сына, мог гореть в аду, но почему он убил этого парня?

Если бы парень сказал ему: «Зачем ты это дела-

ешь?» — Док мог бы остановиться, потому что не знал. Но парень не мог сказать этого, потому что Док не дал ему время.

Он и его старый напарник, Хосе, действительно пытали одного типа, управляющего мужского клуба у шоссе 605, а когда они с ним закончили, то бросили тело около шоссе 710. Но тот тип изнасиловал подружку Хосе — что еще им оставалось? Пресса раздула большую шумиху по поводу пыток, но Док не псих, не серийный убийца. Он сделал это так, чтобы это выглядело как дело рук маньяка.

Так было далеко не всегда. Док был успешным следователем, вы могли бы позавидовать ему, если бы увидели его на мотоцикле теплым тихим днем, в скалах над пляжем Малибу, вместе с несколькими другими полицейскими. Они катались группой по шоссе Пасифик-Кост. Док обычно вел «спортстер» 78-го года, не какой-нибудь поздней расфуфыренной модели, из тех, что вечно припаркованы перед «Сетью Нептуна» на шоссе Пасифик-Кост, и водители обращаются с ними как с фарфоровыми, потому что они их арендовали. Док ненавидел педиков, арендующих «Харлеи», тем более что сам он владел двумя, оплаченными наличными, «спортстером» и «софтэйлом», и с

обоих были сняты все финтифлюшки, только на «софтэйле» он оставил ковбойские сумки для поездок в свое логово в Трех реках, где у него имелся надел земли с ручьем, также предмет зависти многих. Прекрасная горная местность, форель кишмя кишит, чистый воздух. Грубая бревенчатая хижина, где он пускал по вене метамфетамин и развлекался с женщинами, которых привозил из южного Лос-Анджелеса.

Стоит вспомнить о «Трех реках», и он видит бедра и ляжки, зазывно раскинувшиеся. Это то, что происходит с телом женщины, когда она остается без одежды, ее бедра вминаются в мягкий, упругий, бугристый матрас в его хижине. Он видит грубые доски. Голую мохнатку, влажную, расслабленную. Он раздвигает бедра пальцами, а другой рукой возбуждает себя. Это ему помогает. Он не может вспомнить женских лиц, но это ему и не нужно, ни к чему. Он видит раскинутые ляжки и слышит скрип старой кровати, пристраиваясь сверху. Ощущает жар тихой комнаты летним днем, и это ему помогает.

Весь секс, который был у него в жизни. Все, что ему осталось теперь, — эти хмельные моменты.

Бедра, соитие, дощатые стены, скрип кровати. Руки на его спине (он мужчина, о'кей? На спине,

не на заднице). Он стискивает женские задницы. Полными горстями. То, как их бедра раскрываются под ним на матрасе, — вот что его заводит. Он вклинивается все глубже. Кровать скрипит как сумасшедшая; он приближается к финалу, и кровать скрипит так, словно ее рубят топором.

Но эта кровать, в которую он погружается, другая, и у него перехватывает дыхание. Она цементная. Ему жарко в камере, он откидывается на спину, пытаясь удержать ощущение тихого жаркого летнего дня на природе, среди секвой.

Так тепло, что его «Харлей» заводится без дросселя, с одним стартером на холостом ходу, как по маслу.

В такой день он мог пойти в байкерский бар в «Трех реках», оставив женщину в своей хижине, конфисковав у нее наркотики и отключив спутниковую антенну. Он сидит в баре и пьет холодное бочковое пиво.

Люди чморят «будвайзер», а сами пьют не пойми что, но «будвайзер» не зря называется королевским пивом — он хорош.

Его сокамерник в общей комнате бренчит на своей большой желтой гитаре. Напоминает «Led Zeppelin», хотя их будет напоминать игра лю-

бого белого парня перебором на акустической гитаре. Этот тип прилично играет для отморозка, трахавшего собственную дочь. Все остальные во дворе. Док не выходит во двор. Если вам нужно пояснение, тюремный двор — не место для копа, даже двор особой категории, если только там не играют в софтбол трансы — в этом случае Док готов пойти на риск.

Когда сокамерник возвращается, Док кормит свою ручную ящерицу. Он недавно обнаружил, что салфетки для снятия статики — можно заказать по каталогу «Уокенхорст» — отлично подходят для маскировки сверху картонного террариума ящерицы. Террариум он сделал из коробки от кроссовок «Nike». Док носит только белые кроссовки, безупречно чистые, полирует их несколько раз в день «Блоком 64» и сменяет уйму пар, благо различные люди из органов платят ему, чтобы он держал язык за зубами. Он скармливает ящерице кусочки растения, которое выращивает в банке. Он рад иметь у себя в камере растение и живность, ведь он поддерживает порядок и чистоту и не допускает никаких неприятных запахов. Он смотрит, как ящерица смотрит на лист в его большой руке, и вдруг…

Что-то согнуло его в дугу.

Он падает на пол, но пытается подняться. Сокамерник, надо же. Шарахнул его по затылку. Непонятно чем. Чем-то внушительным.

Ему нечем дышать. Дока душат самодельной удавкой.

А разве есть какие-то еще?

В голову лезут посторонние мысли даже в моменты жизни и смерти. Всегда говорят «самодельная удавка». Док тянется к ней — крепкая такая, из…

Ему нечем дышать!

Зубная нить? Гитарная струна?

Он пыхтит и рычит, борясь за жизнь с животным упорством. Док пытается…

Нет сил…

18

Я почувствовала, что отделалась от Курта Кеннеди в Лос-Анджелесе, хотя несколько раз мне казалось, что я узнаю его в других мужчинах, имевших те же отталкивающие физические признаки: толстые мясистые голени, красноватую кожу, лысый неровный череп, а один раз мне показалось, что я слышу его хриплый голос. Но Лос-Анджелес был новой планетой, с закатами цвета фруктового мороженого, людьми

в сандалиях в январе, огромными райскими птицами, супермаркетами с сияющими рядами тропических фруктов. Я начала успокаиваться, чувствовать себя свободной от удушающей фамильярности Сан-Франциско.

На самом деле я переехала с Джексоном в Лос-Анджелес не только затем, чтобы избавиться от Курта Кеннеди, но и чтобы быть с Джимми Дарлингом, получившим преподавательскую должность в Валенсии. Жилье, которое он снимал, принадлежало эксцентричному старому художнику, все время жившему в Японии. Большая часть строений на ранчо сгорела во время лесного пожара, так что старый художник жил в металлическом трейлере «Эйрстрим». Он установил над ним деревянную решетку, обвитую виноградом, чтобы обеспечить прохладу. Джексон обожал это место, потому что оно было похоже на лагерь. В отдалении от трейлера стояла молочно-зеленая кабинка биотуалета «Энди Гамп» с настежь открытой дверью. Я лежала в гамаке в тени с Джимми, ела пурпурно-колючую грушу, росшую вдоль границ владения, и отпускала Джексона кормить яблоками и травой старых арабских кобыл, пасшихся на большом влажном лугу. Мы с Джексоном оставались там на ночь,

но с утра всегда поднимались и ехали долгой дорогой обратно ко мне, в мою так называемую реальность. Я не хотела жить с Джимми. Он был не тем человеком, к которому ты переезжаешь, строишь совместную жизнь. Он занимался своими делами, а я своими, и каждые несколько дней мы съезжались и радовали друг друга, но без всяких обязательств. Мы гуляли по окрестностям. Они с Джексоном строгали что-то. Чесали за шею пузатую козу, бывшую спутницу старого художника. Когда там шел дождь, заброшенный бассейн по соседству, оставшийся от сгоревшего ранчо, заполнялся лягушками, чье хоровое пение приводило Джексона в восторг. Когда я укладывала его спать на матрасе на полу трейлера, мы с Джимми пили текилу за столиком под навесом, а потом переходили к благодарному пьяному сексу в единственной кровати в трейлере. И кровать, и трейлер были слишком малы для двоих — как в психологическом, так и в практическом плане.

Художник, живший на коневодческой ферме, спасался от посягательств разных женщин, как сказал мне Джимми. Биотуалет служил женщинам знаком не ожидать особого комфорта. Кровать была односпальной. Мы с Джексоном приезжали туда только по выходным. Джексон

ходил в детский сад, так что среди недели ездить было неудобно. Меня это устраивало, но иногда по дороге обратно в Лос-Анджелес, с Джексоном на заднем сиденье, у меня возникало чувство, что мое уединение, к которому я возвращаюсь, слишком просторное и пустое. Тогда как Джимми, вероятно, просто заходил в студию старого художника и начинал мастерить что-нибудь, потому что такова была его натура, и он не имел особой склонности к разрушительному самокопанию. Я проезжала мимо уродливой электростанции в Бербанке, смотрела на клубы пара, поднимавшиеся из труб, и ко мне приходило неприятное осознание того, что Джимми Дарлинга не гложет тревога и у него имеется свое место в этом мире. Он был кем-то. Возьмите противоположное значение, и вы поймете, кем я себя чувствовала.

Это ощущение едва ли было связано с чем-то, что мне было нужно исправить или улучшить. Это просто касалось того, кем я была по сравнению с Джимми, что выставляло мою жизнь в дурном свете. Но я бы не хотела встречаться с кем-то еще более запущенным, чем я. Сразу, как я переехала в Л-А, я столкнулась с парнем из Сан-Франциско, гитаристом, который встречался с одной моей знакомой и играл в группе, счи-

тавшейся крутой. Он рассказал мне пятнадцать кошмарных историй о своих героиновых рецидивах и о том, как его сосед по комнате умер от передоза, и его брат тоже, и еще что-то об одной девушке, которую звали Лапша, пытавшейся свалить на него вину за смерть соседа на том основании, что это якобы он доставал ему наркотики, и как он после всего этого старался собрать свою жизнь по кусочкам, как он был рад выбраться из Сан-Франциско, и что нам надо зависать вместе и все такое. У него на руках были татуировки с мордами монстров, которых раньше я не видела. Они напоминали горгулий, призванных отгонять темные силы, только он сам излучал их, и мне захотелось отделаться от него как можно скорее.

Квартира, которую я снимала, была недалеко от озера в парке Эхо, на извилистой улице, застроенной разрушавшимися викторианскими домами, чуть севернее центра города. Квартира принадлежала одной девушке из Сан-Франциско, которую я знала, стриптизерше, уехавшей на Аляску работать в тамошних мужских клубах. Многие девушки ехали на Аляску зарабатывать деньги, но никто не возвращался домой с большим наваром. Они немало зарабатывали в этих клубах, но жизнь там была такой скучной и

гнетущей, что они все время пили, а выпивка там была дорогой, как и все остальное. Девушки возвращались с массой впечатлений от Аляски, но без всяких сбережений. У моей подруги была приятная квартира, потому что дома, в Л-А, она зарабатывала огромные деньги в клубах в долине Сан-Фернандо. У них имелась репутация, и, как я обнаружила, они ей соответствовали. А если точнее, обнаружила после обломного начала в клубах Голливуда, которые были настоящим раем для туристов, приходивших туда парами, чтобы хлопать глазами, и не собиравшихся платить за приватный танец. Нет ничего хуже, чем когда приходят твои ровесники и пялятся на тебя. Всегда лучше иметь дело только с теми клиентами, которые знают правила и играют по ним. С теми, кому нравится воображать, что на свете есть девушки в стразах и на канареечно-желтых шпильках, которые на самом деле балдеют, обтирая грудью физиономии пожилых мужиков. Клиенты, которых мы хотим обслуживать, это те, кто верит, что девушки выбирают стразы и шпильки потому, что им это нравится, а не потому, что они просто играют свою роль. Как только я нашла правильные заведения для работы, я стала получать большую прибыль. Но

что касается точных цифр, имейте в виду, что все, кто работает в таких местах — бармены, официантки, стриптизерши, — получают, помимо основной зарплаты, чаевые. Похоже, люди так устроены. Они не то чтобы врут. Просто берут свой самый лучший день из всех, свой самый грандиозный куш, что-то эпохальное, и говорят вам, что это их нормальный уровень. Все так делают. Так что я могу сказать вам, сколько я получала за пятничный вечер в долине, словно это была обычная смена, но я назову свою лучшую пятницу всех времен, а вовсе не рядовую. Обеденные смены, которые мне давали, когда я только начала работать, не приносили больших денег. Мужчины в обеденный перерыв приходят в китайский буфет, чтобы набить брюхо, а не за женским обществом. Я сидела в задней части театра и скучала, стараясь не замечать запаха кисло-сладкой свинины и слушая, как Дэвид Ли Рот поет, что все, что тебе нужно, это прыгнуть. Одна стриптизерша повторила мне раз шесть, что он сам был дизайнером своей одежды для этого клипа. Казалось, это был единственный факт, в котором она была твердо уверена.

Школа Джексона была в квартале от моего жилья, так что я могла отводить его пешком по

утрам. А если я работала, то мои новые соседи, большая семья с четырьмя детьми, ходившими в одну школу, присматривали за ним по моей просьбе. Он быстро превращался из Джексона в Güero[35], как они называли его. Бабушка была из Мексики и наглаживала всей семье каждую тряпку, вплоть до носков и трусов. Они были приятными людьми, вероятно не вполне понимавшими, какую жизнь я вела, но дети свободны от предрассудков и не вникают в то, что их не касается.

Я не видела никаких предвестий беды. По крайней мере, я была далеко от Курта Кеннеди, и Джексон выглядел счастливым.

Хотя я видела беду. Она окружала меня. Но в то время я думала, что беды других только подтверждают, что у меня все о'кей.

Взять хотя бы сантехника. У этой девушки, в чьей квартире я жила, был сантехник, который то и дело заглядывал за чем-нибудь. Он был из Гватемалы и очень дружелюбным. Слишком дружелюбным. У него было много планов на мой счет. Вам бы понравилось, чтобы ваш сантехник имел на вас много планов, в дружеском плане?

---

[35] Примечания: 35
Белокурый (*исп.*).

Он делал вид, словно он и эта девушка, хозяйка квартиры, были закадычными приятелями, и он хотел того же от меня. Я пыталась начать новую жизнь, а этот сантехник названивал мне, чтобы обсудить, как в субботу он поведет меня в магазин «Все для дома», чтобы я выбрала себе панель для раковины, за которую якобы должен был заплатить домовладелец, а я говорила, что мне все равно, просто привези ее, я же только субарендатор, Виктор (так звали сантехника), какая мне разница. Но Виктор говорил, словно заботясь обо мне и о моих желаниях (всякий раз, как услышите что-то подобное, будьте начеку): нет-нет, мы поедем вместе, я отвезу вас, никаких проблем, правда.

Но для меня это была проблема, потому что я не хотела проводить свою субботу с Виктором. Он объявился в назначенный день в блестящей рубашке с узорами и весь пропитанный одеколоном. От него так разило одеколоном, словно он съездил на фабрику, где его делают, и искупался в нем. Я оставила Джексона с семейством Мартинесов, и бабушка, которую Джексон начинал звать Abuela[36], взглянула на Виктора и кивнула,

---

[36] Примечания: 36
Бабушка (*исп.*).

словно она все понимала.

Мы с Виктором поехали за этой раковиной, и мне пришлось угробить несколько часов, которые я не хотела проводить в его фургоне. Я не хотела испытывать на себе воздействие его счастья, не имевшего, казалось, никакой основы, кроме тонкого слоя добродушия, размазанного по пустоте. Я скучала по Джексону, я скучала по Джимми. Я хотела жить жизнью, которой у меня не было. Но я не была готова признать это. Я хотела избавиться от Виктора, чтобы пить пиво на крыльце, глядя, как мимо проезжает грузовик с мороженым, выдавая свои дурацкие трели, а Джексон играет с соседскими детьми, кандидатами на диабет второго типа. В Лос-Анджелесе хорошо быть незнакомкой. В Лос-Анджелесе плохо быть незнакомкой в компании незнакомца в кричащей рубашке. Если у этого Виктора все было настолько потрясающе, зачем бы он терял свою субботу, тупо игнорируя недвусмысленно недоброе отношение женщины, которой он был не интересен? Я была в отчаянии, а Виктор изображал отчаянного мачо.

После того как мы привезли раковину ко мне в квартиру, он попытался вытащить меня в одно мексиканское заведение на бульваре Сансет и

угостить «Огненной маргаритой». Я сказала, что у меня будет болеть голова от этого коктейля. Я сказала, что в них используют бутан для горения, хотя скорее всего это не так. А он говорит, что мы можем выпить белого вина, вероятно записав меня в утонченные любительницы белого вина. Пытаясь быть вежливой, я соврала ему, что мне надо работать, хотя я не работала в те выходные; я собиралась провести большую часть времени, сидя в своих мыслях на краю кровати этой девушки-уехавшей-на-Аляску, подперев подбородок рукой и слыша грузовик с мороженым, с пустой головой, которая могла заполниться мыслями о том, как жить по-взрослому. Вот, чем я была занята. Это было важно для меня. Никто меня не беспокоил, не смотрел на меня, не домогался, не звонил, не преследовал, не подкрадывался ко мне. Все это я терпела от Укурка Кеннеди несколько месяцев, а теперь я была свободна и не хотела, чтобы ко мне лез этот Виктор.

Услышав эту ложь насчет работы, Виктор захотел станцевать со мной сальсу, когда я освобожусь. Я отказалась и после еще нескольких попыток с его стороны наконец избавилась от него.

Через неделю Виктор позвонил мне и сказал:

— Роми, ты в порядке?

Я сказала, что в полном порядке. Какое ему было дело, в порядке я или нет?

— Мне приснился ужасный сон про тебя.

Всякий раз, как кто-нибудь говорит, что видел сон про вас, этот сон рассказывает вам об этом человеке, а не о вас. Это их личная подсознательная жизнь, и они раскрывают ее, объявляя, кто им снился. Но Виктор был суеверен и всерьез считал, что у него есть основание переживать обо мне из-за собственного сна.

Вскоре после этого звонка Виктор умер в автомобильной аварии, в том самом фургоне, в котором мы ездили в магазин «Все для дома» за раковиной.

Ему приснился плохой сон не о том человеке.

Вскоре после смерти Виктора один из моих соседей, парень по имени Конрад, умер от передоза. Я знала, что Конрад сидел на героине. Иногда он помогал Виктору по работе, но Виктор брал его с собой просто по доброте. Каждый день на нашу улицу приходила сестра Конрада и стояла перед загаженным домом через дорогу от меня, где жил Конрад со своей придурошной мамой. Каждое утро эта сестра звала брата, крича его имя на всю округу.

Когда я только въехала, мама Конрада, Клеменция, постучалась ко мне и сказала, чтобы я не заказывала никакую пиццу. В ответ на мой недоуменный взгляд она сказала:

— Знаете эти черные виниловые ящики, которые носят доставщики? Термоконтейнеры. Они разносят зло. Как только увидите этот контейнер, знайте, что зло близко.

После этого предупреждения она начала рассказывать мне про Дж. Эдгара Гувера и Джими Хендрикса и про всяких прочих «хорошо известных личностей», которые проезжали через эти места и имели связи с ее семьей. Она туманно говорила с грозным видом о своих суперкрутых связях с этими хорошо известными личностями. О'кей, леди. Я извинилась и закрыла дверь. Я редко видела ее, как и Конрада, но каждый день слышала, как его зовет сестра. Каждый день она стояла на тротуаре и орала его имя. А потом в один день она не пришла, поскольку Конрад умер прошлой ночью. Конрада не стало. И все равно до меня не доходило, что эта улица проклята, хотя я ощутила укол, вроде озноба, когда увидела, как из машины выходит доставщик, держа в руках большущий термоконтейнер.

Через некоторое время после того, как умерли

Конрад и Виктор, я была дома, занятая ничегонеделанием до трех часов, когда нужно было забирать Джексона, и услышала, как сосед что-то кричит снова и снова. Я не сразу поняла, что он кричал мое имя. Я выглянула узнать, что ему нужно. Он стоял на тротуаре с рукой, завернутой в полотенце, с которого лилась кровь на тротуар.

— Тебе придется отвезти меня в больницу, — сказал он.

Когда я только въехала, эти соседи пытались быть добрыми со мной, но я сохраняла дистанцию. Они напрягали меня своим видом. Сбритые брови, болезненно бледная кожа, крашеные черные волосы, черные ногти и старинный черный катафалк. Виктор ремонтировал им сантехнику и сказал, что у них на кухне детский гробик, в котором они хранят консервы. Они недавно выкупили свой дом, в котором было четыре квартиры, и систематически выживали других жильцов, чтобы поднять арендную плату. Они были готскими королями трущоб. Двое из их жильцов съехали, но семья из третьей квартиры упиралась. Им было некуда деваться. Муж был диабетиком, и ему недавно ампутировали ступню. Он ходил на костылях и порывался поехать в больницу, потому что у него воспалилась нога,

и ее пришлось ампутировать до колена. Жена зарабатывала уборкой домов, она болела астмой и не различала запахи из-за токсичных веществ, которые ей приходилось использовать по работе. Они были бедняками без документов, из Мексики, с тремя детьми. Я узнала все это потому, что за несколько дней до того, как этот гот выкрикивал мое имя, стоя с рукой, замотанной окровавленным полотенцем, женщина, которую он пытался выселить, попросилась ко мне на разговор. Я впустила ее. Она села на диван и расплакалась, а потом рассказала о семье и их положении. Она сказала, что домовладелец пытается выселить их с мужем за то, что они алкоголики.

— Мы адвентисты седьмого дня, — сказала она. — Мы не пьем.

Мне стало так жалко ее, что я нашла адрес организации по защите прав квартиросъемщиков и помогла ей записаться на прием к адвокату. Уходя, она благодарила меня, но у меня осталось тяжелое чувство. Ее муж был без ноги. И они жили под домовладельцами, которые, как она сказала, издавали по ночам не христианские звуки.

Готский король трущоб кричал мое имя потому, что увидел мою машину на улице. Ему нужна была помощь, и он знал, что я дома. Он отрезал

себе три пальца, включая большой, собственной циркулярной пилой. Отрезанные пальцы у него лежали в мусорном пакете. Я повезла его в голливудскую больницу Кайзера, этакий «Бургер-кинг» здравоохранения, гоня по бульвару Сансет, вовсю сигналя на перекрестках, пока этот тип истекал кровью на мои сиденья, что меня убивало, потому что я дорожила своей «импалой». Я торчала с ним в реанимации, пока туда не приехала его подружка с работы. С него сняли рубашку и поставили капельницу с обезболивающими. Меня коробило при виде его татуировки во всю грудь — перевернутого креста.

— Сделал назло брату, — сказал он, с трудом ворочая языком от обезболивающих. — Он священник.

«Уверена, ты ему показывал», — подумала я.

Виктор умер, Конрад умер, сосед гот оттяпал себе полкисти. Его жильцов ждали бедствия, ампутация, депортация, жизнь на улице.

Меня окружала безнадега, хотя случай гота с циркуляркой больше напоминал карму. Но, наверно, худшим предзнаменованием стал ветеран, весь в черном, точно грач. На дорогу передо мной легла тень человека.

Я отвезла машину в автосервис, чтобы почи-

стить радиатор. Автосервис был под Глендейлом, и домой можно было вернуться на автобусе. Мне нужен был номер 92. Я ждала автобус, когда возник этот тип с татуировкой «ВЬЕТНАМ» вдоль шеи. Черная фетровая шляпа, черная одежда, черные туфли без носков, маленькие темные очочки, усиливавшие нездоровое впечатление.

— Я был в плену, — сказал он мне, показывая руку с кустарной наколкой «ПЛЕН».

Есть две временные плоскости: время ожидания автобуса и время, когда автобус наконец появляется на горизонте. Я была в неправильной временной плоскости, где я застряла с сумасшедшим. Когда машины взбирались на холм, мои голые ноги обдавал жаркий воздух и выхлопные газы.

— Они мне отрезали головку члена, — сказал ветеран.

— Не надо говорить мне этого.

— Прошу прощения, — сказал он. — А у вас мелочи не найдется?

Я протянула ему доллар, потому что автобус никак не появлялся, а мне хотелось отделаться от этого типа. Он взял доллар и достал бумажник, но перед тем как убрать доллар, он повернул бумажник так, чтобы я не видела его содержимого.

Типичный случай. Какой бы ни был сумасшедший, он до последнего не теряет бдительности.

Приехал автобус. Я села в задней части, где живет призрак моего детства. Он спрашивает, как мои дела, вскидывая подбородок. Ветеран сел впереди на сиденье для инвалидов и стал донимать кого-то еще. Он сошел на станции Арко в Глендейле, где продают и покупают героин. Я смотрела на него из окна. Вывернув шею, я старалась увидеть, будет ли он покупать дурь. Но какое у меня было право наблюдать за тем, куда он пойдет и что будет делать? Даже если я дала ему доллар.

Спасибо Джимми Бороде с его пониманием розыгрышей, Укурок Кеннеди прикатил на мотоцикле в Лос-Анджелес. Припарковался между двумя машинами. А сам поджидал меня на крыльце, за плотной завесой бугенвиллеи, так что с улицы его было не видно.

Тем утром, в воскресенье, было девяносто градусов[37], когда я встала. Я взяла Джексона, и мы пошли на пляж Венеция с Джимми Дарлингом. Я ни разу не была на знаменитом пляжном променаде, и возможно, Джимми Дарлинг тоже хотел

---

[37] Примечания: 37
32°C.

устроить мне розыгрыш, приведя туда.

Мы прогуливались мимо шпагоглотателей, тату-студий и пирсинг-салонов. Мимо столиков с ананасовыми и черничными благовониями и с дынным маслом. С манговыми и клубничными кальянами. Гремел кранк и традиционный хип-хоп, и отплясывали хиппи, тряся бородами и бусами до самого пояса. Пожилые бомжи спали в лужах мочи. Потные роллеры, голые по пояс, с искусственным загаром, лавировали между толпами зевак и лужами блевотины прямо под ногами. Люди толкались. Дети орали.

Я сказала, что это ужасно.

Джимми Дарлинг приобнял меня и сказал, что ему нравится думать, что это *лучшее* из всего, что может предложить Калифорния. Мы прогулялись до парка скейтбордистов, потому что Джексон захотел посмотреть на подростков, катающихся по бетонным горкам. Когда мы пришли туда, двое скейтбордистов выясняли отношения. Один треснул другого по голове доской. Тут же появились люди, и внезапно образовалась толпа полуголых мужиков, мутузивших друг друга.

Джимми подхватил Джексона и побежал. Я побежала за ними. Мы добежали до нашей машины, забрались внутрь и сидели молча. Я была не

в себе из-за этой потасовки. Мне слышался треск доски о череп. Джимми успокаивал меня. Мы втроем зашли в бар, подальше от пляжа, заказали гамбургеров и стали смотреть бейсбол. После игры, когда мы прощались с Джимми, я почувствовала, что могу положиться на него. Он сел в свой джип, и мы долго целовались через окно, а потом я вернулась с Джексоном в мою машину.

Я ехала домой. Джексон спал на заднем сиденье. Было около девяти вечера, когда я припарковалась на своей улице. Я знаю время потому, что, начиная с этого момента, была учтена каждая минута.

Я взвалила своего спящего малыша на плечо и стала подниматься по лестнице.

На крыльце, на моем стуле, сидел Курт Кеннеди. Этот тип с бугристой лысой башкой, крупными веснушками, шейной подушкой, грубым голосом и своей настырностью был тут как тут.

Переехать в другой город, почувствовать себя свободной от него после стольких месяцев, чтобы в итоге прийти домой и увидеть, что он поджидает тебя.

Безнадега настигла меня.

19

Кэнди Пенья шила детские одеяла из пряжи, которую ей принес Гордон Хаузер. Готовые одеяла забирала дежурная по блоку и относила в комнату приема и раздачи.

Всякий раз, как Гордон проходил мимо, он видел эти одеяла торчавшими из огромного полиэтиленового мешка, узнаваемой аляповатой расцветки, наводившей тоску. Как-то раз он спросил дежурную ПиР об этих одеялах. Дежурная была обгоревшей блондинкой с тугим хвостом, бесцеремонной, из военных. Она скривилась.

— Эти? Их никто не хочет брать. Я все время забываю сказать носильщикам выбросить их.

Эта же дежурная отвечала за семейные посещения, когда заключенным предоставляли тридцать шесть часов на общение с кровными родственниками в тюремной версии своего жилья.

Кровные родственники. Звучит жутковато. Или Гордон терял трезвый взгляд на вещи под воздействием окружающей обстановки?

— Тяжело смотреть, как они прощаются?

Гордон спросил дежурную ПиР, не успев как следует подумать. Ему случалось видеть, проходя

мимо комнаты семейных посещений, маленьких детей, цепляющихся за матерей и заходящихся в истерике. На дорожке перед семейным корпусом кто-то нарисовал классики сиреневым мелом.

— Тут становишься толстокожим, — сказала дежурная, скривив рот в усмешке, как бы показывая: вот она, толстая кожа. — Особенно когда знаешь, что мать сама виновата.

Было бы лучше, если бы детские одеяла выбросили. Но вместо этого кто-то из местных копов вернул их обратно в отделение смертниц, которые шили их. Когда Гордон снова оказался там, Кэнди Пенья перешила из двух своих детских одеял большую распашонку, вроде пончо, в мягких, просвечивающих тонах синего и желтого. Она расправила ее на весу перед Гордоном.

— Надеюсь, подойдет?

Рукоделие среди заключенных поощрялось. Но всем хотелось, чтобы Кэнди Пенья завязала со своим вязанием, даже Гордону, который положил распашонку в бумажную сумку, засунул поглубже в багажник и попытался забыть о ней.

Как-то вечером он сидел в «Баресси», омывая свой мозг виски, и на него нахлынула ностальгия по Симоне, с которой он встречался в Беркли. Не так давно она звонила ему и оставила сообщение,

интересуясь, включил ли он свой холодильник. Она так шутила, когда они встречались, намекая, что он представляет собой открытый проект, еще не завершенный, но потенциально нацеленный на жизнь с рабочим холодильником. Таким образом она проводила параллель между его неприспособленностью к домашнему хозяйству и тем, что он отталкивал ее, отчего испытывал чувство вины, потому что дело было в другом. Это Симона вызывала у него сомнения, а не расставание с холостяцкой жизнью. Он не стал перезванивать ей, хотя мог бы. Теперь, когда он захмелел и ощутил свое одиночество, он не мог понять, почему не сделал этого. Молодая барменша с широкой улыбкой и фальшивой грудью, распиравшей ее рубашку, то и дело спрашивала сидевших по одному выпивох, не нужно ли им чего.

— У всех есть все, что нужно? — спрашивала она, как будто они были в Аппалачских горах, а не в Калифорнийской долине.

На экране телевизора над барменшей показывали репортаж про город, захваченный шиитскими ополченцами, мужчинами и подростками в белых масках, мелькавшими в объективе ручной камеры на скутерах, пока на заднем фоне при-

вычно полыхали горы хлама. Кто-то попросил барменшу включить бейсбол малой лиги. Гордон подумал, что надо будет прочитать об ополченцах, когда придет домой. Он тоже участвовал в этой войне, как и всякий человек, за своим компьютером. Гордон мог бы жить более аскетично и обойтись без цифрового телевидения, но его уже установил предыдущий жилец. Домовладелец сказал, что ему повезло. Мало кто в горах мог рассчитывать на такое удобство.

Он подумал, что пошлет Симоне открытку. Обтекаемого содержания. Без явного намека на желанную картину, в которой она стонала под ним, словно горная пума. Симона навещает его в лесной хижине, видит стопки книг на грязном полу и бутылку виски на кухонной стойке. Женский взгляд на его уединенную жизнь, его вкус к красоте долины, не очевидной для неподготовленного глаза. Долина являла собой суровый, равнинный, машинный ландшафт, со странным мутным светом, плотным от взвеси торфа и прочих примесей от фермерских хозяйств и заводов по переработке нефти. Это был рукотворный ад на земле, но все же это была настоящая долина, с горами, вздымавшимися по обе стороны. Она была размером с агропромышленный комплекс и, по

существу, являлась им. Трудно было представить, как она выглядела до того, как ее освоили. Было трудно представить даже, как она выглядела освоенной в прежние времена, до появления техники. Машины сотрясали миндальные деревья с бездушной синхронностью. С каждым механическим толчком на землю сыпались плоды. Другие машины сгребали нелущеный миндаль в желоба, а третьи засасывали его по рукавам в воронки контейнеров. Сбор урожая происходил в быстром темпе и один раз в год, в сентябре. В остальное время бескрайние миндальные плантации стояли пустыми и тихими.

Он заплатил по счету и прошелся до бензозаправки по соседству. Бензозаправка была главной точкой по продаже алкоголя в городке, и перед ней тянулась очередь из мужчин и подростков, щурившихся под резким светом в ожидании бутылки крепкого пива или крепленого вина. Гордон взял бутылочку «Perrier» из холодильника, чтобы выпить по дороге домой. Минералка помогала ему не клевать носом за рулем. Когда он поставил бутылку на кассу, подросток в очереди за ним уставился на нее.

— А это что? — спросил он.

Зеленая бутылка в форме груши показалась

Гордону неуместно миловидной и экзотичной. Он догадался, что парень принял ее за алкоголь.

— Это, ну, в общем, минералка.

— *Минералка?* — Парень скривился. — Я подумал, это типа новое бухло.

На заправке не продавали открыток. Кассир посоветовал магазин «Всё за доллар». Но там не оказалось открыток с видом Стэнвилла. Очевидно, это было не то место, которое пробуждало в людях добрые воспоминания, и Гордон решил, что, если он хочет связаться с Симоной, он может просто написать ей электронное письмо, как нормальный человек.

В то Рождество, получив недельный отпуск, он перебрался в Беркли, к Алексу, чтобы спать на диване.

— Как твоя однокомнатная жизнь? — спросил Алекс.

Гордон не стал связываться с Симоной. Они с Алексом устроили ностальгический тур: букинистические лавки, ирландские кафетерии на баржах, кофейни на Телеграф-стрит, заполненные хорошенькими женщинами, прилагавшими массу усилий, чтобы казаться непринужденными и естественными.

Барбекю на Шаттук-авеню и блюзовый клуб по

соседству, который в годы их учебы в колледже мог бы носить звание Самой прокуренной таверны на Земле, но теперь никто не курил в барах; это было противозаконно.

Алекс и Гордон говорили о войне. Они оба одержимо просматривали одни и те же веб-сайты: «Информационный комментарий» для анализа ситуации и «Жертвы» для количественных показателей. Одно и то же они находили смешным и чудовищным. Все это было чудовищно, но кое-что из этого было смешным. То, как Буш говорил о «мистере Малики», которого ЦРУ сделало президентом Ирака. «Я пытаюсь *помочь* человеку!» Буш говорил это с искренним, но бессильным отчаянием на провальной пресс-конференции.

— Пытаюсь *помочь* человеку! — повторял Алекс все время.

Сразу после Рождества новое иракское правительство повесило Саддама Хусейна. Гордон и Алекс смотрели это по интернету.

— Он держался молодцом, — сказал Алекс. — Над ним смеялись во время казни, и все же я чувствую, последнее слово осталось за ним.

Гордон один доехал по мосту до Сан-Франциско и поел во вьетнамском ресторане, о котором ему рассказала ученица, Роми Холл. Не то чтобы она

его рекомендовала. Просто упомянула в числе мест, по которым скучала. У повара, как она сказала, есть забавная привычка. После того как он использует свои щипцы, он дважды щелкает ими и дергает себя за рубашку. От этого у него на халате большое жирное пятно. А его отец сидит наверху, там, где ванные комнаты, все время курит и шинкует мясо. Когда Гордон пришел туда, этот повар был на месте. Он дважды щелкнул щипцами и потянул за свой халат. Отец был наверху, куря сигарету за сигаретой и шинкуя здоровый шмат мяса.

На Новый год они с Алексом отправились на вечеринку в Окленде, типичную толкучку, где незнакомые люди на кухне спрашивают друг у друга всякую чушь, вроде «кем ты работаешь?» и «откуда ты?». Женщины уделяли особое внимание Гордону, поскольку еще не выяснили, что с ним не так, в отличие от остальных мужчин на вечеринке, как пояснил ему Алекс. Среди них были бывшие аспирантки, переведшиеся с кафедры филологии, риторики или сравнительного литературоведения на психоанализ. Они не только осваивали теорию, но и оттачивали навыки на практике. Алекс сказал, что ему поставили диагноз истеричного самца, а точнее, так его

заклеймила одна дамочка, которая хотела переспать с ним, но нашла его слишком своенравным и недостаточно компанейским для серьезных отношений.

Когда Гордон уклончиво высказался о своей работе после того, как его спросили несколько раз, женщины на кухне облепили его точно саранча.

— Правда? В тюрьме? Это, должно быть, тяжело.

— Тюремные надзиратели. Я бы не вынесла находиться с такими людьми.

— Они даже не могут носить свою одежду. Как копы, даже хуже. Вот же уебищная жизнь.

Женщины принялись взахлеб обсуждать, что за отбросы общества должны работать надзирателями. У Гордона не хватило смелости, а может, решимости спросить, а был ли кто-нибудь из них знаком с тюремными надзирателями. Хотя с какой стати ему защищать надзирателей? Он сам их ненавидел. Но если бы кто-то из этих женщин выглянул из своего кокона, они бы увидели, что тюремные надзиратели — это несчастные люди без всяких перспектив. Недавно один из них вышиб себе мозги на вышке в долине Салинас. Он мог бы рассказать им об этом, вступив в аргументированный спор. Но разве было не ясно?

Они даже не носят свою одежду. Это напомнило ему случаи из собственной аспирантуры, когда его наставники походя критиковали людей, о которых совершенно ничего не знали.

Как первый и единственный отпрыск своей семьи, получивший так называемое высшее образование, Гордон, возможно, отличался чрезмерной чувствительностью. Он сталкивался с людьми в докторантуре, с горячностью объявлявшими себя выходцами из рабочего класса или заявлявшими, что один из их родителей не имел высшего образования или что их семья была «бедной», хотя и посещала колледж. Так или иначе, если кто-то громко настаивал на своем пролетарском происхождении, это было показателем для Гордона, что они привирают. Если бы они вышли из такой среды, как сам Гордон, они бы старались скрывать это, как скрывал он, потому что сам факт его первенства в своей семье показывал, насколько неустойчивым было его положение.

Некоторых из присутствовавших на вечеринке Гордон знал по департаменту образования — теперь они были постдокторантами и рассказывали о предстоящих рабочих собеседованиях и академических контрактах на издание своих трудов, как будто это было кому-то интересно. Женщины

то и дело ставили кавычки в воздухе, как делают студентки, желая показать дистанцию между собой и словами, которые они произносили, эти неуклюжие ученые женщины, которые когда-то казались ему миловидными. Гордон не хотел обсуждать свою жизнь с этими людьми. И, чтобы не чувствовать своей отчужденности, накачивался алкоголем.

На следующий день их с Алексом ждало похмелье.

С Алексом Гордон мог хотя бы частично выразить, каково ему было в Стэнвилле. Он рассказал ему о своих ученицах, упомянув в их числе Роми Холл как одну из тех, кому он помогал или пытался помочь, и сам понял при этом, что она была для него чем-то большим.

Алекс стал расспрашивать его об отношениях с заключенными и заговорил о Нормане Мейлере и Джеке Генри Эбботе. Алекс сказал, ему интересно, должен ли Мейлер отвечать за то, что случилось после того, как он добился освобождения Джека Генри Эббота, своего любимчика.

Гордон возразил против такого определения.

— Ну да, ну да, — сказал Алекс. — Он был не любимчиком, а личностью. Но понимал ли это Норман Мейлер?

Когда Гордон снова вышел на работу, тюремное начальство установило режим из-за тумана. Это был не настоящий туман, а дымка от воздушного опыления миндальных полей, окружавших тюрьму. Режим означал, что все сидели по своим камерам. Ни работы, ни занятий, никакого передвижения. Гордону заплатят за то, что он ничего не делает, как и всем остальным, но он испытал сожаление. Оттого, что не увидится с ней и не скажет, что побывал в ее вьетнамском заведении на Шестой улице.

Придя домой, он поддался порыву и позвонил по номеру, который она дала ему. Ребенка звали Джексон Холл, как было написано на розовой бумажке. Я просто навожу справки. Я даже не должен говорить ей об этом. Человек, ответивший ему, сказал позвонить по другому номеру. По новому номеру ему пришлось очень долго ждать соединения, после чего его перевели на голосовую почту. Через несколько дней ему перезвонили, когда он был на работе и не мог ответить, и оставили сообщение. Он перезвонил по этому номеру следующим утром, попал на голосовую почту и оставил очередное сообщение. Так продолжалось несколько недель, поскольку Гордон мало бывал дома, так как работал в долине, а жил в горах.

Что он в итоге узнал, когда ему ответил живой человеческий голос из Центра помощи семье и детям в Сан-Франциско, это то, почему ему не следовало вмешиваться в это.

20

Несколько лет назад какие-то ублюдки построили дом отдыха на той стороне объездной дороги Стемпла. Гады на мотоциклах и мотосанях почти каждые выходные гудели в обе стороны мимо моей хижины, летом и зимой. Прошлым летом было хуже обычного, иногда выходные затягивались на три дня. Это становилось абсолютно невыносимым. У меня начались проблемы с сердцем. Любой эмоциональный стресс, гнев прежде всего, вызывает у меня неровное сердцебиение. Получалось так, что постоянный непрестанный шум душил меня гневом, вызывая дикое сердцебиение. Было рискованно совершать преступления так близко от дома, но я рассудил, что, если не разделаюсь с этими ребятами, гнев буквально убьет меня. Так что одной осенней ночью я проскользнул туда, хотя они были дома, и украл их бензопилу. Утопил ее в болоте.

Через пару недель я вломился в их дом и довольно круто разгромил все внутри. Там была

роскошная обстановка. Также у них имелся жилой прицеп. В него я тоже вломился. Внутри стоял серебристый мотоцикл. Раздолбал его топором. У них было четверо мотосаней снаружи. Я как следует раздолбал их двигатели.

Примерно через неделю тут появились копы и спрашивали меня, не видел ли я, чтобы кто-нибудь околачивался поблизости. Также спрашивали, нет ли у меня каких проблем с мотоциклами. Они были близки к правде. Но они, должно быть, не подозревали меня всерьез. Иначе их вопросы не были бы такими небрежными.

Я рад, что держался так собранно, отвечая на вопросы копов.

21

Вот как никакой чувак не захочет проснуться: в наручниках и на больничной кровати. Но именно так пришел в себя Док. Пристегнутым к кровати. Вошел врач. Не тюремный помощник медработника, а настоящий врач. На нем даже был белый халат. Врач наклонился над ним.

— Вы проснулись, — сказал он. — Вы слышите меня нормально?

Док кивнул.

— Вы знаете, как попали сюда?

Док покачал головой. У него не было ни малейшего, блядь, представления.

— О'кей, это нормально. Начнем с основ. Вы знаете, какой сейчас год?

— Это…

Док не знал, какой сейчас год. Но на него снизошел правильный ответ на этот дурацкий вопрос.

— Следующий после прошлого.

Врач нахмурился.

— Вы знаете, где вы находитесь?

Док огляделся. Он не увидел ничего, кроме металлической каталки с таблетками в бумажных стаканчиках. На стуле сидел вооруженный охранник. В комнате не было окон и ничего на стенах. Он взглянул на свое тело. Увидел пижаму, точнее, полупижаму. Его рука была обмотана лентой, удерживавшей иглу. От руки поднимались трубки к металлической стойке с пакетом, свисавшим с нее, наполовину наполненным светлой жидкостью. Вошла, должно быть, медсестра и взглянула на пакет. Сжала его, как будто небрежно, и вышла из комнаты. Запястья Дока обхватывали наручники, закрепленные на металлических поручнях кровати. И так же было с лодыжками. Он понятия не имел, где он. Все, что он знал, это что его череп, казалось, был раско-

лот надвое бетонным водосливом, по которому лилась ледяная вода, разводя его мозг в разные стороны.

— Хоть какое-то представление, где вы? — снова спросил врач.

— Да. Я прямо над центром Земли.

Эй, какой-никакой ответ. Врач усмехнулся.

— Ну, ладно, весельчак. А свое имя ты мне можешь сказать?

— Могу, — сказал Док. — Я знаю свое имя. Знаю!

— Поздравляю, бляха муха, — произнес охранник со стула.

— Ричард Л. Ричардс. Видите это?

Док взглянул на свое предплечье, где была татуировка с горячей красоткой, а ниже надпись «ВОСПРЯНЬ ХУЕМ, СТАРИК». Это была шутка со смыслом. Он был Рик, Рик Ричардс, даже если люди звали его Док. Он увидел эскиз этой татуировки на стене тату-студии в Голливуде среди прочих эскизов, предлагавшихся клиентам на выбор. У Дока не было амнезии. Он знал, кто он. Утритесь хуем, я Рик. Котелок у него кое-как варил, только он не помнил, что и как.

Его талия была перехвачена оковами. А точнее, электрошоковым поясом. Если бы он попытал-

ся дернуться, его бы уложил обратно хороший электроразряд.

— Что я натворил? — спросил он врача. — Я кого-нибудь убил?

Вооруженный охранник у двери рассмеялся громко и протяжно.

— Я кого-нибудь *убил*, — передразнил он тонким голосом.

— Вы перенесли черепно-мозговую травму, — объяснил врач. — Вы чуть не умерли. Вы провели восемь недель в искусственной коме, пока мы ждали, чтобы сошла опухоль.

— А этот говнюк сидел здесь и сторожил меня все это время?

— По полуторной ставке, между прочим, — ответил говнюк.

Врач объяснил Доку, что он был в больнице в Лоди.

— Блядь, ненавижу Лоди.

Но был ли он раньше в Лоди? Он не был уверен.

Черепно-мозговая травма, повторяли ему. Врач дал ему брошюру «Расскажите своим близким о вашей ЧМТ», какие раздавали в этой больнице, в которой не принимали заключенных без особого распоряжения.

У Дока не было никаких близких, но он все же прочитал брошюру. Ему будет хотеться много спать, его воображаемым близким следует это понимать. Он может казаться претерпевшим личностную трансформацию и стать более спокойным или сердитым, менее или более склонным к вспышкам агрессии, у него может проявиться скрытый дар, но также он может утратить в той или иной степени свои умственные или исполнительные способности.

Близкие, у тех, у кого они есть, должны проявлять снисхождение к этим изменениям, а также к растерянности и впечатлительности выздоравливающего человека, к его головокружениям, нетипичным идеям и причудам.

У Дока возникало много странных мыслей за те дни, что он провел в постели, в ожидании, пока придет сестра, чтобы потрогать и сменить пакет для внутривенного вливания. В основном это были мысли о музыкальных звездах стиля кантри, крутившиеся у него в уме точно пони по арене. Эти звезды, как мужчины, так и женщины, были в сценических образах, разодетые для выступления перед тысячами зрителей на сцене и перед множеством тысяч на телевидении. Эти ребята выглядели как старые семейные друзья,

но Док не знал, какой семьи или чьей. У него в уме возникало чувство воссоединения, собрания множества человек на сцене для выступления всех звезд разом. Долли Партон с ее ямочками. Рой Экафф. Рэй Пиллоу. Рэй Прайс, ковбой чероки. Скитер Дэвис. Ферлин Хаски. Все вместе они пели «Цветок в лесной чаще»[38].

Вариант для рекламы муки «Марта Уайт» в исполнении Флэтта и Скраггса[39].

Врач сказал, что такое бывает при травмах мозга. После них у людей возникают более яркие воспоминания, или слышится музыка, или, как в случае Дока, и то, и другое.

Приемному отцу Дока, садисту Вику, нравилось слушать «Гранд ол опри» и смотреть это телешоу. Любимцем Вика был Портер Вагонер, который носил джинсовые жакеты со скругленными фалдами, чтобы красоваться своей пряжкой участника родео размером со сковороду. У него было длинное овальное лицо, напоминавшее торец старинного вагона с обтекаемой крышей.

---

[38] Примечания: 38

Wildwood Flower — знаменитая американская песня, написанная в 1860-е гг. и получившая наибольшую известность в исполнении фолк-группы «Carter Family».

[39] Примечания: 39

Знаменитый комичный дуэт Лестера Флэтта и Эрла Скраггса на гитаре и банджо.

Складками на его слаксах можно было резать ветчину, и они так плотно сидели на нем, что им не требовался никакой ремень, тем более с пряжкой родео, да и сама идея того, что такой франт, как Портер Вагонер, мог быть победителем или хотя бы участником настоящего родео, не внушала доверия, но это было частью его стиля.

Время крутило педали памяти, и мысли Дока плыли по течению, плавно сплавляя дни и ночи в однообразное бессонное марево, перемежаемое сменой капельниц, обменом беззлобной враждебностью с охранником у двери и провалами в сон.

Настал день, когда его одели в тюремную одежду и отвезли обратно в Новый Фолсом, но не в бывший блок. Доку требовался особый уход, потому что он спал по двадцать часов в сутки и имел проблемы с равновесием, когда пытался ходить.

Он знал, какой сейчас год. Он знал, где он был. Он не мог вспомнить, почему он ненавидел Лоди, но, возможно, это было не важно. «Утритесь хуем, я Рик». Память к нему вернулась, более или менее, но он чувствовал, что изменился. Стал другим. Не только из-за того, что в одном ухе (или где-то еще) у него играла музыка кантри, наполняя его звуками и образами прошлого. Главные

изменения касались его характера. Словно кто-то пришел к нему в голову — не в биологическое серое вещество внутри черепной коробки, но к *настоящему ему*, к его воспоминаниям и ощущениям и хранящимся в памяти образам. Словно кто-то пришел туда и стал наводить порядок, переставлять все, пока Док был в коме. Он чувствовал себя по-другому. Ему было хорошо. Пусть даже его мучили изнурительные головные боли, и он не всегда мог найти нужные слова, когда хотел что-то сказать. У него было такое ощущение, что все будет о'кей. Что было странно, потому что ничего похожего на о'кей не ожидалось. Он отбывал пожизненное заключение без права на УДО. И он был копом, и теперь этот тщательно охраняемый секрет вышел наружу. Все это знали, поэтому его сокамерник и попытался убить его. Доку дали отмашку. Его будущее должно стать сплошным дерьмом. Его переведут в тюрьму под усиленной охраной. Но если там его личность раскроют, если люди выяснят, кто он такой, его будет больше некуда переводить. Высока вероятность, что Док умрет насильственной смертью. И все же он предпочитал разбираться с проблемами по мере их появления и не паниковал. Он испытывал чувство покоя, новое и непривычное

для него. Возможно, его резкий нрав смягчился, как и предупреждала брошюра для его воображаемых близких.

— Мне хорошо. Мне просто охуенно, — сказал он пустым стенам своей маленькой палаты.

— Что они дали тебе, малыш? — отозвался голос из соседней палаты. — Я тоже хочу. Все, что дают мне, это трамадол.

— Я не принимаю наркотиков, — сказал Док. — Мне просто хорошо. Это оттого, что мне вправили мозги. А что случилось с тобой?

— Меня отмудохали, а копы стояли и смотрели. Никто мне не помог.

Это был высокий голос. Он нравился Доку. Он слышал медсестер и знал, что его соседкой была «пуховка», транс.

Ее звали Серенити, и Доку хотелось узнать о ней все.

— Ты белая или черная? — спросил он через стену.

— Я всех цветов, малыш.

Но он видел через узкое окошко в двери, когда Серенити перемещали в душ, что она черная. Он была стройной и тонкой в кости, с лицом ангела. Порочного ангела. Он это видел. Цыпочка была что надо. Но бедняжка. Ее рука висела на

перевязи, а нога была в гипсе. Ее перемещали по коридору в кресле-каталке. То, как она улыбалась, оборачиваясь, катившему ее медбрату, изумляло Дока. Это была такая женственная улыбка, и в ней было что-то такое, отчего хотелось улыбнуться этому миру.

Он пытался увидеть, поймать ее взглядом каждый раз, как слышал, что открывают дверь в ее палату.

— Эй, многоцветная, — позвал он однажды утром. — Я думаю, ты прекрасна.

— Ты не мой тип, любимый.

— Откуда ты знаешь?

— Так я видела тебя. Твоя голова похожа на мяч для софтбола с этими швами.

Док рассмеялся.

— Я тоже тебя видел. Тебя как следует отделали, а?

Ее так избили, что она потеряла сознание. Рассказывая ему об этом, она плакала.

Позже, когда Док думал о том, что Серенити рассказала ему, он понял, что переменился не полностью. Он понял, что все еще прежний Док, потому что почувствовал в себе гнев при мысли о том, что случилось с Серенити. Он хотел стереть с лица земли тех двоих, что избили ее. Всадить

им пули в череп, а потом запихнуть в багажник и сбросить на свалке в пустыне между Л-А и Вегасом.

Ему все больше нравился ее голос из соседней палаты. Соседка. Раньше он оскорблял «пуховок», но почему? В мужском обезьяннике это были дамы. Ему нравилось смотреть на их сиськи, но он не относился к ним как к людям. Серенити была весьма близка к настоящей женщине; у нее не было стручка. У нее ничего не было «там». Она посмеивалась над ним за то, что он говорил это «там», но ему не хотелось грубо выражаться в присутствии женщины. Она сменила пол, но это была «тюремная хирургия», проведенная самолично в момент безрассудства и отчаяния. Она чуть не умерла от потери крови. Потом она поправилась. Ее перевели в общее отделение. На нее напали двое мужчин из ее блока, изнасиловали и избили. Тюремное начальство хотело определить ее на постоянное заключение в карцер.

— Они сказали, что не могут гарантировать мою безопасность. Даже если посадят меня в тюрьму для стукачей, это может быть небезопасно.

Она подавала петицию, чтобы ее записали как женщину и перевели в женскую тюрьму. Имелась еще одна заключенная в США, добившаяся

такого, как сказал ей ее адвокат. Это была мечта Серенити.

— Надеюсь, твоя мечта сбудется, — сказал ей Док через стену.

Вскоре Дока должны были отправить в тюрьму для стукачей, но он не стал говорить Серенити этого, как и вообще ничего личного. Что он мог бы сказать? Я был гнилым копом и убивал людей? Возможно, ему слегка помяли шарики, пусть он был слабым и не таким крутым, как раньше, но он не был дураком.

В течение тех месяцев, что он находился под врачебным присмотром, если он не перекрикивался с Серенити, он слушал кантри, игравшее почти все время. У него в мозгу был палец, жавший на кнопку «играть». Он слушал «Дедушку Джонса». «Козявку Бисли». «Ловцов опоссумов». «Компотных пьяниц». «Рубероидных ископщиков». Дылду и его ансамбль. Певец по имени Дылда носил смешные костюмы с ремнем ниже бедер, намного ниже, отчего он выглядел каланчой на маленьких ножках. В те времена, в 60-е, это считалось смешным. По крайней мере, это считал смешным Вик, приемный отец Дока, который хотел, чтобы Док смеялся вместе с ним. Или чтобы Док принес ему пепельницу. Дылда

был высоким, но его штаны казались лилипутскими из-за заниженного ремня, гораздо меньше нужного размера для такого роста. Дылда не высмеивал манеру молодых черных носить штаны на бедрах. Тогда ничего подобного не было. Если бы вы сказали Дылде, что он носит штаны в гангстерском или в тюремном стиле, на бедрах, ну… лучше бы вы этого не говорили. Объяснить такое было бы нереально. Комедийное шоу на «Гранд ол опри» было для белых. Музыка кантри была для белых, даже если среди ее исполнителей был черный Чарли Прайд. Заниженные штаны Дылды были просто случайным причудливым выпадом. Группы в деревенском стиле пели рекламные куплеты для муки «Деревня», застолбившей эту марку. Деревня. Маленькая Тэксас Дэйзи Роудс пела такие куплеты с «Ковбоями золотого Запада». У нее была плохая кожа и темные глаза, и ершистая, жутковатая привлекательность. Не красавица, но красотка.

Хэнк Уильямс недоедал в детстве и получил сколиоз. Минни Перл работала уборщицей и горничной, когда Джордж Хэй устроил ей громкий дебют в мире эстрады в ее перезрелые двадцать восемь лет. Хэнк Сноу был лифтером. Марти Роббинс вырос в палатке и зарабатывал на жизнь

тем, что ловил диких лошадей. У Портера Вагонера было три класса образования. У Долли Партон была дюжина братьев и сестер и не было водопровода. Кантри было занятием свойским. Но не для таких ребят, которые носили штаны на бедрах, как Дылда, только не в шутку, и называли свояками не своих домашних, а друзей и подельников.

Тэксас Руби Оуэнс погибла при пожаре в трейлере. Пожар в трейлере грозил самым разным людям — Док это знал по работе. Кого-то из этих людей он арестовывал. Он вспомнил свой выезд на пожарище одного трейлера в Уэстлейке в начале 1980-х. Там был сплошной бардак, устроенный самими жильцами, мексиканцами, которые мешали пиво с моллюсками и томатным соком, жгли свечи из суеверия и засыпали пьяными. Они забыли о свечах, и одна из них упала. «Хорошо погуляли», — сказал Док после того, как пожарные залили пламя, и от трейлера остался один обгорелый остов, шипевший и чадивший. Доку казалось смешным, что эти люди сожгли собственный дом. Ебать, каким я был засранцем.

Он сказал Серенити, что был плохим человеком. Он связался с другим плохим человеком, и они вместе убили одного типа. Он рассказал

Серенити всю эту историю — о Бетти, ее муже и его убийце. Серенити сказала, что раз тот тип был убийцей, возможно, они сделали хорошее дело. Может, Док был вовсе не плохим. Серенити была кокеткой, ей было свойственно приукрашивать вещи — возможно, поэтому она, помимо прочего, так нравилось Доку.

— Я убил мальчишку без причины, — сказал он, перейдя к худшему факту своей биографии, к случаю у ломбарда на Беверли. — Вышиб ему мозги.

— Я тоже кое-кого убила, — сказала Серенити, к удивлению и досаде Дока.

Он-то думал, что это будет его большой момент исповеди, а оказалось, что они оба были засранцами. И неожиданно Доку захотелось пустить струю повыше и доказать, что он хуже ее. Но затем он вспомнил, что Серенити дама и с ней не стоит состязаться. Он попытался сосредоточиться на том, что она рассказывала.

— Мой кузен Шон вбил себе в голову мысль украсть разной херни из одного дома, — сказала она. — Там никого не должно было быть. Там жили обычные люди с работой, и они должны были быть на работе, но они оказались дома. Шон отклонился от плана и связал их, но этот мужик развязался и убежал. У нас осталась только жен-

щина, которая орала как резаная. Шон приказал мне пристрелить ее. Я сделала, как он сказал. Я бы все отдала, чтобы вернуть ее.

Серенити добилась перевода в женскую тюрьму. Государство признало ее женщиной. После этого все завертелось. Тюремному начальству нужно было по-тихому сплавить ее из тюрьмы, поскольку у них в медицинском отделении мужской тюрьмы внезапно оказалась женщина.

Док чувствовал все ее возбуждение и нервозность через стену. Он поздравил ее и пожелал удачи.

— Мне страшно, — сказала она ему. — Что, если эти женщины меня не примут?

Док сказал ей то, что Джордж Хэй сказал Минни Перл, когда она только начинала выступать, зеленая, как холмы Теннесси, и была вся на нервах оттого, что ей предстояло выйти на большую сцену перед всеми этими людьми, на «Гранд ол опри».

— Тебе нужно просто выйти туда и полюбить их, милая, — сказал Джордж Хэй Минни Перл, и Док повторил эти слова Серенити. — Просто иди туда и люби их, и они полюбят тебя в ответ.

Через шесть недель консультант Дока сказал

ему, что его состояние приемлемо для перевода в медицинский корпус блока особой категории в тюрьме для стукачей в пустыне Южной Калифорнии.

— Никак, блядь, не дождусь, — сказал Док без малейшего налета сарказма.

22

Однажды ко мне пришел посетитель. Тебе не говорят заранее, кто это. Просто объявляют твое имя и ведут тебя в комнату посещений. Я пробыла в Стэнвилле три с половиной года, и никто ни разу не навещал меня. Даже писем не приходило. Я писала нескольким друзьям из Сан-Франциско, и никто из них не ответил. Люди быстро забывают про тебя, когда ты попадаешь в тюрьму.

Я не могла представить, кому захотелось приехать ко мне.

После того как меня обыскали, я увидела, что это адвокат Джонсона.

— У меня нет новостей для вас, — сказал он в ответ на нежданную надежду в моем взгляде. — Я приехал посмотреть, как вы здесь. На пенсии ты можешь не работать, но не можешь не думать. Отсюда я поеду в Коркоран к одному парню, которому дали пять пожизненных сроков, и еще к

одному, с пожизненным без права пересмотра. У вас здоровый вид.

— Это только кажется, — сказала я. — Из-за загара.

Я проводила столько времени под открытым небом во дворе, что мои руки и ноги стали цветом как поджаренные пончики без глазури. В комнате для посещения также была Слеза. Перед ней сидел старик. Который обильно потел. Ему было лет под сто. Я не знала, что настолько старые люди могут потеть. Слеза была шесть футов ростом, крепкая, мужланистая, злобная и прекрасная, ее волосы были туго стянуты к затылку, лицо точно таран. А этот старик был сутулым и лысым и все время держался за грудь. Очевидно, он был ее спонсором, которого она заарканила по переписке. За другим столиком сидела Кнопка Санчес, тоже со стариком. Он принес ей целый шведский стол из продуктовых автоматов: микроволновый гамбургер и жареную картошку, слоеное мороженое и два вида энергетических напитков. Она улыбалась ему, а он поедал глазами ее груди.

Слеза и Кнопка, как и другие женщины вокруг меня, обрабатывали своих Берндтов: это не сильно отличалось от «Комнаты на Марсе», только здесь они наводили марафет и продавали свои

задницы за расфасованную уличную еду. Или, в случае Слезы, за пакет героина.

Я тоже нуждалась в спонсорах. Я тоже теперь завела страницу на сайте «Друг по переписке». Но то, что можно было получить таким путем, не представляло реальной ценности. Это не добавляло ясности в том, как мне помочь Джексону. Это не вело ни к чему, кроме животного существования с почтовыми заказами одеколона одной из двух марок: «Табу» или «Сэнд-и-сэйбл».

— Есть какой-нибудь способ связаться с моим сыном?

— Это за пределами моей компетенции. Если бы я мог помочь вам в этом, то помог бы, но я не могу.

— Мне нужно выбраться отсюда.

Я смотрела, как старик передал Слезе упаковку, которую она проворно засунула себе в тюремные трусы.

— Вы должны помочь мне.

Адвокат открыл свой кейс и вынул стопку бумаг.

— Я избавляюсь от материалов и подумал, что вы захотите увидеть свои бумаги. Это материалы по вашему делу: предварительное следствие, замечания, показания свидетелей, представление

доказательств.

При виде этой стопки бумаг, записей всего произошедшего, произошедшего со мной, меня пробило. Я заорала на него, чтобы не расплакаться. Я сказала, что проводила исследования и почти уверена, что его работа была неэффективна.

— О боже, — сказал он. — Вы только тратите напрасно свои силы.

— Почему? Потому что это выставит вас в плохом свете?

— Потому что это не работает. Даже в таких немыслимых случаях, когда адвокат откровенно бьет баклуши, суд все равно считается с ним. Один тип заснул во время перекрестного допроса своего клиента. Другой сам имел судимость и вел дело об убийстве на общественных началах, не имея опыта судебной защиты. Как по-вашему, они были «неэффективны»? Совсем напротив, по мнению Верховного суда. У вас было очень трудное дело, это несомненно. И я вам сочувствую.

— Если бы я только могла нанять адвоката.

Он покачал головой:

— Роми, люди, нанимающие частных адвокатов, но не имеющие средств на хорошего, то есть на дорогого, боже ж мой, это жалкое зрелище. Вы

бы видели этих частных защитников, к которым люди обращаются в итоге. Эти ребята разбирали случаи вождения в нетрезвом состоянии, а тут им поручают тягчайшее преступление. Такое нужно запретить. Вам еще повезло иметь дело с ведомством публичных защитников.

Трудно было представить, что мне хотя бы в чем-то повезло.

У меня по шее катились слезы. Мне хотелось сорвать злобу на этом человеке. Однако он был единственным, кто когда-либо приехал навестить меня.

Посетитель Слезы повалился на стол. Копы повыскакивали из участка. Похоже, у старика был сердечный приступ. Зазвучала сирена. В комнату стали вбегать санитары.

— Посещение окончено, — забубнил интерком. — Посещение окончено. Возвращайтесь в свои блоки.

Хаузер вполне дал понять, что я ему нравлюсь. Все в классе это знали. Это стало шуткой, и Конан напевал «Вот идет невеста», когда я входила в класс, потная и в опилках, из деревообделочного цеха.

Сэмми просто помешалась на чувствах Хаузера ко мне и рассуждала о том, как он мог бы усыно-

вить Джексона, после того, как я сказала ей, что дала Хаузеру телефонный номер. Сэмми была ходячим справочником про каждого человека, переживавшего какие угодно бедствия в тюрьме, и могла привести все случаи, когда в дело включались служащие или даже надзиратели и брали на воспитание детей заключенных женщин. Она развивала эту тему и хотела мне добра, но меня это не утешало. Я не думала, что она правильно все понимает, что хоть какой-нибудь из ее примеров соотносится с моим случаем. Я не знала, как ей это объяснить: это нормальный и приятный мальчик из колледжа, который, наверное, выбрасывает бутылки и банки отдельно от прочего мусора. Он не станет усыновлять моего сына. Он женится на приятной девушке, себе под стать, которая тоже не выбросит окурок на дорогу, и они заведут собственных детей.

Но на самом деле я оживала на его занятиях, пусть даже не признавала этого. Я намеревалась поработать над Хаузером ради Джексона, но также я делала это по более приземленной и менее иллюзорной причине. Он знал те места, что знала я. Когда я говорила с ним, я словно возвращалась туда. Я могла бродить по знакомым улицам, бывать в своей квартире в Тендерлойне,

со шкаф-кроватью, с моим любимым желтым пластиковым столиком и, самое главное, с постером со Стивом МакКуином из «Буллитта». Если вы из С-Ф, вы любите «Буллитта» и гордитесь тем, что его снимали там. К тому же Стив МакКуин был правонарушителем в юные годы и, став звездой, сохранил свою крутизну и сам выполнял автомобильные трюки в фильмах. Я дразнила Джимми Дарлинга, что по сравнению со Стивом МакКуином он едва ли мужик. Джимми не обижался на это, поскольку, как он мне сказал, он не притязал на это звание.

Чуть дальше по кварталу, за углом от моего жилья в Тендерлойне, была пивнушка под названием «Синяя лампа», куда я иногда заглядывала после работы с другими девушками из «Комнаты на Марсе». Барменша, замечательная старуха, носившая бадлоны с блестящей брошью на шее, всегда была рада видеть меня с подругами. Она покупала нам выпивку, а мы давали ей щедрые чаевые. Около полуночи появлялся французский повар — не шеф-повар, а просто повар — алкаш в замызганном переднике, на котором было написано название отеля из Старого города. Повар был из Бретани и курил импортные сигареты, ужасно вонючие. Он все время повторял одну и

ту же шутку, которую даже шуткой нельзя было назвать: он смотрел на нас, девушек из «Комнаты на Марсе», и кричал: «Я лесбиянка!» — ударяя себя в грудь.

Как-то ночью, после закрытия бара, перед ним сцепились бабы. Шлюхи, работавшие в тех местах, затеяли бузу и катались по земле. Люди из квартир сверху лили на них ведра воды, как на кошек, чтобы они перестали орать. Но бабы не унимались, промокшие, с растрепанными волосами, в изодранной одежде, частично сползшей с них из-за драки. Все, кроме меня, смеялись, глядя на этих мокрых баб, мутузивших друг друга, катаясь по тротуару, источая взаимную ненависть. Меня ошеломила эта сцена, даже не знаю почему.

Мы все ждали дневной поверки — нужно сидеть на своих местах, пока всех не посчитают, — и тут Лора Липп объявила, что у нее для нас сюрприз и что он нам не понравится. Она легла на спину на свою шконку и стала лыбиться на нас дебильной клоунской улыбкой, наслаждаясь своей значимостью.

— Колись, маньячка, — сказала Слеза.

— Я знаю, вы все любите клички, но я не отвечаю на маньячку.

Слеза сгребла Лору за волосы и дернула.

— Говори и заткнись.

Лора закричала от боли, но Слеза крепко держала ее.

— В этой тюрьме мужчина! Здесь мужчина, и его хотят посадить во двор «В»!

Что больше всего возмущало заключенных, по мере того, как эта новость расходилась по тюрьме, это то, что этот тип, Серенити Смит, убил женщину до того, как проделать себе операцию по смене пола. Закипала истерия насчет того, что среди нас помещали опасного мужчину и что нам придется самим справляться с этим. Возможно, нам придется делить с ним камеру. Раздеваться перед ним. Принимать душ рядом. А он являл собой зло, зло, зло.

Поскольку Лора не удержала иголку в мешке, тюремное начальство решило подождать с переводом Серенити Смита, надеясь, что ситуация уладится.

Возникло разногласие. Конан, которому приходилось терпеть изо дня в день унизительное «мисс» и «мэм», которому пришлось проходить психологические тесты, заполнять бесконечные бумажки и ждать несколько лет, чтобы ему все-

го-навсего разрешили носить боксерские трусы вместо бабулиных подштанников, встал на сторону примирения. Он с несколькими другими коблами двора «В», нашим мужским населением, образовал группу, и они решили, что важно оказать поддержку мисс Смит, как Конан уважительно называл ее. Принять ее по-доброму. Поскольку копы готовы сожрать любого, кто не соответствует узким гендерным рамкам, мы, то есть они, ненавидят копов и потому должны держаться вместе. Я не была в восторге от перспективы делить камеру с женщиной, которая была мужчиной, пока не отрезала себе хрен с яйцами. Но когда страсти разгорелись и я услышала о планах разделаться с новичком, то есть отпиздить, я вспомнила лицо одной женщины из «Синей лампы», на Гири-стрит. Она сидела за стойкой, одетая как секретарша, в блестящем каштановом парике. Она была миниатюрной и удивительно женственной. Хорошенькой, но странной. У нее был хриплый голос, как у человека с хроническим ларингитом. Полагаю, биологически она была мужчиной, но оттого не менее женственной и потому хрупкой. Она сидела одна за стойкой, потягивая через тонкую соломинку свой джин с тоником. Она поджимала

розовые губы и ждала, чтобы к ней подошли мужчины. Я помню, как она ушла с одним, а потом вернулась с подбитым глазом под макияжем. Жива ли еще эта женщина из «Синей лампы», одиноко сидевшая за стойкой со своими розовыми губами и каштановым париком? Может, и нет. То обстоятельство, что Серенити Смит была раньше мужчиной, не означало, что она не чувствует боли.

Мисс Смит держали в одиночке под усиленной охраной. Когда ее перемещали, с ней обращались как со смертницей, отряжали двойной конвой и велели снайперам на вышках держать ее под прицелом. Женщины выкрикивали оскорбления. И кидались банками с мочой.

Антисмитовская кампания была травлей, дополняемой изречениями из Библии и воззваниями к морали и христианским ценностям. Лора Липп печатала листовки на ксероксе в служебном помещении. Она писала письма губернатору, тюремному начальству, конгрессменам и кому только могла. Ее мать организовала кампанию на воле. Лора взмахивала блестящими волосами и злобно возражала против того, чтобы с нами поселили убийцу.

Я начала помогать Кнопке с домашкой для

уроков Хаузера. Это приносило мне больше удовольствия, чем я думала. Я чувствовала себя старшей сестрой. Сэмми была моей старшей сестрой, а Конан был мне кем-то вроде бати. У нас была семья. Это не очень утешало, но хоть как-то скрашивало жизнь, пусть даже Кнопка была занозой в заднице. Вечно злая, готовая лезть в драку. Но когда Слеза съела ее домашнего кролика, я узнала Кнопку с другой стороны.

Слеза сварила кролика в кастрюле своим кипятильником, пока остальные были на занятиях. Когда мы пришли на вечернюю поверку, в комнате висел тяжелый запах вареного мяса.

— Это что еще за харч? — спросил Конан.

— Рагу по-брауншвейгски, — сказала Слеза.

Потом Конан повторял:

— Даже без всякой приправы, то есть вообще *без ничего*. — Как будто в этом и состоял проступок Слезы — съесть домашнего кролика Кнопки без приправы. — Все равно, хорошее рагу по-брауншвейгски готовится из белки, а не кролика.

Кнопка скрючилась на своей шконке, прижимая к себе маленькую рубашку, которую она сшила для кролика. Так она лежала целый день.

— Ты что, больна? — прокричал ей дежурный коп.

Кнопка, зарывшись лицом в подушку, не отвечала.

— Если не больна и не ходишь на назначенную программу, я выписываю тебе замечание, Санчес.

То, как Кнопка прижимала к себе рубашку, напомнило мне, как Джексон сжимал во сне своего плюшевого утенка. Он спал с ним с самого младенчества. И крепко держал всю ночь. Последний раз я видела этого утенка в ночь, когда меня арестовали. Джексон плакал, кругом полиция. Он сжимал утенка и пищал: мама, мама!

— Ты можешь завести другого кролика, — сказала я Кнопке. — Ты умеешь ладить с ними.

В итоге она так и сделала, тоже приучила его к порядку, стала одевать его в ту же одежду и назвала тем же именем.

Только один раз Кнопка заговорила со мной о девочке, которую родила. Она рассказала, как все было. Из тюрьмы ее отвезли в больницу, где ее держали в палате с вооруженным охранником. Этот парень ходил за ней даже в ванную, где она пыталась в наручниках и кандалах почиститься, смыть кровь и послед с бедер, надеть послеродовое белье и вставить огромные прокладки, которые ей дали.

— За мной все время кто-нибудь зырил.

Я представила, как коп стоял над новорожденной, уже наполовину преступницей, и следил, чтобы она не делала резких движений.

Роды у Кнопки были тяжелыми, и она едва могла ходить из-за швов, которые наложил врач.

— Живодер, — сказала она, — в бандане с американскими флагами. Не один флаг, а множество, разных размеров. Мне было видно только эту бандану, пока он зашивал меня. Эти ебучие флаги. Я сказала: «Сколько швов у меня будет?» А он: «Постарайся не думать об этом».

Медсестра дала Кнопке пластиковую бутылку со средством для обрызгивания швов, чтобы у нее все зажило. Она была привязана к кровати, но добрая медсестра подносила ей новорожденную. Кнопке дали сорок восемь часов, чтобы найти кого-нибудь, кто заберет к себе девочку. Кнопка сомневалась, что у кого-то из ее знакомых имелась машина в рабочем состоянии, чтобы приехать в Стэнвилл за девочкой. Она смотрела, как ее дочь дышала, лежа в больничной кроватке. Смотрела на ее безупречное спящее личико, закрытые фиолетовые веки, маленький ротик. Кнопка тоже заснула от усталости. А когда проснулась, девочки уже не было. Надзиратели

сказали ей одеваться. Она надела тюремную одежду. Ей не разрешили взять с собой средство в бутылочке для обработки швов. Ее запихнули в фургон, и она там истекала кровью на жестком пластиковом сиденье, и ей было так больно от разорванной промежности, что она сидела на одном боку всю дорогу до тюрьмы.

Джексон спросил меня, откуда взялся его утенок.

— Это папа тебе подарил, — сказала я.

Он взглянул на утенка с любовью и изумлением. Поцеловал его.

Его папа ничего ему не дарил. Это Аякс, мальчишка из «Комнаты на Марсе», украл утенка для меня из магазина подарков в аэропорту, когда возвращался от своей семьи в Висконсине. Я сказала, что отдам утенка сыну. Аякс растерялся, словно забыл, что у меня есть сын, но я сама не хотела, чтобы они виделись.

Я сказала Хаузеру, что прочитала «Сына Иисуса», и спросила его, почему он выбрал для меня эту книгу. У меня была паранойя насчет того, что он считал меня пропащей бывшей наркоманкой, как герои этих историй.

Он сказал, что дал ее мне потому, что это была

превосходная вещь. И что это одна из его любимых книг.

Там был один рассказ, в котором два парня стащили медный провод из дома, и главный парень видит жену другого парящей в небе и думает, что вошел в сон другого парня, и это было так понятно мне — я сказал это Хаузеру. Я сказала, что знала людей, которые занимались этим, крали медные провода. Некоторые из них были, как парни в этой книге, наркошами, искавшими быстрых денег, но были и другие, для которых это было вроде профессии.

Хаузер продолжал доставать мне книги, и после того, как я их прочитывала, я давала их Сэмми, которая тоже читала их. Сэмми, как и я, пропустила седьмой класс. Ни я, ни она не стали отличницами — такое вот странное совпадение. Я ходила в школы с мексиканками, и у нас были общие понятия и определенный стиль: черные слаксы, китайские туфли, подводка для глаз «Мэйбелин», которую надо разогревать спичкой, так что у меня было о чем поговорить с Сэмми. По выходным я иногда ходила в ее домашний блок смотреть ее фотографии. Мне хотелось увидеть всех этих людей, о которых она мне рассказывала, когда мы сидели в карцере. Фотографии с ней

в молодости и с другими людьми, ее друзьями за много лет. Она была в УЖКе, женской тюрьме на юге Калифорнии, которую Сэмми называла УЖ Кайф.

— Это еще до массовых посадок, — сказала она.

Словно массовые посадки были неким природным бедствием. Или катастрофой вроде 9/11, отмечавшей историческую веху. До и после массовых посадок.

У них был бассейн в УЖ Кайфе. Им выдавали купальники, казенные, но под них нужно было надевать белье, поскольку они были общими. Я обожала эти рассказы о порядках в старой тюрьме, не то что сейчас. Я не сомневаюсь, что там было паршиво, но, по словам Сэмми, у некоторых были аквариумы с золотыми рыбками. У них не было огромных вышек со снайперами и забора с колючей проволокой под напряжением. Здания были не сплошь из бетона. В камерах имелись деревянные полки и шкафчики. У них была зеленая трава. В столовой продавали макияж, и всем особенно нравилась помада «лиловое пламя». Рядом с тюрьмой было поле для гольфа, и чей-то приятель притащил туда бейсбольный автомат и пулял в главный тюремный двор мячики, начиненные героином и бижутерией. Когда мне было

грустно, Сэмми рассказывала мне об УЖ Кайфе. Это был рай до грехопадения.

Все фотографии Сэмми были тюремными. На одной была прекрасная девушка с грустным видом по имени Дрема, пожизненная без права пересмотра. Сэмми сказала, что у Дремы это было единственное фото себя. Она отдала его Сэмми, когда та вышла под опеку Берндта. У этой Дремы никого не было. Она отдала свое фото Сэмми потому, что хотела, чтобы кто-нибудь на воле помнил ее, думал о ней иногда. Я никогда не встречала Дрему. Ее перевели на север еще до моей посадки. Но я понимала, почему она отдала свое фото Сэмми, чего она хотела от нее. В Сэмми было что-то оставшееся от внешнего мира — прежнего мира, свободного. Бедная Дрема, наверно, думала, что, если она будет жить в сердце Сэмми, ей будет легче. Это так угнетало меня, что мне хотелось разорвать это фото, когда Сэмми не видела.

Праздновать нам было нечего, но иногда мы тусили. Конан обожал устраивать тусы в нашей камере. Он всех подговаривал набирать побольше колес. Для этого вы покупаете арахисовую пасту в столовой или, если у вас нет денег, как у меня, берете пасту у Конана. И перед тем как идти за таблетками, лепите кусочек пасты себе

на нёбо. Приняв таблетки, вы открываете рот, как лошадь, чтобы показать, что все проглотили, и вас отпускают, но вы не глотаете таблетки, а приклеиваете языком к арахисовой пасте. У кого вставные челюсти, те прячут таблетки под ними. А некоторые прячут просто за щекой. Люди со всего блока 510 набирали колеса. После вечерней поверки Конан доставал нычку. Он растирал колеса донышком флакона от шампуня и делал «коктейль», растворяя таблетки в пищевом контейнере с холодным чаем. Это был наш белый чай. Сэмми проскальзывала в наш блок и к нам в камеру, когда минутная стрелка часов была на недоумочном красном клине и двери были открыты.

— Потеха на подходе, — сказал Конан, намешивая коктейль.

Я отпила из кружки без особого восторга. Сэмми отказалась. Она сказала, что в завязке. Я знала, что могу быть в завязке и все равно пить коктейль. Все мы разные. Был субботний вечер. Конан включил радио на песнях по заявкам Арта Лабо, которого все любили слушать.

«Эта песня от Тайни, из Пеликановой бухты, для Лулу, известной также как Бонита Голубые Глазки. Тайни хочет сказать Лулу, что он любит

тебя больше всего на свете и его сердце всегда будет твоим. Он ждет тебя в любое время, и он никуда не собирается».

— Это потому, что ублюдок мотает пожизненный срок, — сказал Конан.

Заиграла старинная песня. Голос певца выводил трели и рулады, и на меня, против воли, накатило желание близости. Я выпила еще кружку коктейля.

Когда дверь открылась снова, к нам ввалились новые люди. Лора Липп накрыла голову подушкой, пытаясь отгородиться от происходящего. Конан принялся хлопать себя по бедрам, а Кнопка стала танцевать для нас.

Потом я тоже танцевала, хотя смутно помню это. В основном со слов Конана: «Иногда ты что-то видишь и должен это получить».

Конан был сильным и мускулистым — он неспроста получил свое имя, — и он смешил меня. Я перестала смеяться только ближе к ночи, когда оказалась на его шконке, и он принялся обрабатывать меня языком, напористо, но нежно. А я шептала: «Иисус Христос». Конан умел не только смешить, но и дарить ощущения посильнее. Мы еще были в процессе, когда раздался грохот. Конан подскочил, перестремавшись, и треснулся

головой о верхнюю шконку. Это офицер Гарсия, патрулировавший наш блок, шарахнул по окошку своей дубинкой.

Нужный настрой пропал, так что мы с Конаном прекратили наш внезапный номер. Он ободрал голову до крови, я перевязала ему рану, и мы выпили еще коктейля. Все перебрались в ванную, куда копы не могут заглянуть через окошко.

Наверно, потому, что Кнопка была самой молодой и мелкой, она всех доставала. Она начала говорить о Боге. Она сказала, что это Бог на дозорной вышке во дворе. Кто-то спросил, на какой именно вышке, на первой или второй?

— У него высокий кругозор, — сказала она. — Он видит нас.

— Это не Бог, — сказал Конан. — Это сержант Ринтлер, еще один Элмер Фураж, кемарит там, балду гоняет. Высматривает всяких ублюдков.

Конан заговорил, растягивая слова на ковбойский манер.

— Мэ-эм, отойдите, мэ-эм. Не усложняйте себе жизнь, мэ-эм.

Кнопка заплакала.

— Но они контролируют все небо. Такой теперь мир. Если Его нет на башнях, где Бог? Где Он?

В ванную вошла Лора Липп. Мы замолчали и

уставились на нее.

Она выглядела как зомби. Она выпила наш коктейль. Ее нахлобучило.

— Я из Яблочной долины, — сказала она.

— Мы знаем, — выкрикнули все.

Сэмми встала, собираясь вытолкать Лору из ванной.

— Но я никогда не знала. Я не слушала. Не слышала. Я никогда не понимала, что это значит. Долина яблок. Это про искушение. Верно? Грех. Понимаете? Отравленный плод. О, это так хорошо, — сказала она, — когда есть на чем выместить гнев, наказать кого-то за свою боль. Это истина, известная каждой женщине, не мне одной. Каждой, кто бьет своего ребенка вешалкой или ремнем или кто трясет младенца, без разницы. Ты делаешь это потому, что тебе хорошо. Никто не признается в этом. Никто вам не скажет, что это так. У них не хватит храбрости. Я вам говорю. В нас входит дьявол, и мы делаем это, чтобы стало хорошо. Я бы хотела, чтобы меня остановили, но никто не сделал этого. Бог, Он остановил руку Авраама. Он *вмешался*. Но где Он был, когда я в нем нуждалась? Его не было рядом. Никто мне не помог. Никто.

Она споткнулась, как слепая, опустилась на

четвереньки и зарыдала.

Той ночью я позволила себе лечь с Конаном. Кругом творилась такая чертовщина, что я нуждалась в ком-то адекватном.

Мне приснилось, что я выиграла на телевикторине. Назвали мое имя, и зазвучали громогласные аплодисменты, поздравления и свист. Словно оглушительный водопад рукоплесканий и оваций. Я припустила к сцене под этот гвалт, устроенный в мою честь, и проснулась.

Конан уже встал и прикладывал влажную туалетную бумагу к ссадине на голове. Я поправила ему повязку.

— Голова меня убивает, — сказал он. — Я не мог спать, потому что меня все время будило это зррррп, зрррррп, словно кто-то пытался завести машину, которая уже на холостом ходу.

— Мне приснилось, что я выиграла в телевиторине.

— Типа… новую машину! Фишка такой викторины в том, что с машиной не прилагается красотка. Ты ее не получаешь. Только машину.

В тот день мы все мучились на работе с бодуна после колесного коктейля.

— Чувствую себя как Блакула, — сказал Конан. — В той финальной сцене, где его настигает

солнце и от него остается один жирный дым, поднимающийся от пустой одежды.

За ланчем в деревообделочном цехе Конан дал мне понять, что он «вообще-то не думал никого кадрить». Я любила Конана, но не в этом плане. Это была игра в инцест в моей игре в семью, и мы были просто друзьями.

Мимо цеха прошел офицер Гарсия. Конан выкрикнул: «Йо!» И указал на свою перевязанную голову, злобно зыркнув на него.

На выходе из цеха я столкнулась с Хаузером.

Он сказал, что у него для меня новости.

Он сумел выяснить, кто был куратором Джексона. Я начала горячо благодарить его, но он сказал, что его не за что благодарить.

Я сказала, как же не за что, он ведь превысил свои полномочия.

— Вас лишили родительских прав. Я не уверен, поставили ли вас в известность?

— Лишили — это в смысле?

— Мне сказали, что они так делают, чтобы ребенка могли скорее усыновить. Чтобы у него появилась новая семья. Мне даже не должны были этого говорить. Эта женщина сделала мне одолжение, разыскав нужное дело. Все, что она могла сказать, это что вследствие длительности

вашего срока вас лишили родительских прав, и ребенок был переведен в систему.

— Это я в системе. А Джексон — маленький мальчик. Ему не место в системе.

— Что мне сказали, это что он находится под опекой государства. Думаю, это значит, что он в приюте.

— Где, вы не знаете? Я могу написать ему?

— Кажется, вы не понимаете, — сказал он. — Я и сам не понимал, пока мне не объяснили. Но выяснить, где ваш ребенок, в бюрократических дебрях детской опеки — это как пытаться найти информацию о совершенном незнакомце. Только в этом случае на незнакомца не имеется доступной документации из-за всех этих нормативных барьеров, охраняющих неприкосновенность частной жизни для несовершеннолетних.

— Но я его мать. Они не могут сказать мне, что я не его мать. Ему нужна мать. Почему они так делают?

Я сознавала свой тон, выражение моего лица, чувство того, что я наезжаю на человека, который просто передал мне то, что ему сказали, как будто это он был виноват, но я не могла удержаться от того, чтобы не выплеснуть свои эмоции.

В тот вечер объявили режим, так что я не могла

поговорить с Сэмми. Я сидела взаперти в своей камере. Я пошла к Конану. Обратно к Конану. Мне нужно было выплакаться от беспомощности, потому что я была не в силах защитить своего ребенка, и на меня накатило то же ощущение нереальности происходящего, что и в первую ночь после приговора. Я натворила что-то такое, чего было нельзя изменить. Но Джексон, он ничего такого не сделал. Он был невиновен. А теперь он был потерян, выброшен в большой мир без любви, без никого.

Когда я смогла успокоиться, Конан рассказал мне историю.

— Мы с младшим братом жили у бабушки, когда были маленькими. Она жила в Санлэнде. Там были коневодческие фермы. У нее был участок. Это была почти деревня. Мы любили ее и любили жить с ней. Однажды приехала моя мама, чтобы забрать нас с братом от бабушки. Она сказала, что мы переезжаем к ней. Мы почти не знали маму. Она нас не растила. Бабушка стала ругаться с мамой. Мама побила бабушку, прямо на наших глазах. Побила на ее же кухне. Мы ничего не могли поделать. Мы плакали. Нам было страшно. Мне было семь, а брату пять.

Нам пришлось переехать жить к маме с ее

приятелем в Белл-гарденс. Ее приятель был первостатейным ублюдком. Он цеплялся к моему брату. Не знаю почему. Может, потому, что он был мальчик. Когда мне было одиннадцать, он стал цепляться ко мне, но по-другому. Ублюдок изнасиловал меня. И не раз. Это стало как в порядке вещей. Так что мы с братом, когда мне было двенадцать, а ему десять, мы ушли. У нас была такая идея, отправиться к бабушке, в Санлэнд. Мы не видели ее много лет, потому что она не общалась с нашей мамой. Я помнил ее дом. Я точно знал, где он, в стороне от главного бульвара. Мы сели на автобус. У нас ушло много времени, чтобы добраться туда, потому что мы садились не на те автобусы. Наконец мы были почти на месте. Мы приближались к ее участку, и мой брат был так взволнован, что все время говорил о бабушке, пытался вспомнить, что она готовила, ее забавную, старомодную манеру разговаривать. Как она спала в кресле. Мы никогда не видели, чтобы она ложилась в постель. Словно она несла дежурство, смотрела за нами и не давала себе поблажек. Она спала в кресле, ожидая, что нам может что-то понадобиться.

Мы подошли к ее дому, я был уверен, что это тот дом, но наша бабушка там больше не жила. Люди

в доме сказали, что въехали после того, как она умерла. Она умерла, а мы даже не знали. И вот мы оказались в Санлэнде, без денег и без бабушки, и нам было не к кому идти. Той ночью мы спали в парке. На следующий день мы стали ловить попутки. Мы доехали до Санта-Барбары, и спали на пляже, и ели отбросы, отгоняя голубей. Мы проскользнули на поезд дальнего следования, спрятались в туалете, когда пошел кондуктор, но потом люди стали стучать, так что мы вышли и рискнули сесть на сиденье. Моего брата стало мутить. Он обделался в штаны, и его вырвало. Он был болен и не мог с собой справиться, и билетов у нас не было. Кондуктор подходит и говорит: вам нельзя оставаться в поезде. И вот поезд останавливается на следующей станции, и нас выбрасывают. Мой брат был никакой. Он весь горел, лежа на этой платформе, где нас высадили, в каком-то городке, и мы боялись, что вмешается полиция. Они позвонят нашей матери, и нам придется возвращаться к ней и к этому засранцу, с которым она жила.

Один человек предложил нам помочь. Он пообещал не звонить копам. Он отвез нас в Армию спасения. Там моего младшего брата положили в постель, с простынями и всем прочим. Они

позаботились о нем. Они сказали, что у него дизентерия и что он мог умереть. Они дали ему отдохнуть и набраться сил. Дали нам чистую одежду. Они кормили меня спагетти и тефтелями.

На свете есть хорошие люди, — сказал Конан, — действительно хорошие.

III

23

Когда Док был подростком, на «Гранд ол опри» выступил президент Ричард Никсон. Док смотрел это по телевизору вместе со своим приемным отцом, Виком. Была весна 1974 года, и Никсон уже ославился с Уотергейтским скандалом, что терзало душу Вику, страстно преданному президенту.

Президент Никсон вышел на сцену большого нового театра в Нэшвилле и поприветствовал жителей Оприлэнда, США.

Когда толпа утихомирилась, президент Никсон сказал, что кантри — это сердце американского духа. Это традиционная музыка, прославляющая простые ценности, любовь к семье, любовь к Богу и любовь к своему народу. Никсон сказал, что кантри несет в себе дух патриотизма и христианства.

— Оно зародилось здесь, и оно наше, — сказал президент Никсон публике Оприлэнда.

Жители ТВ-лэнда — американские мальчишки с короткой стрижкой и большими ушами, такие как Док, которому было семнадцать, долговязые,

похотливые и подавленные, — тоже вслушивались в слова президента.

— Это не что-то такое, что мы переняли от какого-нибудь другого народа или нации, это не что-то, что мы позаимствовали или унаследовали от кого-то еще. Кантри так же исконно, как и все исконно американское. Оно выражает ценности, имеющие первостепенное значение для нашего характера, в такое время, когда Америке нужно проявить характер. Кантри проистекает из сердца Америки, оно само *и есть* сердце Америки. Боже, храни «Гранд ол опри», — сказал Никсон, — и, Боже… храни… Америку!

Толпа Оприлэнда взорвалась овациями.

Никсон присел за пианино и отстучал по клавишам «Боже, храни Америку» в топорной манере, двигая вверх-вниз окостенелыми руками, как граблями. Когда он закончил, появился Рой Экафф, поигрывая йо-йо.

Мальчишки с большими ушами среди театральной публики, как и те, что лежали на лоскутных ковриках у себя дома, взбодрились при виде того, как элегантно Рой Экафф запускал йо-йо.

Заиграл шумовой оркестр из Миссисипи. Певец, баритон, грудь колесом, стал выводить песню о

лесоперевозчике, разгромившем придорожную пивную бензопилой.

Почему он это сделал? Песня объясняла почему. Лесоперевозчик сделал это потому, что бармен назвал его гопником и отказался подать ему холодное пиво. Поэтому он уничтожил это место.

После этого, дабы развлечь президента Никсона, любившего душевное кантри, вышла Тэмми Уайнетт и спела «Р-А-З-В-О-Д».

Рой Экафф исполнил «Аварию на шоссе».

Чарли Лувин спел «Сатана реален».

Уилма Ли и Стони Купер исполнили дуэтом «Бродягу на улице».

Портер Вагонер выбрал всеми любимую «Резиновую комнату».

Лоретта Линн выдала во всю глотку «Не приходи домой бухой».

— Давайте почтим минутой молчания память нашего возлюбленного брата, банджоиста Дэвида «Дылду» Эйкмана, — обратился к публике Дедушка Джонс. — Дылда должен был бы быть здесь с нами. Он был моим лучшим другом. Моим соседом. Братом по охоте. И самое важное, членом нашей большой семьи любителей кантри. Четыре месяца назад, как знают многие из вас, он был убит, вместе с его чудесной женой, Эстель,

двумя подонками с Дикерсонской дороги. Давайте вспомним этого простого человека в длинной рубашке, с короткими штанами и его любовью к старомодной музыке жителей гор.

Публика затихла, и лицо Никсона обратилось в холодную резину. Он выглядел как заправский плакальщик, которого специально позвали, чтобы придать всей церемонии сумрачный тон.

Всем полегчало, когда вышла сестричка Минни Перл и сказала толпе, что после того, как служба безопасности устроила ей личный досмотр по такому особому случаю, она встала в очередь, чтобы они сделали это снова. Рассказав анекдоты про кровосмешение и инцест, она спела песню о том, что она такая ревнивая, что завела бульдога присматривать за своим любовником, пока она спит.

Дел Ривс выдал номер о дальнобойщике, мечтающем о том, что бы он сделал с почти голой девицей с придорожного плаката.

Портер Вагонер исполнил «Первую миссис Джонс». Мистер Джонс, герой песни, убил свою первую жену и предупреждает вторую миссис Джонс, что он расправится с ней так же, если она уйдет от него.

Еще была песня о самогонщике, убежавшем

от полиции.

И еще одна, в которой герой убивает и закапывает жену, но по-прежнему слышит ночь напролет ее ворчание.

Публика Оприлэнда взорвалась бурным смехом.

Никсон сидел слева от сцены, щекастый, важный и непоколебимый, президент этой великой, великой страны, его необычайно длинные руки обхватывали подлокотники кресла, точно тракторные стабилизаторы.

24

В своем эссе, прославляющем чудо диких яблок, Торо признает, что их вкус хорош только на природе. Даже фланер, говорит Торо, не потерпит фланерских яблок[40] за кухонным столом. Их горьковатый привкус лучше всего воспринимается во время прекрасной осенней прогулки. Гордон Хаузер гулял при всякой возможности по лесным дорожкам и через пастбищные угодья, являвшиеся федеральной собственностью и простиравшиеся на много миль. Ему случалось находить черепа животных, ружейные гильзы,

---

[40] Примечания: 40
Saunterer's apple (*англ.*) — сорт американских яблок.

стародавнюю свалку старинных бутылок, часть которых была даже не разбита. На коровьей тропе над своей хижиной он наткнулся на осиное гнездо. Оно лежало на земле, напоминая пробитый шлем. Гордон взял его домой и положил на стол, эту внушительную и таинственную, полупустую, разверстую штуковину.

Часто он гулял до темноты, наблюдая медленную смену дня и ночи. Ему нравилось воспринимать этот процесс целиком, от начала до конца. Когда исчезал последний свет, он слышал ушастых сов. Виргинских филинов. Иногда амбарных сов. Одним майским вечером Гордон увидел сову на земле, хлопавшую крыльями и дрожавшую. Ее пушистая голова была не меньше, чем у взрослой кошки. Сова щелкала клювом и пятилась от Гордона, перебирая большими, когтистыми лапами. Глаза у совы были человечьими, с круглыми зрачками, в которых светился ум. Даже веки были человечьими. Сова моргала и пристально смотрела на Гордона. Он решил, что она ранена и, если он как-то ей не поможет, ее съедят хищники. Он зашел домой и стал звонить в службы охраны природы. Телефон был главным инструментом Гордона. Теперь его личное пространство ограничивалось телефонной связью. Связью с

бюрократическим аппаратом. Сотрудница лесной охраны сказала ему, что это, скорее всего, совенок, выпавший из гнезда, обычное дело для этого времени года. Она сказала, что совята сбрасывают птенцовое оперение и поднимаются в воздух. Гордон вернулся на прежнее место, но там уже никого не было. Один раз, в сумерках, ему показалось, что он увидел сову между деревьями. Это могла быть любая сова, но ничто не мешало ему считать, что это был тот самый совенок.

Вернувшись домой с прогулки, он разогревал на обед консервированный суп, основу рациона его однокомнатной жизни, а затем открывал интернет, потакая дурной привычке, пагубной зависимости, завладевшей им быстро и незаметно. Он занимался тем, что прогонял женские имена, как это называли сами заключенные. Прогнать чье-то имя значило найти сведения об этом человеке во внешней поисковой системе или навести о нем справки.

Когда заключенная просила прогнать чье-то имя, она не хотела знать все унылые подробности об этом человеке или видеть его несуразные тюремные фотопортреты, имеющиеся в свободном доступе, особенно во Флориде и Калифорнии, где их загружают окружные клерки, отчего кажется,

что непропорционально большая часть правонарушителей проживает в этих штатах. Все эти изображения одинаковы: резкий свет и полицейская разметка, дикий взгляд и всклокоченные волосы людей, выдернутых из жизни, арестованных, пронумерованных, проглоченных системой и выставленных на обозрение.

Сведения о сопутствующих обстоятельствах преступлений, таких как эмоциональные травмы и бедность — в некоторых случаях это можно было выяснить, если дело получило освещение в СМИ или если протокол судебного заседания или обстоятельства дела имелись в свободном доступе, — было не тем, что заключенные хотели знать, когда они просили прогнать то или иное имя. Что хотели знать эти женщины про своих сокамерниц, приятельниц по блоку, напарниц по работе, знакомых по молитвенной группе, подруг и половин, это не издевались ли они над детьми и не давали ли показаний против сообщников. Вот какие два типа требовали проверки: детоубийцы и стукачки.

Однако Гордон вел более обширные поиски. Он не знал, для чего занимался этим. Он надеялся, что сможет установить некий баланс с помощью этих фактов. Но чувствовал, что эта идея о фактах

и балансе, которую он внушил себе, была ложью, позволявшей ему выискивать отвратительные подробности о других людях, совершенно его не касавшиеся.

Согласно социальным нормам самих заключенных, никто не должен был спрашивать других, за что они сидят. Здравый смысл подсказывал не делать этого. Негласный запрет на такие вопросы был настолько силен, что, казалось, запрещал и обсуждение этой темы, даже в узком кругу.

Считалось, что заключенные не должны интересоваться обстоятельствами, сыгравшими ключевую роль в чьей-то жизни. В связи с этим Гордону приходило на ум одно высказывание Ницше. О том, что каждому человеку дается та мера истины, какую он в силах вынести. Возможно, Гордон искал не истины, но знания о том, каковы его пределы выносимости истины. Он избегал вводить некоторые имена. Он боролся с искушением выяснить историю Роми Холл, вместо этого усердствуя в отношении других.

Первой, чье имя он прогнал, была Санчес, Флора Мартина Санчес, которую другие звали Кнопкой. Ее дело было по всему интернету. Санчес с двумя другими подростками напала на китайского студента колледжа вблизи кампу-

са Университета Южной Калифорнии. Он был единственным ребенком в семье, в соответствии с законодательством КНР, и обучался на подготовительных медицинских курсах. Согласно признанию, сделанному Санчес, этот студент пытался угрожать ей «каратешным приемом». Все трое ребят признали единодушно, что студент кричал на иностранном языке, когда они били его бейсбольной битой. Бита была из необработанного алюминия, марки «Ворт». На ней имелись отпечатки двоих мальчишек и Санчес. Санчес отмахнулась от своего права Миранды. Они все отмахнулись, признали свою вину, были осуждены и получили пожизненный срок без права на УДО.

Они не ведали, что творят. Чем дальше Гордон читал, тем сильней проникался такой убежденностью.

Когда они пытались ограбить студента, они не ведали, что творят. Когда они убили его, они тем более не ведали. Когда на следующее утро их схватили, каждого по отдельности, и привезли на допрос, где они свободно говорили с оперативниками убойного отдела, без своих родителей и без адвокатов, и каждый выгораживал себя, они также не ведали, что творят.

Они выбрали жертву, как сказал один из мальчишек, потому что посчитали, что раз он азиат, значит, богатый. Им был нужен только его рюкзак. Они не пытались убить его. После избиения студент сумел добраться до кампуса. Его соседка по комнате услышала, как он тяжело сопит за закрытой дверью спальни. Она подумала, что он простудился. Она не знала, что он сопел оттого, что у него шла носом кровь.

Гордон старался исповедовать клятву Гиппократа, не просто как учитель, но и как человек: не навреди. Возможно, это вынюхивание шло кому-то во вред. Но он все равно продолжал заниматься этим.

Все эти сведения из газетных статей создавали определенный образ через общие впечатления. Но Гордон видел Кнопку с другой стороны — потерянную девочку, которой не дашь больше двенадцати лет. Один раз, когда он похвалил ее в классе и она улыбнулась ему, ему открылась ее юная душа. В ней была такая горячая жажда одобрения, что он отвел взгляд.

Слово «насилие» было так выхолощено и затерто от чрезмерного употребления, но в нем все еще оставалась сила, оно все еще что-то значило, хотя круг этих значений был весьма велик. Имелось

крайнее значение: забить кого-то до смерти. И были более размытые значения: лишать людей рабочих мест, надежного жилья, приемлемых школ. Имелись крупномасштабные проявления насилия, такие как смерть десятков тысяч иракских граждан в течение одного года, вследствие лицемерной войны, замешанной на лжи и близорукости, войны, конца которой было не видно. Однако, если верить прокурорам, реальными монстрами были подростки, такие как Кнопка Санчес.

В примитивном понимании насилие — это физическое противодействие, когда один человек бьет другого, голыми руками или с применением какого-то оружия. Таких людей отправляют в тюрьму. К ним не проявляют снисхождения. К тем, кого записывали в класс Гордона Хаузера. Не важно, читают они или нет.

Погрузившись в эти трудные факты, он пришел к пониманию того, почему эти ребята, Кнопка и ее друзья, убили бедного студента и загубили свои жизни.

Они не видели личности в этом студенте. Вот в чем было дело. Они бы не причинили вреда кому-то, кого считали бы настоящей личностью. Он был для них чужаком, и его мандаринский

диалект не воспринимался ими как человеческий язык.

Студент громко сопел. Так сказала его соседка по комнате в суде и добавила сквозь слезы, через мандаринского переводчика, что она подумала, что у него простуда.

Было одно фото, на которое Гордон смотрел снова и снова, — маленькой Санчес и ее соответчиков в суде. Они сидели вразвалку с видом крутых ребят, и все были в очках. Он был ее учителем, и ни разу не видел, чтобы Санчес носила очки. Вероятно, их публичные защитники настояли, чтобы они заказали очки, тем более что окулист был одним из немногих врачей, доступных в окружном СИЗО, и мог выписать рецепт, или, возможно, адвокаты просто сходили в салон оптики и купили им стандартные очки для чтения. Глядя на это фото, где они втроем сидят в очках на собственном процессе об убийстве, со скучающим, отстраненным видом, он почувствовал ненависть к Санчес. Очки были рассчитаны на то, чтобы пустить пыль в глаза присяжным заседателям. Приукрасить преступников. Но Гордон тут же проникся отвращением к себе за эту внезапную ненависть и подумал, что, может быть, дело было вовсе не в вине и невиновно-

сти. Просто что-то шло не так в человеческих жизнях.

Читая о деле Санчес, Гордон чувствовал себя перебежчиком через восьмиполосное шоссе. Он уже нашел свой аргумент, объяснявший, почему Санчес была жертвой, когда ему попалась статья, в которой приводились слова из судебных показаний консультанта органа по делам молодежи, случайно услышавшего, как Санчес говорила о преступлении: «Мы даже ничего не поимели с этого».

По ночам было хуже всего. В свете дня ему становилось легче. Проезжая по извилистым дорогам к Стэнвиллу, между склонами холмов, поросших зеленой травой, мягкой, как ангорская шерсть, мимо порослей омелы, свисавшей с дубовых ветвей в форме сердца, напоминая гигантские ульи, он понимал, что не имел права судить. Я не могу судить, потому что не знаю всего.

Гордону были знакомы богатые ребята со времен колледжа и аспирантуры. Если ты рос богатым, ты играл на музыкальном инструменте — скрипке или пианино. Ты состоял в дискуссионном клубе. Предпочитал джинсы определенного бренда, подвернутые по моде. Может быть, ты

дымил сигой или курил травку с друзьями в папином «лексусе», а потом показывался с опозданием на академический оценочный тест. Но так много ребят росли по-другому, и к ним относились по-другому. Если ты был из Ричмонда или Восточного Окленда или, как Санчес, из Южного Л-А, тебя с младенчества приучали быть частью своего квартала, своей стаи, проявлять твердость, иметь гордость, *быть* твердым. Возможно, тебе приходилось присматривать за уймой младших братьев и сестер и, возможно, среди твоих знакомых почти никто не окончил школу и не имел стабильной работы. Твои родные сидели в тюрьме, целые прослойки твоего сообщества, и это было частью жизни — самому в итоге сесть в тюрьму. То есть ты уже рождался в заднице. Но, как и богатенькие детки, ты хотел веселиться в субботу вечером.

Всем детям хочется проявить себя с лучшей стороны. Все дети этого хотят. Только добиваются по-разному.

«В майках не входить», — гласило указание в СИЗО. Поскольку считалось, что родители не знали, что в суд не следует являться в затрапезном виде. С таким же успехом указание могло сообщать: «Ваша нищета смердит».

Знания Гордона об убийстве бóльшую часть его жизни ограничивались литературой. Раскольников убил старуху-процентщицу. Он решился на это в лихорадочном порыве саморазрушения, желая провалиться в сон наяву, сон, который не кончится, как кончается лихорадка. Он был жалким бедным аспирантом, каким был и Гордон. Это почти забавно, как в романах Достоевского все сводится к рублям. Само это слово — рубли — навевает образ чего-то тяжелого и медного. Положи их в носок, как висячий замок, и качай.

В конце «Братьев К.» Алеша просит детей всегда помнить то доброе общее чувство, когда они славили и превозносили их любимого погибшего друга, умершего мальчика.

Всегда помните об этом, говорит Алеша, придавая этому памятованию силу противоядия. Сохраняйте невинность самого благотворного чувства, испытанного вами в жизни. Какая-то ваша часть остается невинной навеки. Эта часть стоит больше всего остального.

Санчес была в тюрьме и должна будет там умереть. Она сказала Гордону, что ее ни разу не навещали. Мало кого из заключенных, которых он знал, кто-нибудь навещал. Когда он спрашивал их об этом, они уклонялись от прямого ответа.

Они стыдились того, что никто не приезжал к ним. Они как будто не понимали, что причина этого была не в них, они были не виноваты, что для поездки в тюрьму требовалась надежная машина, отгул на работе, деньги на бензин, еду и отель, а также на дорогие товары из автоматов в комнате для посещений.

Он продолжал свои поиски, собирая материал на других заключенных.

В какой-то момент он признался себе, что делает это для того, чтобы удержаться от поисков информации о человеке, волновавшем его больше всех и чье доверие было ему особенно дорого.

Это было бы легко, ведь у нее необычное имя.

Ему было трудно избавиться от чувства вины за то, что он сказал ей о сыне. Ему не нравилось ощущение, возникшее в нем после этого. Словно теперь у него появилась власть над этой женщиной из-за ее нужды. В классе эти мысли стихали, потому что вживую она не выглядела нуждающейся. Он мог положиться, что ее ответы на вопросы будут осмысленными, что давало ему чувство уверенности в том, что ученицы его слышат, что они не потеряны и не считают его врагом. Она смеялась его шуткам, и он мог сказать по ее речи, что его работа не была напрасной,

поскольку литература, которую она читала и обсуждала, очевидно шла ей на пользу. Но все это было большой ложью, даже если было правдой. Он испытывал влечение к ней, запретное влечение. Он то и дело думал о ней, ведь его фантазии были неподвластны управлению исполнения наказаний.

— Вы когда-нибудь видели зеленое свечение, — спросила она его после урока, — за пляжем Оушн-бич?

Он сказал, что не видел. Она объяснила ему, что такой оптический эффект возникает на закате, когда лучи солнца, почти зашедшего за океан, отсвечивают зеленым. Она сказала, что тоже никогда этого не видела.

— А вы уверены, что это не красивая выдумка ирландских пьяниц, живущих там?

Она рассмеялась. Они стояли снаружи школьного вагона. Был июньский вечер, когда солнце заходит поздно. Золотистый свет подернутой дымкой долины косо преломлялся в ее глазах, заполняя радужку.

Смотреть на кого-то, кто смотрит на тебя, это наркотик не хуже других.

— Шевелись, Холл! — прокричала полицейская. — Шевели задницей, ну же! Я сказала,

пошла!

Было время вечерней поверки.

Он выяснил насчет зеленого свечения солнца на закате. Оно существовало. Некоторые веб-сайты предлагали пространные объяснения физики света. Он не стал печатать три слова ее имени. Вместо этого он продолжил изучать других. Бетти Ля-Франс, которая просила надзирателей забронировать место на парковке для ее парикмахера. Бетти, чье письмо он отослал, а когда спросил, как дела у ее приятеля, услышал в ответ: «Я его удавила». Он был уверен, что она лжет, но по рукам у него пробежал холодок. Он нашел ее страницу на сайте тюремных знакомств.

«Я одна, полна огня, старомодная девочка, любящая шампанское, яхты, азартные игры, быстрые машины, ОЧЕНЬ дорогие удовольствия. Я тебе по карману? Напиши, чтобы выяснить».

На сайте был ряд стандартных вопросов, на которые Бетти Ля-Франс должна была ответить, как и остальные пользователи.

«Вы не против перевода?» (Нет.)

«Вы отбываете пожизненное заключение»? (Нет.)

Но внизу, на вопрос *«Вы в камере смертниц?»* ей пришлось ответить. (Да.)

О Кэнди Пенья Гордон узнал, что ее мать работала розничной продавщицей в «Диснейленде» в Анахайме. Кэнди Пенья работала в «Макдоналдсе». Ее управляющий дал показания в ее защиту и сказал, что она никогда не доставляла ему проблем. Мать девочки, которую убила Кэнди, ликовала в зале суда, когда обвиняемой вынесли смертный приговор, и кричала «ТАК ЕЙ»!

Позже Гордон нашел другое высказывание этой женщины, о том, что она сочувствует матери Кэнди Пенья, зная по себе, каково это, лишиться ребенка.

Лондон: сперва он не нашел ничего. В тюрьме ее звали Конан или Бобби. Гордон напечатал «Бобби Лондон» и увидел отзыв о ресторане в Лос-Анджелесе на сайте «Жалобная книга». Первые три отзыва начинались одинаково: «Бобби Лондон, ты мудак!»[41]

Он вспомнил ее полное имя — Роберта. Вот оно. «Женщину, прикинувшуюся мужчиной, осудили за вооруженное ограбление и заключили в мужскую тюрьму». Другой заголовок гласил: «Ляпсусы системы». Лондон никем не прикидывалась, а, наоборот, была одним из самых естественных

---

[41] Примечания: 41
«Bobby London» — ресторан в Лос-Анджелесе.

людей, кого знал Гордон. Лондон — это Лондон.

Было похоже, что она уже отбыла срок за ограбление, даже дважды, и теперь отбывала третий, за мошенничество. Лондон получила пожизненный срок за то, что выписала фальшивый чек.

Так много людей.

Он набирал все имена, какие мог вспомнить, только бы не Роми Лэсли Холл.

Джеронима Кампос, которая нарисовала его портрет. Она, как оказалось, сбросила обезглавленное тело своего мужа с одного из мостов Внутренней Империи. Тело было найдено, а позднее и голова, в которой застряла пуля, выпущенная из пистолета, зарегистрированного на Джерониму. У Джеронимы не было алиби. Кровь мужа была обнаружена в ее ванной, в ее машине и на ее одежде, которую она надевала в день его исчезновения.

Джеронима состояла в тюремной группе психологической поддержки и давала заключенным консультации по правам человека. Джеронима была тюремной старостой. У нее имелся диплом младшего специалиста по посылочной торговле и ни одного дисциплинарного взыскания. Джеронима подавала ходатайство об УДО восемь раз, и каждый раз получала отказ, несмотря на поло-

жительные свидетельства людей из внешнего мира, которым она оказывала помощь и содействие. В интернете была развернута кампания в поддержку следующего ходатайства Джеронимы об УДО. Подписавшие петицию указывали свои основания для этого.

Джеронима отсидела свой срок.

Она больше не несет угрозы обществу.

Освободите Джерониму.

Она подвергалась супружескому насилию.

Джеронима — это коренная старейшина и лесбиянка, которую несправедливо удерживают в исправительном учреждении Стэнвилла.

Быть лесбиянкой не преступление.

Она нужна в своем сообществе.

Она отбыла свой срок.

Она не несет угрозы.

Освободите Джерониму.

Она действительно отбыла свой срок. Она уже отсидела тот срок, что определил ей суд. И Гордон знал Джерониму. Она была старой женщиной, любившей рисовать. Не могло быть никаких сомнений. Джерониму пора отпустить домой. Она отбыла тот срок, что ей назначили.

Каждый раз, как Джеронима представала перед комиссией по УДО, которая представлялась

Гордону в виде сидящих плечом к плечу клонов Филлис Шлэфли, насупленных, с туго стянутыми волосами, в дешевых колготках и с брошками в виде мелко реющего американского флага, как у республиканцев на политических дебатах, она говорила комиссии, что невиновна. Ее сторонники говорили, что преступление она совершила в далеком прошлом и больше не представляет угрозы. Она обращалась к комиссии по УДО и говорила: «Я невиновна». Это казалось неразумным. Но Гордон понимал, почему она так говорила.

Какая бы среда ни требовалось Джерониме, чтобы осознать содеянное ею, тюрьма ее не обеспечивала. Тюрьма — это место, где ты должен быть сильным, чтобы выживать день за днем. Если ты каждый день думал о каком-то чудовищном злодеянии, совершенном тобой, достаточно старательно, чтобы доказать комиссии по УДО, что у тебя случилось озарение, то самое озарение, которого они хотели, ожидали от тебя, чтобы отпустить домой, можно было свихнуться. А нужно было сохранять рассудок. Чтобы сохранить рассудок, ты создавал такой свой образ, в который ты мог верить.

А если бы она продемонстрировала озарение и

рассказала комиссии, что было у нее на уме в тот день, когда она убила мужа, почему и как она это сделала и что почувствовала после — возбуждение, вину, отрицание, страх, отвращение, если бы она показала комиссии, насколько честной и точной она может быть в понимании своего преступления и его мотивов, если бы она открыто рассказала о том, как это преступление отозвалось не только на убитом, но и на других, на обществе, если бы она воспроизвела перед ними весь этот кошмар, она бы невольно придала новой убедительности тем причинам, по которым они решили изолировать ее. Их было невозможно переубедить. Невозможно было выиграть у них.

Просто отпустите ее домой. Освободите Джероними.

Но это противоречие — то, что Джеронима говорила комиссии: «Я невиновна», тогда как ее защитники во внешнем мире говорили: «Она отсидела свой срок. Она больше не несет угрозы», — это тревожило Гордона.

И тем не менее. Джеронима, и Санчес, и Кэнди, все они были людьми страдающими, которые вольно или невольно заставляли страдать других, и Гордон не понимал, как принуждение их к

пожизненному страданию может способствовать справедливости. Это только усугубляло старое зло новым, а между тем никто из мертвых не возвращался к жизни, насколько ему было известно.

Ему звонил и писал электронные письма Алекс, но Гордону было нечего сказать ему, потому что он не думал ни о чем, кроме женщин в тюрьме, а это была неподходящая тема для приятного общения. Он чувствовал себя в каком-то изгнании.

Его одолевала безнадежность за стойкой «Баресси», и он завидовал другим посетителям, строителям и фермерам, для которых Калифорнийская долина как будто не имела отношения к тюрьме.

«Да ладно, перестань, мир полон надежд, — мог бы возразить Алекс, изображая Кафку, — концакрая не видно, но не для тебя, Гордон».

За пианино была новая певица. Она была хороша или, пожалуй, хороша для Стэнвилла. Гордон не заметил, как перебрал. Он подошел к пианино и положил двадцатку в большой бокал для бренди, служивший, как и во всем цивилизованном мире, для чаевых пианисту.

— Желаете что-нибудь особенное?

Ее голос был счастливым и легким.

Ему на ум не приходила ни единая композиция.

Он дал ей чаевые просто потому, что мог.

— Напойте вашу любимую мелодию. Что вы напеваете, когда никто не слышит.

— Тогда «Летняя пора»,[42] — сказала она, не задумавшись.

Возвращаясь на свое место, он думал, не слишком ли было нескромно просить ее спеть для незнакомца то, что она напевала себе наедине. Некоторые люди регулярно принуждают к чему-то других, день за днем, по жизни. Он это знал. Он был не из таких. Но все равно задумался об этом.

Когда она пела, он понял, что, даже если эта песня была ее любимой, она ничего не давала ему. Она просто исполняла эту песню. Это была ее профессия — исполнительница. Она пела «Летнюю пору», и Гордона омывали страстные переливы ее посредственного голоса.

— Сожалею о вашем женихе, — сказал он как-то вечером, когда Роми Холл задержалась после урока.

Он собирал ксерокопии нарочито размеренно, чтобы продлить несколько минут их общения, пока надзиратель был занят с другими заключенными.

---

[42] Примечания: 42
«Summertime» (*англ.*).

— Что произошло? — спросил он.

Оказалось так легко говорить тоном доброжелателя, когда на самом деле он пытался выудить из нее сведения о возможных соперниках.

— Он был мне не жених. И он не умер. Он живет своей жизнью.

Она сказала, что в ее блоке были женщины, выходившие замуж за мужчин, с которыми знакомились по переписке.

— Джимми не был таким неудачником, — сказала она. — У него была своя жизнь. Я уверена, он живет на полную катушку.

Она пошутила насчет рукодельной мании в тюрьме, но сказала, что это хорошо — работать руками. Она сказала, что делает бижутерию, и попросила Гордона кое-что достать для нее. Он не совсем поверил ей, но он ей доверял, потому что не позволял себе домыслов. С домыслами было покончено. Скоро он покинет Стэнвилл. Он возвращался в школу, чтобы получить степень магистра в сфере социальных услуг. Пожалуй, это было не лучшее время бросать работу, когда рушилась экономика, но ритмы мира не всегда соответствуют человеческим ритмам.

«Как жизнь на природе и в неволе»? — спросил Алекс по электронной почте.

«Сегодня утром я видел, как сапсан ест из гнезда птенцов воробья, — ответил он. — *Большой переполох. Высокая драма в Сьерра-Неваде».*

«О, бьюсь об заклад, они восхитительны, — ответил Алекс. — *Есть такая певчая птичка, которую французские аристократы едят целиком, с костями и прочим. Это незаконно, и они, по обычаю, закрывают голову тканью, наподобие колпака палача. Может, нам как раз не хватает традиции и элегантности в нашем неустанном разрушении природы. Так когда ты возвращаешься?»*

На другой день после того, как он принес ей то, что она просила, он поехал в городок. Он припарковался на главной улице Стэнвилла, с намыленными витринами. В конце квартала была маленькая католическая церковь. Старое здание с толстыми глинобитными стенами. Двери были открыты. Внутри, похоже, было прохладно.

Пресвятая Дева долины пахла как косметичка старой женщины. Дамская сумочка Пресвятой Девы, десятилетиями собиравшая пыль от макияжа и плесень. Гордон не придерживался никакой религии, хотя идея милосердия, предлагаемая церковью, идея христианского Бога, но ни в коем случае не государства, была ему близка. Он

присел в конце ряда скамей. По другую сторону прохода стояла исповедальня. Со стороны грешника имелось решетчатое окошко для разговора со священником. Окошко представляло собой металлическую пластину с дырочками в произвольном порядке. Она напоминала дорожный знак, изрешеченный пулями.

По церкви гулял ветер из единственной приоткрытой двери в задней части. Где-то шелестели бумаги, предполагая чье-то присутствие, хотя не обязательно. Возможно, это ветер шелестел бумагами, и никого, кроме Гордона, здесь не было. Он уставился на воздуховод, продолжая сидеть на месте.

Существовали реальные, эпистемологические пределы знания. Как и суждения.

Если я и могу знать кого-то, то только себя. Я могу судить только себя.

Первым об этом сказал Торо.

«Мне никогда не грезилось никакое бесчинство больше того, что совершал я сам. Я никогда не знал и не узнаю человека худшего, чем я сам».

Почему Торо был Торо, а Тед Казински — Тедом? Один в сознании Гордона был мыслителем, другой же уголовником по имени Тед.

Быть сердитым и плохим привычнее. Должно

быть, в этом дело.

Норман Мейлер не проносил в тюрьму кусачки для Джека Генри Эббота. Норман Мейлер писал письма, использовал свое влияние. Мейлер бахвалился, что свобода Эббота — это его заслуга, бахвалился до тех пор, пока внезапно его подопечный не убил человека, и тогда он стал открещиваться от своей роли, а потом опять стал бахвалиться, что сделал это ради искусства и был бы готов повторить. Когда беднягу Эббота выпустили на свободу, шел 1981 год, и его поселили в социальном общежитии в нижней части Ист-Сайда на Манхэттене. Его окружали нарики и подонки, и ему требовалось оружие для самозащиты. Он ничего не знал о жизни в обществе и путал одно с другим, хотя ему угрожали в привычной, тюремной манере. Он вынул нож и всадил его глубоко в сердце нападавшего. В тюрьме у тебя нет времени на размышления перед дракой, ты реагируешь мгновенно, предвосхищая удар. Тот парень умер сразу, на Первой авеню. Джек Генри Эббот вернулся в тюрьму, оставив за бортом обеды со знаменитостями, и писателями, и хорошенькими женщинами с именами вроде Норрис. Кто, на хуй, станет называть свою жену

Норрис?[43] То есть свою дочь. Гордон понимает, что имена дают отцы, а не мужья.

Гордон собрал почти все свои вещи. Две коробки с книгами, кое-какую посуду, кофейную чашку с крышкой, одежду в мешках для мусора. Он положил полено в печку и смотрел, как занимается желто-голубое пламя, и когда печка растопилась, он сел за компьютер и напечатал ее имя. Он сам устанавливал свои правила, и одно из них состояло в том, что он мог попытаться найти ее только сейчас.

«Роми Лэсли Холл».

Ничего. Никаких записей с таким ФИО.

«Роми Л. Холл. Холл тюрьма Стэнвилл. Сан-Франциско пожизненное заключение Холл».

Он смотрел и смотрел, пока прогорало полено, медленно тая в огне, вкусно потрескивая янтарными углями.

«Джимми Сан-Франциско преподает Художественный институт». Ничего. Он несколько часов просматривал имена преподавателей. Был один Джеймс Дарлинг, на киноведческом факультете. Он загуглил Джеймса Дарлинга. Кинофестивали.

---

[43] Примечания: 43

Шестую, и последнюю, жену Нормана Мейлера, на которой он женился в 1980 г., зовут Норрис Чарч.

Резюме киноведа. Но он даже не был уверен, что это тот самый парень.

Он прислушался к собачьему лаю, где-то ниже по склону.

Здешние люди обживали природу, хотя относились враждебно к внешнему миру, со своими сторожевыми собаками, с табличками «Злая собака». Немецкие овчарки. Доберманы.

Собака лаяла и лаяла, ниже по склону, множа эхо. Упорный лай в три утра, рвущий и рвущий безмолвие.

25

Следующим летом я установил мину-ловушку, намереваясь убить кого-нибудь, но я не скажу, какую ловушку и где, потому что, если эту страницу когда-нибудь найдут, ловушку смогут обезвредить. Я также натянул проволоку на уровне шеи для мотоциклистов через граничную дорогу над ручьем Петух Билл, после того как рев моторов испоганил мои пешие прогулки. Позже я обнаружил, что кто-то надежно обмотал проволоку вокруг дерева. К сожалению, я сомневаюсь, что она повредила кому-то.

У южного склона Форк-хамбага я застрелил

своим винчестером корову в голову, а потом рванул оттуда ко всем чертям. Я имею в виду фермерскую корову, не лосиху. Кроме того, я вышел на рассвете и с размаху снес топором соседский почтовый ящик, как будто его сбила машина.

В следующем ноябре я перебрался из Монтаны обратно в пригород Чикаго, главным образом по одной причине: предпринять более конкретную попытку убить ученого, бизнесмена или кого-то в этом роде. Я бы также хотел убить коммуниста.

Я подчеркиваю, что моя мотивация — это личная месть тем, кто отнимает у меня или угрожает отнять мою независимость. Я не делаю вид, что у меня есть какое-либо философское или моральное оправдание.

26

Приближался день выхода на волю Сэмми. Мы отсидели вместе почти четыре года. Был октябрь, и каждый день небо напоминало голубой купол, под которым мы все тоже были в голубом. Кто-то считал дни до выхода на волю. Как Сэмми, легкого ей пути. Но в главном дворе были тысячи женщин в голубом, всем своим видом говорившие, что они здесь навсегда, как и я.

Горы за стенами тюрьмы тоже были навсегда, но это было не такое навсегда, как механизированная бетонная тюрьма. Я мечтала о древних мирах, затерянных в горах, о цивилизации людей, готовых вытащить меня отсюда. Это была детская мечта, возникшая из книжки, которую мы читали на уроке Хаузера. Горы, буро-лиловые зимним днем. Люди в хижине, где потрескивает огонь. Они принимают у себя незнакомку и обучают ее жизни в своем мире. Иногда я мечтала, что Джексон уже там, с этими добрыми незнакомцами, ждет меня. Он был среди людей, которые дадут мне второй шанс. Он был грязным и сильным, суровым пацаном, храбро идущим по жизни. Он был там, в хижине, ожидая с остальными моего прибытия, моей реабилитации, чтобы я заговорила на языке этих людей. Они не станут помогать мне с этим. Я должна буду освоить его сама.

— Когда я выберусь отсюда, может, смогу как-то помочь тебе, — сказала Сэмми.

Я знала, что она говорит всерьез, но Сэмми не задерживалась на воле и едва могла помочь себе. Она желала мне добра, но у нее хватало и своих проблем.

Я написала, наверно, писем сорок куратору

по делу Джексона. Куратор ответил мне только раз, коротко сообщив, что меня лишили родительских прав, и предложив нанять адвоката по семейным делам, если я намереваюсь обжаловать лишение родительских прав, но мне нужно понимать, что родительские права возвращают только в самых редких случаях.

Серенити Смит находилась под особой охраной уже почти год. Некоторые перестали бороться с ней, посчитав, что ее никогда не переведут в общую категорию. Но Лора Липп продолжала борьбу. Это была ее страсть. Некоторые считали, что Лора Липп была негодным лидером для такой группы, поскольку она убила своего ребенка, новорожденного, чтобы отомстить мужчине. Две молодые зэчки, из первоходов, решили сделать себе имя — они побили Лору и остригли под корень.

После этого Лора не высовывалась. Движение против мисс Смит набрало силу благодаря смещению Лоры. В дело включилась норвежка. Она стучала на женщин, державшихся за руки, в нарушение устава Стэнвилла. Также между заключенными запрещались объятия и любой продолжительный физический контакт.

— Это просто туши свет, — сказала норвеж-

ка. — Я не стану жить с извращенками. Они хотят впихнуть мужчину к нам в кутузку и ожидают, что мы это проглотим.

Норвежка говорила о Стэнвилле так, словно была здесь главным гопником на страже семейных ценностей, гордой защитницей устава, а не просто одной из множества жалких и озлобленных зэчек. Слеза тоже подключилась, вероятно, потому, что агрессия и избиение людей давали ей разрядку. Слеза и Конан, давние кореша, сцепились из-за этого.

— Как ты можешь не хотеть защитить сестру? — спрашивал Конан, взывая к ее расовым корням.

Слеза сказала, что ей меньше всего нужны всякие ублюдки из гетто в ее норе. Они подрались на кулаках в сортире в главном дворе, и Конан выиграл. Слезу выставили из нашей камеры.

— Кто-нибудь выбирался за забор под напряжением? — спросила я Сэмми.

Мы гуляли по нашей дорожке, подальше от микрофонов дозорных постов.

— Двое ребят в Стэнвилле.

— Но как?

— Они использовали что-то деревянное, чтобы приподнять забор, и подлезли снизу. Наверно,

ручку от швабры. А в Долине Салинас чувак забрался на забор. Он как-то заземлил себя. Почти перелез, и его застрелили.

Мимо пробежал Конан.

— Я тут бегу и вижу рядом с сортирами такую белую фигуру, мужика, с раскрытыми руками. Он был в белой одежде, а штаны как бы расширялись книзу. Я подумал, это Элвис, ну, знаете, из бурных лет, когда он растолстел и стал носить эти дурацкие очки. Но, когда я подошел поближе, это оказались мусорные баки.

У Конана ухудшалось зрение из-за диабета. Он записался на прием к помощнику медработника, заменяющего нам врачей, через восемь месяцев.

— Эй, какую тачку водил Элвис? — спросил меня Конан.

Я не стала смеяться над тем, что он принял мусорные баки за Элвиса. Он всегда заговаривал о машинах, когда замечал, что я кисну.

— «Штуц», — сказала я, но без всякого чувства. — Он водил «штуц блэкхок».

Джимми Дарлинг ездил в Грэйслэнд с камерой и сказал, что снимать там нечего. Не на что смотреть. Кроме граффити на стене снаружи.

Я спросила его, разве там все не прилизано напоказ?

Ну да, сказал он, так и есть.

А как машина?

Машина, сказал он, была как Дева Мария на гренке. Только сфотографируй ее — и чудо исчезнет. Он осмотрел самолеты за отдельную плату. Личные реактивные самолеты Элвиса. Внутри одного была двуспальная кровать. Поперек нее, поверх одеяла, был натянут сверхширокий ремень безопасности. Глядя на эту кровать с ремнем безопасности и на хозяйское кресло у окна, Джимми Дарлинг почувствовал дух Элвиса, рассекающего поздней ночью небо, одинокого как черт, и никого рядом в его самый темный час. В том самолете Джимми Дарлинга овеяла неприкаянная душа Элвиса.

Хаузер тоже знал механический музей на пляже Оушн-бич. Он сказал, что видел там, как кукла Сьюзи танцует канкан. Еще там была камера обскура, где на большом блюде показывались пенные волны. И бухта Келли, которая среди моих подруг связывалась не с сёрфингом, а с выпивкой и мальчиками. Там же был огромный знак с надписью «Игровая площадка», но ничего похожего поблизости не было. Только выбеленный солнцем знак рядом с фальшивой скалой, созданной, якобы чтобы дурить японцев во время

войны.

Хаузер сказал, что на Ирвинг-стрит есть пиццерия, где в витринах крутят тесто.

Я видела все это. Тонкие, посыпанные мукой блины, падающие на руки тестомесам в колпаках, которые крутили их в воздухе, растягивая вширь, и снова подбрасывали. Я видела большущий венок на закрытых воротах однажды утром, когда умер старик, патриарх этой пиццерии. Я еще никогда не видела такого огромного венка. Мне было восемь или девять лет. Неприятности были еще впереди. Цветы для меня связались со смертью. Из-за того огромного венка.

Я видела мерцающую гладь океана с Ирвинг-стрит, как она поднималась в ясный день, там, где заканчивались авеню, словно дышала, как что-то живое.

Я сказала Хаузеру, что моему сыну нравятся церкви. Когда я привела Джексона в Благодатный собор, он непроизвольно притих, оказавшись в доме Бога, пусть и не его, так как мы не придерживались религии. Он поглядел по сторонам и сказал мне счастливым шепотом, словно его осенило что-то: «Мамочка, когда я вырасту, я думаю, что захочу стать королем».

Я сказала Хаузеру, что Джексон никогда не

капризничал, но тут же одернула себя, чтобы не перехвалить его. Люди должны понимать, что некоторые дети не просто лапочки, а превосходят большинство взрослых. Однако я не хотела отпугнуть Хаузера, вызвать у него подозрение, что я пытаюсь склонить его к усыновлению. Хотя именно это я задумала. Это был единственный рабочий план, который я могла вообразить. У людей в тюрьме полно тупых фантазий о том, каким может быть их будущее. И все, что было у меня, это мои фантазии.

— Между вами что-то есть, — сказала Сэмми. — Большинство из них даже не смотрят на заключенных. Слишком умотанные. Мы над ними просто прикалываемся. Но он *открытый*.

У Хаузера был один ценный недостаток. По нему было похоже, что, кроме работы, в его жизни мало что происходит. Не то чтобы он обсуждал свою жизнь с нами. Нет, конечно. Но в Стэнвилле он был белой вороной для остальных служащих. Надзиратели посмеивались над ним, почти так же, как над нами. Давай, мистер Хаузер, научи этих тупых сучек читать. Научи этих коров, сколько будет два плюс два. Они считали, что его занятия — это пустая трата времени, не сравнить с их серьезной работой: следить за нами на мони-

торах и дрочить на вышках.

Хаузер не был идиотом. Это был не Берндт. Но иногда он вел себя так. Когда я попросила его принести мне кусачки в библиотеку, я была почти уверена, что он сделает это. Я не планировала использовать их. Я просто хотела проверить его.

Кэнди Пенья бахвалилась, что Хаузер был ее ухажером, что он достал ей «воз и тележку» вязальных принадлежностей. Все, что захочу, говорила Кэнди всем, кто возвращался в карцер и мог слышать ее по вентиляции. Если бы она не сидела в камере смертниц, Кэнди бы знала, что о таких вещах не трезвонят. Ты держишь их при себе и возделываешь.

Двенадцатый день рождения Джексона пришелся на вторник, 18 декабря. В тот день я проснулась и стала смотреть на фотографию его семилетнего, оставшуюся у меня от последней встречи с ним, больше четырех лет назад, когда моя мама привезла его в окружной СИЗО. Я виделась с ними через рифленый плексиглас. Он уже так заметно подрос. Ему было пять, когда меня арестовали. Я не знала, как он выглядит теперь. Я спрятала фото в лифчик.

В тот день я весь урок думала о том, что ска-

жу Хаузеру, какими словами обращусь к нему с просьбой о Джексоне. Я не следила за уроком и ни разу не подняла руку. Я сосредоточилась на том моменте, когда покажу ему фото.

Я поняла, что что-то не так, когда он поднял взгляд от стола, пока остальные что-то писали. Он был не рад видеть меня — в этом было дело.

— Сегодня день рождения моего сына.

С этими словами я положила фото перед ним, чтобы он увидел, каким прекрасным ребенком был Джексон. Никто еще не мог сдержаться, чтобы не восхититься его красотой.

Хаузер едва взглянул на фото.

— Это он, — продолжала я. — Можете взять фотографию.

Это была школьная фотография Джексона из второго класса. Он присел на колено на фальшивом бревне с фальшивой осенью позади. Он улыбался и сиял, словно его лицо было наглаженным яблоком. Хаузер не взял фото.

— Я не могу принять это.

— Я дарю его вам. Я хочу, чтобы оно было у вас.

— Я понимаю, что вы хотите, но это неправильно. Оставьте его себе.

Неужели ему даже не хотелось увидеть, как выглядел Джексон? Я спросила его, стараясь кон-

тролировать голос, понимая, что злоба никуда меня не приведет. Я была готова все выложить начистоту, обратиться к нему за помощью. Я начала говорить, но он прервал меня.

— Я правда сожалею насчет вашего сына, но я не могу участвовать в этом.

Было время рождественских праздников, безрадостное время в Стэнвилле.

В январе, когда занятия должны были возобновиться, нам сказали, что дальнейшая учеба откладывается. Хаузер уволился, или его уволили. В чем бы ни было дело, нам не сообщали. Мы довольствуемся сплетнями, но до Хаузера никому не было особого дела, кроме Кэнди Пенья. Кэнди наплела по вентиляции Слезе, когда та попала в карцер, что Хаузера *ушли* за его излишнюю фамильярность с ней.

Я почувствовала себя в тупике. Я осталась одна с фотографиями Джексона, самые новые из которых были сделаны почти пять лет назад. У меня были кусачки, которые принес Хаузер, когда держался со мной накоротке. У меня был большой нагель, который я сделала на деревообделке. Я спрятала все это во дворе, за первой башней. Я копала руками. Я видела, как это делают индианки, пряча табак в главном дворе. Незадолго перед

тем прошел дождь, размягчив землю, чтобы можно было закапывать вещи. Индианки действовали терпеливо, орудуя ногтями и руками, как садовым инструментом. Я провела за первой башней долгое время, достаточно долгое, чтобы закопать нагель и кусачки. Никто не окрикнул меня и не заметил. Возможно, Сэмми была права, сказав, что там слепая точка. Я делала все как во сне, не всерьез. Попробуй воплотить этот сон в реальность, и он убьет тебя. Я бы поджарилась на заборе, как кролик, подбиравшийся слишком близко.

На заборе умер койот и висел на всеобщее обозрение.

Койоты были на аллее за домом, в котором я жила в Лос-Анджелесе. Они трусили по тротуару мимо нашего дома среди бела дня. По ночам мы с Джексоном слышали их нестройные завывания. Джексон притворялся, что ему страшно, и жался ко мне, потому что бояться диких зверей было весело, если они были снаружи, а ты дома, с мамой. Я вспомнила, как Джексон говорил мне, что у койотов морда длиннее, чем у волков, как будто в этом была главная разница между ними.

В тюрьме устроили режим, пока надзиратели отключали напряжение, чтобы снять с забора

мертвого койота. Время Энджел Мари Яники осталось в прошлом. Больше отсюда никто не выберется.

Скоро Сэмми должна была выйти на волю. Она собиралась подавать ходатайство на социальное жилье по строгой программе возвращения в общество, обещавшей содействие в трудоустройстве. Теперь она редко показывалась во дворе. Все больше оставалась в камере, подальше от остальных. Когда у кого-то приближается выпуд, то есть выход на волю, враги пытаются как-то подставить такого человека, чтобы ему накинули срок.

В это же время приехала съемочная группа, чтобы снимать фильм про Кнопку и полдюжины других зэчек, которые были осуждены подростками. Кнопка так усердно готовилась к съемкам, словно это был конкурс красоты.

— Тебе нужно выглядеть грустной, — сказала я ей. — Юной. Невинной.

Но это был ее момент славы, и она хотела выглядеть шикарно. Она шила одежду в обмен на укладку волос в учебном косметологическом салоне. Она украла косметику у женщины из соседней камеры, одиночки, которая боялась ее. Она залепила женщине, укладывавшей ей волосы, за то, что та неровно завила ей челку. Она

совсем распоясалась, и мы решили выпихнуть ее из нашей камеры.

Киношники снимали весь день в приемные часы, в субботу и воскресенье. В субботу я была во дворе с остальными отбросами общества, которых никто не навещал, а таких было большинство. Кого-то навещали церковники или чужие люди, волонтеры, уделявшие им внимание по доброте душевной. Женщины, которых я знала, виделись с ними, чтобы другие думали, что их кто-то навещает, и ради хавки из торговых автоматов. Я сидела во дворе и стебалась над показушницами, косившими под индианок, чтобы принять участие в туземном банном ритуале. Невозможно было спутать настоящих индианок с показушницами, поскольку индианки держали под контролем табачную торговлю и покупали еду из столовой на свои племенные средства.

В тот субботний вечер Кнопка трещала без умолку об этом документальном фильме. Она собиралась поведать свою историю миру.

— Меня даже не должно было быть в этом месте, — сказала она.

— А что в тебе такого особенного? — спросила я.

Она меня уже достала.

— Мне было четырнадцать, когда было совершено мое преступление. В таком возрасте мозг еще не полностью развит.

Возможно, это было правдой, про детский мозг. Все здесь говорят о выборе, о принятии решений, как будто люди во время преступлений думают о чем-то подобном. Четырнадцатилетка не совершает выбора. Она в плену текущего момента. Когда я была в ее возрасте, я не могла представить ничего дальше сегодняшнего или завтрашнего дня. Но Кнопка все равно бесила меня, ставя себя отдельно от остальных.

Была одна заключенная по имени Линди Белсен, которую осудили в подростковом возрасте, и губернатор смягчил ее приговор. Она была знаменитостью в Стэнвилле. Вокруг нее крутилась группа адвокатов-волонтеров. Они представляли ее дело как историю сексуального рабства. Она застрелила своего сутенера в номере мотеля. Он склонял ее к проституции с двенадцати лет. Это была грустная история, и, возможно, Линди заслуживала свободы, но то, что адвокаты представляли ее как совершенно невинную жертву, напрягало остальных заключенных. Линди Белсен была идеальным лицом активистов свободного мира, которым была нужна

образцовая заключенная для их кампании. У нее была миловидная внешность, и она говорила как образованный человек. Но, что самое важное, ее можно было убедительно выставить жертвой, а не соучастницей. Большинство заключенных терпеть не могли Линди Белсен из-за того, в каком свете ее история, сочиненная адвокатами, выставляла остальных из нас. Немногие радовались за нее, когда она вышла на волю.

Серенити Смит перевели в общую категорию. Ее определили во двор «Б», но в строгой изоляции. В общий блок, но в особую камеру, с семью другими зэчками в строгой изоляции, которым запрещалось выходить из камеры. В будущем Серенити планировали перевести в общую камеру. Конан и его трансгендерная группа поддержки намеревались защищать ее. Они созвали сходку по этой теме. Они были на ее стороне. Другие зэчки готовились махаться с ними. Конан со своей группой кобло-спецназа планировал пасти Серенити, чтобы обезопасить ее от Слезы и прочих опасных людей, желавших ей зла.

Сэмми сказала, что тюремный бунт — это кошмар. Один бунт был при ней в УЖКе — север против юга. Она сказала, это была мясорубка.

Для предотвращения организованного насилия

во дворе копы не объявляли, когда они собираются снять строгую изоляцию с Серенити.

Меня это не касалось. Жизнь вернулась в норму. После ухода Хаузера нашим образованием стали заниматься инструкторы по саморазвитию, обучавшие нас в спортзале самоуважению и самоконтролю, а также социальной адаптации (только для заключенных с датой освобождения) и здоровым отношениям. Бюджет урезали, и не только. На деревообделку перестали допускать зэчек четвертого уровня, таких как я. Я стала работать в кафетерии, где получала нагоняй от копов, когда расплескивала мортимерские порции. У заведующей столовой был большой значок с надписью: «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ». Даже не думай пытаться манипулировать мной своими слезными историями и нуждами. Так держались большинство служащих. А те, что шли на контакт, не хотели помогать нам. Они хотели получать с нас деньги за пронос контрабанды.

Я получила письмо от отца Евы. Я успела написать писем десять на его адрес, пытаясь найти ее, и это был первый ответ за пять лет моего заключения.

«Ева умерла в прошлом году. Я собирал твои письма и собирался отдать их ей, но не мог найти

ее. Я подумал, ты должна знать, что можешь перестать пытаться найти ее».

Иногда я представляла, что мне напишет Хаузер. Попросит внести его в список посетителей. Теперь, когда он уже не работал в Стэнвилле, к нему не применялись правила об отношениях с заключенными. Он теперь был в свободном мире, готовый предпринять какие-то шаги. Пусть даже меня совершенно к нему не влекло, но мы бы поженились, и он навещал бы меня с Джексоном. Хаузер был порядочным и мягким. Он стал бы хорошим отцом. Я не могла связаться с ним, чтобы сказать ему это, и из нас двоих в лужу села я, хотя думала, что использую его, манипулирую.

Однажды ночью мне приснилось два сна о воде. В первом я была с Хаузером. По крайней мере, мне кажется, что это был Хаузер. Он был госслужащим, связанным со мной, как-то обязанным мне. Шел сильный ливень, и мы смотрели, как поднимается вода в реке Л-А. Она вышла за бетонные берега. Хаузер прыгнул в воду и поплыл, но не рассчитал скорость течения. Его понесло по течению. Я подумала, хватит ли у него сил, чтобы схватиться за ветку или корень дерева, хоть за что-нибудь, и выбраться. Я зашла в магазин и сказала продавщице, что мой друг в воде. Она

сказала: «Река несется со скоростью девяносто одна миля в час». Я почувствовала, что Хаузер мертв или скоро умрет. И проснулась.

Когда я снова заснула, мне приснился другой сон. Я была за рулем старой машины. Сцепление было грубым, и тормоза дрожали, и газ слегка запаздывал, а руль был неудобным, но мне была привычна эта машина, и я знала, как с ней обращаться, чтобы она слушалась меня. Впереди что-то творилось. Я остановилась и вышла. Там был человек, угрожавший покончить с собой. И молодая женщина, пытавшаяся отговорить его. Потом мы трое пошли вместе вдоль пирса или дамбы. Это был Оушн-бич. Огромные волны нарастали и спадали, словно вода была под наклоном, не на плоскости. Это был словно водопад.

Тот человек пошел на дамбу. И вдруг я стала той молодой женщиной. Мужчина посмотрел на нее, то есть на меня, на эту женщину, с которой его что-то связывало в этом сне, и стал идти к воде. Я сказала: «Нет, не надо». И когда я это сказала, я поняла, что он заманивал в воду меня — своим намерением покончить с собой он вынуждал меня к тому же. Я проснулась с тревожной мыслью о том, что Джексона мучит жажда, а у его кровати нет чашки с водой, но затем я поняла, что я на

своей нижней шконке в камере четырнадцать блока 510 двора «В».

Сэмми вышла на волю. Она говорила, что нервничает и не хочет выходить. Я чувствовала ее возбуждение, несмотря на ее слова. Программа социальной адаптации проводилась в трущобах, и это ее тревожило.

— Если долго торчать в обувном магазине, — сказала она, — тебя в итоге обуют.

Она отдала мне свою ночную маску с хрюшками и еще кое-какие вещи. Пообещала писать. Мы обнялись на прощание.

Говорят, время бьет тебя волнами. И мое время било меня. Я не могла примириться с такой жизнью, с тем, что проживу так до конца своих дней.

Я была в депрессии и много спала. В одно из воскресений я проспала завтрак и утреннюю прогулку. В обед я вышла во двор, чтобы найти Конана.

Лора Липп со своей дворовой командой месила грязь. Было солнечно, и во дворе собралась уйма народу. Там было, наверно, две тысячи женщин.

Я протолкалась через турникет и, когда он скрипнул, все головы повернулись разом в мою сторону, как у сов. Я не понимала, в чем дело, но

чувствовала напряжение в воздухе.

Я прошла мимо баскетбольных площадок, высматривая Конана. Шла игра, а на скамейках девочки жевали столовские бутеры.

— Вон она идет! — выкрикнула кто-то.

Я подумала, что это про меня, и запаниковала. Люди со всего двора ломанулись к главному входу. На площадке прекратили игру. Мяч попал в кольцо, но его никто не стал ловить. Он запрыгал по пустой площадке. Все бежали к турникетам.

Там была Серенити Смит. Она вышла во двор одна. С прямой спиной и гордо поднятой головой, прекрасная черная женщина с длинными элегантными руками.

Лора Липп со своей садовой бригадой направилась к ней с лопатами и граблями. Я услышала крик. Это была норвежка, бежавшая к Серенити. Конан, Рибок и их команда бежали наперерез норвежке и садовникам. Отовсюду стекались люди.

Первой до Серенити добралась норвежка. Она схватила ее и попыталась повалить. Серенити отбилась. Конан сбил норвежку и стал зверски бить ее ногами. Вся ярость, до последней капли, какая только имелась в нем, вырывалась из его ботинок, дубасивших норвежку по голове и лицу.

Голова норвежки потекла.

Серенити побежала от Лоры Липп и ее оравы. Лора Липп огрела Серенити лопатой по спине, сбив с ног. Лора бросилась на Серенити и стала царапать ей лицо. Так дерутся некоторые женщины. Они ничего не могут с этим поделать, это инстинкт. Серенити поднялась, отпихнула Лору на кривоногий столик и стала бить кулаками. Зазвучала сирена, лупя по ушам отрывистым сигналом: ВСЕМ ЛЕЖАТЬ.

Другие садовницы бросились на Серенити, бившую Лору. Серенити стала отбиваться от них мусорными баками. Сирена гудела. Все дрались.

Слеза взяла лопату и стала бить Серенити плашмя, как выбивают пыль из ковра, нанося один за другим размеренные, тяжелые удары. Серенити кричала. Сирена гудела. У меня возникла мысль, что копы поощряли это. Чтобы Серенити избили или убили.

Никто не слушал сигнал сирены. Во дворе творился кошмар. Оранжевые струи перцовых баллончиков окутали дерущихся, но они отбивались. Копы ретировались на наблюдательный пост, спасая свои шкуры. Зазвучал сигнал, какого я никогда не слышала, как сирена воздушной тревоги.

Это была чрезвычайная ситуация. Копы потеряли контроль. Сирены завывали вразнобой.

Я попятилась за первую башню. На ней был надзиратель, но он направлял оружие на дерущихся и стрелял деревянными пулями.

Я стала раскапывать руками землю под первой башней, пока не выкопала что нужно.

Колючая проволока цепляется за ткань, удерживая тебя, словно человек, как бы говоря: «Не уходи, останься, подожди, не уходи». Остаться там означало медленную смерть, если бы я не решилась на быструю.

Я порядком изрезалась, пока проделала достаточно большую дыру, чтобы пролезть через внутренний забор.

Я подобралась ко второму забору, под напряжением. Сирены выли, и я решила: будь, что будет. Я тронула забор нагелем, который сделала на деревообделке.

Меня не ударило.

Я подсунула нагель под забор, подняла сетку и полезла под ней, в грязи, не дыша, готовая поджариться.

И вот я на другой стороне, на грязной дороге, по которой курсирует дозорный грузовик. Я достиг-

ла края вселенной.

Осталось прорваться через один забор. Я продолжала слышать сирену, повторявшую команду за командой, и тупые удары деревянных пуль.

Я действовала быстро, проделала дыру, откинула край деревяшкой, чтобы не порезаться еще больше.

Я вышла в миндальную рощу. Сирена звучала вдалеке. Я пробежала под деревьями, пересекла дорогу и продолжала бежать.

27

Когда Гордону Хаузеру было двенадцать, в обществе возникла чрезвычайная ситуация, переполох из-за того, что заключенный по имени Бо Кроуфорд сбежал из старого окружного изолятора в центре Мартинеса. По заливу Сан-Пабло рассредоточились войска. Повсюду были наблюдательные посты, вооруженные армейские машины, снайперы, кинологи с собаками, перекрытые дороги и горячие репортажи о том, что Бо Кроуфорд оставил следы или был замечен в Пиноле, Бенишии, Вальехо, Питтсбурге, Антиохии[44]. Целых десять дней весь округ был перекрыт,

[44] Примечания: 44
Города в штате Калифорния.

пока наконец его не поймали, прятавшегося в заброшенной лачуге у пролива Каркинес сразу за Порт-Костой.

Быть в бегах — это вам не отпуск. Нужно оглядываться каждую секунду. Люди говорили, это хуже, чем сидеть в тюрьме, но, как представлялось Гордону, для Бо Кроуфорда было слишком поздно идти на попятный. Он был вынужден выживать в канавах, на обочинах, прячась в мире, где было негде спрятаться. Где все покупали оружие, включая и отца Гордона, в ожидании, что им попадется беглец на их территории.

Двое детей увидели Бо Кроуфорда рядом с парковкой нефтяного завода «C&H» в Крокетте.

Официантка из кафе в Родео сказала, что он зашел однажды утром, на рассвете, и заказал яичницу с беконом. Когда она выскользнула на кухню, чтобы вызвать копов, он скрылся.

Он развлекал весь округ, людей всех социальных групп и одиночек, не входивших ни в какие группы, — каждый ожидал его появления со страхом и надеждой. Он был знаменитостью, и они тоже хотели стать знаменитостями. Его побег мог коснуться их лично. Его разыскивала полиция. Это был опасный человек.

За что же его разыскивали? За побег. И воору-

женное ограбление.

Оказалось, что с Бо Кроуфордом была в сговоре работница тюремной прачечной, Вена Хаббард, увлекшаяся им. Она мечтала о новой жизни. Об этом потом писали в газетах, раскрывая моральное разложение служащих СИЗО.

Вена и Бо задумали скрыться в Мексике, а по пути заскочить к ней домой и убить ее мужа, Мака. Они собирались ехать к границе в ее машине, «хонде-сивик». У них были карты и ее сбережения, а также дробовик, принадлежавший Маку, который они хотели взять с собой после того, как убьют его. (Гордон думал: «Неужели дробовик влезет в «хонду-сивик»?)

Бо обладал природным умом и безупречным самоконтролем. Он делал двести отжиманий в день. Он медитировал. И мало-помалу выпиливал дыру в задней стене кладовки в прачечной, пока его напарник по рабочей бригаде уплетал жареную курицу и макаронный салат, которые приносила Вена, чтобы кормить заключенных, работавших в прачечной. Позже действия Вены по нелегальному проносу пищи были внимательно изучены и признаны свидетельством ее слабохарактерности и пособничества преступному замыслу. «Я только давала им, что сама не

доела и собиралась выбрасывать», — сказала она на дознании. По словам заключенных, работавших в ее прачечной, она приносила еду — такую, как порезанные багетные сэндвичи и целиковые лазаньи «Костко», — для двадцати человек. Вместе с Бо побег планировал его напарник по бригаде рангом пониже, которого Бо называл толстожопым, хотя в действительности его звали Дж. Д. Джосс. Вена по-настоящему любила Бо, но Дж. Д. имел с ней более откровенное общение, пока Бо возился с люком, который он выпилил в стене кладовки. Дж. Д. сделал у себя в тюремных штанах незаметную прореху с помощью прачечного инвентаря, чтобы Вена могла ласкать рукой его дружка, сидя рядом с ним за столом заведующей. А Бо тем временем разрабатывал маршрут побега через трубу, проходившую под тюрьмой и выходившую через канализацию в ливневый сток на улице.

В назначенный день, единственный выходной Вены, она должна была забрать Бо и Дж. Д. на условленном углу, на своей «хонде-сивик», с картами, дробовиком и деньгами. Дж. Д. и Бо покинули прачечную через люк в кладовке, пока их бригадир ел свой ланч. Они выбрались по трубе в город и подошли на угол, где их должна

была забрать Вена. Мимо проехала машина, но не «хонда». Дж. Д. полез в кусты на заднем дворе какого-то дома. И Бо, как он позже сказал полиции, закричал Дж. Д. вести-себя-блядь-нормально. Как свободный человек, а не какой-нибудь идиот, свинтивший из тюрячки.

«Хонда» так и не приехала за ними, так что они оказались в бегах без всякой крыши — без карт, без оружия и без плана действий — без ничего.

Когда Вене пришло время выезжать за беглецами, которых она собиралась привезти в свой дом, чтобы убить Мака, в это время она с мужем сидела на диване и смотрела фильм по телику. Вене давно было пора, а фильм все никак не заканчивался. К тому же Мак, впервые за несколько месяцев, решил проявить внимание к ней.

Он приобнял ее одной рукой за плечи, как бы говоря: «Я знаю, у тебя был план насчет Мексики и моего убийства, но нам не так уж плохо вместе, а?» Время для встречи с Бо и Дж. Д. безвозвратно утекало. Вена было понадеялась, что они, возможно, не сумели выбраться из тюрьмы. Но что, если они придут за ней?

Она пролежала всю ночь без сна, вздрагивая при каждом звуке. Марк храпел как идиот, без малейшего понятия о нависшей над ним опасности.

Но он был простой человек, и именно поэтому она когда-то и полюбила его, а затем стала презирать по той же причине, а теперь снова прониклась к нему. Она прижалась к его широкой спине и стала молиться о своем спасении, за себя, и за Мака, и за каждую малость в своей жизни, которую она не умела ценить.

Дж. Д. Джосс и Бо Кроуфорд разделились. Дж. Д. забрался в заброшенный дом, наелся несвежей еды, напился несвежей воды, обделался, как маленький, и оставил следы.

Его поймали почти сразу, пьяного, искусанного насекомыми, с рюкзаком, в котором была недоеденная упаковка печений «Орео» и молоток.

Бо удавалось скрываться десять дней. Он стал легендой в маленьких фабричных городках в заливе Сан-Паоло, в одном из которых вырос Гордон Хаузер. Позже власти закрыли старый изолятор в Мартинесе. И построили новый. Современный, по последнему слову техники. Чтобы больше никаких побегов.

Во время десяти дней охоты за беглецом на местную радиостанцию позвонила женщина. Она жила на окраине Крокетта и увидела, как Бо Кроуфорд выходит из-за деревьев, вблизи

рельсовых путей. Она сказала, что направилась к нему без страха и попыталась поймать его взгляд, чтобы он *знал*. Гордон отлично помнил это. Ее голос по радио.

Я хотела, *чтобы он знал.*

Что эта женщина хотела, чтобы он знал? Гордон задумался об этом, вспомнив этот эпизод много лет спустя, после того как услышал новость о бунте в Стэнвилле и о побеге Роми Холл.

Что та женщина сказала беглецу у железной дороги? И что *она* знала?

Что Бо Кроуфорд жил на свете. Что он был в бегах. Она увидела его и захотела, чтобы он тоже увидел ее. Она желала пойти на риск. Он был опасным человеком и, возможно, вооруженным, а она бесстрашно стояла у него на виду. Она смотрела прямо на него. Если бы он ответил ей взглядом, он бы узнал, что она знает, что у него нет права находиться на этой земле, на свободе.

Ты от них не уйдешь.

Вот что она хотела сказать ему своим взглядом.

28

Одно из следствий единения с природой — это

развитие твоих чувств. Не в том смысле, что у тебя обостряются слух и зрение, а в том, что ты становишься внимательнее. Живя в городе, ты бóльшую часть времени углублен в себя. Твой внешний мир полон посторонних картин и звуков, и ты привыкаешь отсекать бóльшую их часть от сознательного восприятия. Но, живя в лесу, ты замечаешь, как твое сознание раскрывается вовне, навстречу внешнему миру. Ты намного более сознателен в отношении происходящего вокруг. Ты знаешь окружающие звуки: вот щебечет птица, вот жужжит слепень, это убегает испугавшийся олень, а это шлепнулась сосновая шишка, сорванная белкой. Если ты слышишь звук, который не можешь определить, это сразу настораживает тебя, даже если он настолько слабый, что его еле слышно. Ты замечаешь неприметные вещи на земле, такие как съедобные растения или следы животных. Если здесь прошло человеческое существо, оставив хотя бы малейший след, ты наверняка заметишь это.

IV

29

Курт Кеннеди проснулся с двумя пустыми бутылками из-под розового вина и с больной головой. Стюардесса — он понимает, что их так больше не называют, но не может привыкнуть к «бортпроводницам», — так или иначе, эта сука унесла его выпивку, пока он спал. Не розовое, которое было в рюкзаке между его колен, а ром с колой, который он заказал и оставил недопитым, а это был международный рейс. Выпивка была бесплатной, и ты пил, сколько хотел, и никого это не волновало. Тебя не должны ограничивать. Он включил сигнал вызова над своим местом. Он собирался потребовать новую порцию, потому что не допил ту, что она унесла. Пришла стюардесса и сказала, что унесла его напиток потому, что он спал. Он сказал, что как раз напиток и помог ему заснуть, и поэтому он снова требовался ему.

Она низко наклонилась к нему:

— Мы с вами знаем, что это глупое правило, но пассажирам нельзя приносить на борт свое вино.

Пыталась умаслить его этим «мы с вами». У меня есть план, как провести время, когда слезу с этой птички, и тебя я с собой не возьму, старушка.

Ей было, наверно, сорок. Вообще-то она была приятной дамочкой, и сорок лет его не смущали. Курту было пятьдесят четыре. Женщины его возраста, сама мысль о них, вызывали у него тошноту. Хотя временами что угодно вызывало тошноту. Иногда его тошнило просто так. Он чувствовал себя не очень. Он всю ночь не ложился в Канкуне, и на его руке стояли печати порядка десяти ночных клубов. Вторую половину ночи он даже не помнил. Он помнил, как садился в чей-то джип, к кому-то даже старше и пьянее, чем он сам, и этот тип никак не мог выехать с парковки — только таранил переднюю машину, а затем заднюю и опять переднюю, пока Кеннеди не рявкнул ему перестать и не вылез из джипа, но что было потом? Он не знает. Он проснулся у себя в «Новотеле» в обоссанной одежде.

По крайней мере, он не опоздал на самолет. И даже успел принять душ, поскольку, как всякому известно, душ смывает с тебя всю гадость и приводит в форму перед дорогой. Его вырвало в раковину, из которой несло метаном. Люди ни

хрена не могут сделать. Не могут даже проветрить водопровод.

Он купил в аэропорту вино потому, что мог, и еще потому, что хотел, чтобы у него была своя выпивка в самолете. У него начиналась клаустрофобия, если он сидел и ждал, пока ему принесут что-нибудь. При виде того, как тележка с напитками стоит впереди без движения, у него во рту пересыхало хуже, чем в Долине Смерти, а из-за лекарств у него во рту и без того было сухо. Он не собирался ждать, он собирался принести с собой в самолет свою выпивку, на долгий рейс из Канкуна в Сан-Франциско. Он принес две бутылки и кофейный стаканчик. Открыл одну у входа на посадку и стал наливать, не вынимая из рюкзака, как будто это был сок, проложив бутылки футболкой, чтобы не звякали.

Он бы не сказал, что нагрузился, когда сел в самолет. Он только начал расслабляться. В Канкуне он все время был на грани.

Предполагалось, что это отпуск, но каждую минуту он спрашивал себя, хорошо ли ему, и не мог решить, и это вызывало в нем тревогу, так что он принимал очередной клонозепам и ложился или вставал и шел в бар или гулять по песку, но ему жгло ноги, и он был вынужден признать, что

пляжный отдых не для него и больше всего ему хочется вернуться домой и пойти в «Комнату на Марсе», чтобы увидеть Ванессу и посадить ее себе на колени. Это был единственный известный ему способ обрести мир в душе.

Каждый человек заслуживает мира. Он оставлял за скобками вопрос того, заслуживает ли кто-либо чего-либо вообще. Он нуждался в определенных вещах, чтобы чувствовать себя в норме. В числе этих вещей была Ванесса. Он нуждался в темных, тяжелых портьерах, потому что у него были проблемы со сном. Он нуждался в клонозепаме, потому что у него были проблемы с нервами. Он нуждался в оксикодоне, потому что его мучили боли. Он нуждался в алкоголе, потому что он был алкоголиком. И в деньгах он тоже нуждался, потому что у него были жилищные проблемы, и покажите ему любого, кому не нужны деньги. Он нуждался в этой девушке, потому что у него были проблемы с девушками. Или проблемы — не то слово. Просто для него все сошлось клином на ней. Ее звали Ванесса; это был ее псевдоним, но для него это было ее имя-имя, потому что именно под этим именем он узнал ее. Ванесса заполняла собой туман в его голове, делая его чем-то осязаемым и реальным. Когда

он был рядом с ней, ему было хорошо. Каждый человек заслуживает, чтобы ему было хорошо. Особенно он, покуда он был собой.

— Разумеется, можно проносить вино на борт, — сказал он старой стюардессе.

Она выслушала его слова с хитрой улыбкой, прочертившей складки на ее щеках. Он указал на багажные ячейки, полные винных бутылок других пассажиров.

— К сожалению, нельзя распивать вино в самолете.

Слишком поздно, подумал он. Он уже опустошил обе бутылки: одну перед входом на посадку, а другую сразу после взлета.

Он стал уговаривать ее принести ему еще выпивки, упирая на то, что им лететь еще час, а у него пересохло во рту.

Неожиданно она согласилась, чересчур неожиданно. Она решила надуть его — он это понял, — и действительно, она принесла ему простую колу, даже не в стекле, и заявила, что там содержится ром.

Рядом с ним сидела пара, повернувшись друг к другу, как бы показывая, что они не настроены на общение, но он все равно заговорил. Иногда разговор ни о чем помогает убить время. Он стал

рассказывать им о своей яхте, хотя у него не было яхты, но он уже так давно рассказывал о ней людям, что сам начал верить в это. Но они его не слушали. Так что он повернулся к пареньку по другую сторону прохода и стал рассказывать о яхте ему. Бывало, что он обращался к взрослым, как к детям, говорил мужчинам «малой», но этот малой был малой-малой, Курт это ясно видел.

Он спросил, сколько ему лет.

— Тринадцать.

– *Славно*.

Курт сказал это с выражением «молодец, так держать». Ребятам нравится, когда их подбадривают. Он одобрял этого паренька за то, что ему тринадцать. Тринадцать — это пубертат, когда уже встает. Ему захотелось показать пареньку фото Ванессы. Открыть ему чудесный мир женщин, которые знают, что значит быть женщинами. Не то что эта стюардесса и, наверно, большинство женщин в самолете, да и повсюду в эти дни, когда женщины совсем разучились быть женщинами. Если бы у него была с собой ее фотография, он бы ее показал пареньку. Была еще одна порноактриса, напоминавшая ее, но фото актрисы у него тоже не было.

По проходу подошла женщина и склонилась

над пареньком. Тот встал с места, и его занял мужчина. Они были семьей и менялись местами. Рад познакомиться, сказал Курт, и паренек ответил, что он тоже.

Никто не хотел разговаривать с ним или, точнее, слушать его, так что он достал свою книгу, «Цыпленок и ястреб», про Вьетнам, которую пытался читать уже три года. Эта тема его занимала, потому что он давно уже рассказывал людям, что воевал во Вьетнаме, но это была неправда. Он служил в Германии. Книга была написана от лица пилота вертолета, и Курт не дочитал даже до середины. Поскольку он так медленно читал и книга была не новой и замусоленной, он держал ее в дешевом пакете на липучке. Он прочитал несколько страниц в самолете, потягивая свой ром с колой без рома, спасибо пизде-стюардессе, но книга ему не давалась. Проблема была в том, что это чтение требовало такого напряжения. Ты удерживал внимание достаточно долго, чтобы одолеть целый абзац, а за ним был другой, а за ним еще — и так без конца. Он читал эту книгу по большому счету напоказ перед остальными пассажирами, только никто не смотрел на него и как будто вообще не замечал. Он убрал «Цыпленка и ястреба» обратно в пакет. Экран перед ним

не включался, так что он закрыл глаза и подумал о том, что, как только вернется домой, он сможет увидеть Ванессу.

В тот вечер, когда он вышел из такси перед своим домом, по улице стелился туман. Иногда в этом городе было так холодно, как нигде. Он был в шортах, как туристы, стоявшие гуськом в ожидании канатного трамвая на Пауэлл-стрит. Эти болваны никогда не читали о погоде в Сан-Франциско. Он знал, что будет холодно. Но ему пришлось надеть шорты, чтобы его пустили в самолет, потому что свои единственные брюки он обоссал.

На следующий день, едва проснувшись, он пошел в «Комнату на Марсе». Была суббота, и Ванесса всегда работала по субботам.

Но ее там не было.

Он уехал на неделю в Канкун, и получалось, что за это время она уволилась из «Комнаты на Марсе», если верить кассиру в прихожей. Курт был не знаком с кассиром и решил, что этот тип не понял, кто он — постоянный клиент, спустивший уйму денег в этом клубе. Он поднял взгляд на кассира — его будка стояла на платформе, как касса с фишками в казино, — и сказал ему позвать управляющего. Из-за этой платформы

ты себя чувствовал коротышкой перед кассиром, такой высокой она была, хотя кассир и сам мог быть коротышкой. Вышел управляющий и пожал Курту руку. Курт был постоянным клиентом, и управляющий не мог совсем не считаться с ним. Но он сказал ему то же, что и кассир: у нас нет ни одной Ванессы в расписании. *Ни одной* Ванессы. Как будто могли быть разные Ванессы, и ни одна из них не работала по субботам или вообще не работала у них.

Он пошел в бар «Аллея клоунов», чтобы съесть бургер, потому что других дел у него не было. «Аллея клоунов» была в районе Северного пляжа, за углом от одного заведения, куда Кеннеди частенько захаживал до того, как узнал кое-что получше. «Комнату на Марсе» с Ванессой.

В заведении рядом с «Аллеей клоунов» имелась сцена с отдельными кабинками. По сцене прохаживались полуголые женщины, гладя-трогая себя, в то время как мужчины в кабинках вдоль сцены смотрели на них и трогали-трогали себя. Кабинки были как с обычными, так и с зеркальными стеклами, чтобы женщины на сцене, гладя-трогая себя, могли или не могли видеть, как ты трогал-трогал себя. Также ты мог выбрать, чтобы женщина смотрела тебе в глаза,

или обнажиться перед ней, но за отдельную плату, как и за все в этой жизни. Курту нравилось это место, потому что он не знал ничего лучше. Но когда он начал ходить в «Комнату на Марсе», на Маркет-стрит, он больше ни разу не заглянул в это заведение с кабинками, но по-прежнему ел в «Аллее клоунов», потому что там готовили вкусные бургеры, и он мог парковать свой мотоцикл, «BMW K100», перед окнами и следить, чтобы его не свалил какой-нибудь жопоголовый, один из этих зомби, бесконечно бредущих по тротуару.

Он снова пришел в «Комнату на Марсе» в субботу вечером, надеясь увидеть Ванессу, но ее не было в расписании.

Могла ли она взять себе новый псевдоним? Некоторые девушки часто их меняли. Одну неделю их звали Вишенка или Тайна, а на следующую уже Опасность, или Версаче, или Лексус, или еще какая ахинея. Имя Ванесса было классическим и правдоподобным, и оно ей шло, поэтому он не думал, что она стала бы менять его. С этой мыслью он заплатил за вход и вошел, после чего целый час осматривал комнату, но не нашел ее — ни тем вечером, ни на следующий день, ни на следующий вечер, ни в последующие разы.

Когда Курт увидел ее первый раз, он водил ком-

панию с горячей крошкой по имени Анжелика. Он танцевал с ней в трубе в задней части «Комнаты на Марсе». Танцевал — сильно сказано, на самом деле он просто пытался тереться об нее. В трубе, помимо них, была еще одна пара — какой-то бизнесмен с Ванессой. Она прижималась к нему всем телом. Она так танцевала с этим парнем, словно была настроена всерьез. На ней были только лифчик и трусики, и она просто приклеилась к этому типу в костюме. Анжелика громко сказала, что Ванесса нарушает правило и не под кайфом ли она, что она там приняла, потому что в трубе нельзя трахаться. Можно было елозить задницей по мужским коленям, но если ты гладила его передком, могли вмешаться другие девушки.

— Ага, под кайфом, — сказала Ванесса, налегая на бизнесмена. — Наркотик называется «счастье». Тебе надо принимать его время от времени.

Она продолжала тереться об этого типа, который не обращал внимания на пререкание между женщинами и двигался в такт с Ванессой, словно был ее мужем, танцующим на золотой свадьбе, или они снимались в рекламном ролике «Виагры».

Курту это показалось забавным. Позже, когда Ванесса прошла мимо него по проходу, он сказал ей это. Она сказала, что не любит разговаривать, но если хотите приватный танец, я беру двадцать за песню. Он дал ей Эндрю Джексона, как девушки называли двадцатки, и так это началось. Обычным образом, как и с любой другой девушкой в «Комнате на Марсе», но только эта цыпочка не просто выкачивала из него деньги. Между ними что-то было.

Они все по очереди танцевали на сцене, по крайней мере, так полагалось, и когда подошла очередь Ванессы, он сел поближе к сцене. Анжелика увидела, что он сидит один, и подошла к нему, но он сказал ей исчезнуть.

Песня, под которую танцевала Ванесса, была как будто специально для нее. Она так двигалась, словно сама была этой песней. Пение было необычным. Курт не мог понять, кто поет, мужчина или женщина, что вызывало у него причудливое ощущение, но прекрасно сочеталось с этой цыпочкой, притом что она излучала женственность на все сто.

— Давай, иди ко мне, детка, мы будем говорить о любви.

Ванесса носила зеркальные очки, и это при-

давало ее выступлению что-то забавное. Она закидывала ноги, и это были самые шикарные ноги, какие он только видел. У некоторых тамошних девушек ноги были бледными и дряблыми, бесформенными колоннами, напоминавшими ему огромные шприцы. Но у Ванессы были ноги-ноги, длинные и стройные. Это было капризом судьбы, что такая мировая цыпочка танцевала в «Комнате на Марсе». Он знал в этом толк, уж можете поверить. Она наслаждалась жизнью, как должен наслаждаться каждый, хотя бы иногда, но почти никто не позволял себе такого или просто был не в силах, потому что у них не было той свободы, что ощущалась в ней, в этой горячей цыпочке с бесподобными ногами. И восхитительной попкой. Ее груди тоже были восхитительны. Хватательны. Так и просились в ладони. В какой-то момент она повернулась к нему спиной и согнулась пополам, свесив голову между ног, и ее груди почти выскочили из лифчика. Так ему нравилось больше всего, смотреть на нее перевернутую, с набухшими грудями. Она делала это только для него. Она знала. Эта цыпочка на самом деле знала. Вот что было особенного в Ванессе. Она не была дурочкой, поливавшей сухой куст. Куст был в самом соку. Она знала, как его

окучивать, и делала это.

Закончив выступление, она подсела к нему.

— Знаешь, что мне в тебе нравится?

Она ничего не сказала, и ему пришлось ответить самому на свой вопрос.

— Все.

Ему нравилось вести разговор. Ему было хорошо с ней. Ему было комфортно. Он любил трогать ее. Его руки гуляли повсюду.

Он давал ей двадцатку за двадцаткой, пока не раздавал все, а потом снимал еще и снова давал ей, потом опять снимал и снова давал, потому что эта девочка ему очень-очень-очень нравилась.

Он стал чаще ходить в «Комнату на Марсе». Он получал пособие по инвалидности, и у него была уйма времени. И он был во власти ее чар. Он тратил все на эту девочку. Все, что ей требовалось, это сесть ему на колени и посмотреть на него — и он давал ей деньги.

До того как он устроился работать судебным приставом, что приносило хороший доход, но едва не убило его, он работал охранником в театре «Уорфилд», в одном квартале от Маркет-стрит и «Комнаты на Марсе». Боже, чего он там не повидал! Восемь вечеров с оркестром Джерри Гарсия. Десять вечеров Джерри Гарсия. На широком тро-

туаре рассаживались вшивые хиппи, устраивая жуткий балаган на улице, с барабанами и пляшущими торчками, и охранникам приходилось то и дело разгонять их и поддерживать порядок. Он до сих пор водил дружбу с некоторыми охранниками из «Уорфилда», и, когда он начал ходить в «Комнату на Марсе», он стал парковаться перед театром и просил их присмотреть за его мотоциклом.

В Сан-Франциско были женщины, водившие мотоциклы. Это его тревожило. Потому что разве женщины могли понять физику вождения? Если ты не врубаешься в физику, ты не можешь держать под контролем скорость. Он ни разу не видел, чтобы Ванесса ездила на мотоцикле. Она носила туфельки на шпильках и короткие платья, выходя из «Комнаты на Марсе». Он мог бы посадить ее себе за спину. Научить ее держаться покрепче, наклоняться, куда надо, вместе с ним. Столько баб даже не знали, как надо быть пассажирами, наклонялись не туда на поворотах. Держись так, как будто ты часть мотоцикла, пытался он втолковать им, но они не врубались.

Он должен был находиться дома, восстанавливаться после аварии, но дома ему было скучно. Он попал в аварию вблизи жилого комплекса на

Потреро-хилл и сломал ногу, проскользив на боку через перекресток, застряв коленом под очень большим и тяжелым бензобаком своего «K100». Он перенес четыре операции и теперь хромал.

Ему сказали, что это несчастный случай, но для Курта это было покушением на убийство. Ребята из жилого комплекса разлили моторное масло посреди улицы, и он поскользнулся на нем. Он просто выполнял свою работу, безуспешно пытаясь уже в который раз доставить юридические документы по одному адресу в этом комплексе. В свой шестой визит, когда он заскользил на перекрестке, он понял, что от него решили избавиться. Но найти конкретных виновников не представлялось возможным.

Он застрял дома, в ожидании, пока заживет колено. Врачи сказали, что особых улучшений ждать не стоит. Его квартира в Вудсайде стала комнатой ожидания, конца которому не предвиделось. Он шаркал по квартире, сидел на диване, листал журналы, переключал телеканалы, заглядывал в холодильник, смотрел, как машины движутся по улице, выполнял свои десять упражнений, смотрел, как водители вымучивают параллельную парковку (едва ли кто из них смыслил в параллельной парковке), снова

садился на кровать, перечитывал по нескольку раз одно предложение в книге про Вьетнам, «Цыпленок и ястреб», понимал, что ничего не понимает, убирал книгу назад в пакет на липучке, переключал телеканалы и, наконец, поднимался и ехал в «Комнату на Марсе», где хромал через зал, надеясь увидеть Ванессу.

Он теперь знал там многих девочек, но ему нравилась одна Ванесса. Он сказал ей, что был следователем убойного отдела. Это было не совсем враньем. Он хотел расследовать покушение на себя, найти ребят, которые налили моторное масло на перекресток вблизи того жилого комплекса. Он усвоил не говорить людям, что работал судебным приставом, потому что, когда он объяснял, как нужно оформлять бумаги, какую тактику ты должен применять, это не внушало уважения. Люди к нему относились, как будто он был каким-то паршивым коллектором.

Он говорил с Ванессой обо всех напрягах в своей жизни, избегая подробностей. Он говорил и говорил.

Он касался ее голой кожи своими руками и говорил всякие вещи, выражал чувства и привязался к ней. Он привязался к ней.

30

Я пробежала ряд миндальных деревьев. Прошла еще два и один ряд вниз, и еще два, и снова вниз, вниз, вниз. Все, что мне оставалось, — это бежать. Бежать и найти место, где переждать до ночи.

Благодаря горам я знала, где восток. Деревья в роще стоят ровными рядами, и, когда я достигла конца одного ряда и вышла к дороге, я увидела, что дороги тоже идут прямо, как я и помнила с тех пор, как меня привезли в автобусе. Я пересекла дорогу и продолжала бежать, снова пересекала дорогу и продолжала бежать. Если они уже преследовали меня, я могла усложнить им задачу моими зигзагами. Но я держала курс на восток, к большим горам.

Я вышла к дренажной канаве. Там была открытая труба, в которую можно было залезть и подождать, пока стемнеет.

В канаве я увидела, что у меня течет кровь. Я не чувствовала этого, даже влаги на штанах. Холодная вода, похоже, остановила кровотечение. У меня на бедре был длинный разрез от колючей проволоки.

Посидев какое-то время под звук льющейся

воды, я начала слышать сквозь нее. Различать другие звуки: насекомых, ворону, долгое шипение машины, проезжающей по ближайшей дороге. Я попила воду из оросительной канавы, набрав ее в ладони.

Когда настала ночь, я вылезла из трубы. И пошла быстрым шагом в мокрой и изодранной тюремной одежде. Я не видела гор, но знала, в какой они стороне. Все было здесь расчерчено по линейке. Я была внутри гигантской решетки; без людей, но сделанной людьми. Целый мир, по крайней мере этот мир, Калифорнийская долина, от гор до западного горизонта, был гигантской тюрьмой. Только вместо колючей проволоки и сторожевых башен здесь были рощи и линии электропередачи. Безымянные, рукотворные.

Эта решетка помогала мне понять направление движения. Я могла не бояться заблудиться, держась подальше от дорог, и перемещаться вдоль рядов деревьев.

Я шла всю ночь, то медленнее, то быстрее.

Перед рассветом я подошла к дому, вокруг которого стояли старые, заброшенные машины. Из кухни лился холодный электрический свет. Со двора доносился запах гуавы. Там же была веревка с сушившейся одеждой. Одежда, я должна

взять одежду, но с этим светом на кухне было опасно. Я услышала звук изнутри дома и пошла дальше. Я миновала еще несколько убогих лачуг вдоль той дороги, все без света и без одежды, просившей, чтобы ее взяли. Потом долго не было ни одного дома, и наконец появился еще один дом, и перед ним, на пластиковых стульях у крыльца, висела одежда. Я осмелилась подкрасться к стульям и взяла штаны и рубашку.

Под утро я добрела до какого-то городка. Там был парк с мусорным контейнером, в который я засунула тюремную одежду. На мне были грубые, жесткие мужские джинсы и футболка. Я старалась идти, не бежать, вести себя прилично, не неприлично, как человек, который имеет право идти вдоль дороги.

Здесь уже не было ни рощ, ни прямых дорог. Дорога петляла между деревьями и валунами и открытыми пастбищами. Я нашла кустарник в стороне от дороги, устроилась под ним и заснула. Я спала урывками, пока не опустились сумерки. У меня почти не было сил, но, как только стемнело, я заставила себя идти. Я не пила воды после дренажной канавы и ничего не ела.

Я услышала крик какого-то животного. С того времени, как я покинула тюрьму, сердце у

меня колотилось от страха из-за постоянного стрема, из-за копов и любых возможных объявлений о моем розыске. Теперь же, кроме прочего, прибавился страх темноты. И этого животного, прокричавшего снова. Крик был почти человеческим — насколько человеческим может быть крик дикого животного.

Я долго шла по темноте, пока вдали не показался свет. Это был перекресток с заправкой, а дальше дорога поднималась, петляя, к горам. Была середина ночи. Бензозаправка работала.

Подъехал пикап. Водитель подошел к колонке. Один. То, что надо. К такому можно обратиться. Я подошла.

— В чем дело? — сказал он.

Упитанный парень в джинсовой варенке.

— Подбросите меня?

— Подбросить? Можно. Можно. Ты замужем?

— Я не замужем.

— У тебя там что, дружок притаился, вы меня уделать решили или что?

Я сказала, что я одна.

— Куда направляешься?

— Наверх. — Я кивнула в сторону гор.

— Далеко?

— До вершины.

— В «Сахарную сосну»? Ты там работаешь или как?

— Ну, да.

— Ну, ладно. Дай только бак залью. *И я тебя подброшу*.

Он сказал это нараспев, как будто случайные женщины на одиноких заправках то и дело просили его об услугах, и он уже в который раз решил быть добрым.

Он взял с сиденья пикапа пятилитровую бутыль от минералки. На ней было написано «Истребитель жажды».

Он прибавил печку до 88 градусов и стал потягивать воду из своей дурацкой бутыли, болтая о том, как он собирался разбогатеть на торговых автоматах. Рана у меня на бедре снова открылась, и кровь стала сочиться на сиденье. Меня мучила жажда. Но если бы я дала ему это понять, как сильно я хотела пить, он мог бы догадаться.

Я смотрела, как он пьет через соломинку, толстую как шланг, и старалась не отключиться.

— Все, что тебе нужно, — это сделать вложение, пополнять запасы и забирать выручку. — На эти средства он собирался купить франшизу. — За сорок пять косарей можно купить «Данкин-донатс». «Тако-белл» дороже. Начинаешь с торговых

автоматов, затем покупаешь «Данкин-донатс», выводишь капитал, *а затем* покупаешь «Такобелл».

Нас качало влево, и вправо, и по кругу на серпантине. Он потягивал минералку. Рыгал.

— У меня полно планов. Я хочу заняться недвижимостью. Знаешь, как говорят?

Он подождал, что я отвечу.

— Нет.

— Сможешь перепродать лом, перепродашь и дом. Четко сказано, да? Только потому, что никто не берется за что-то, не значит, что ты не сможешь провернуть дело. Нужно уметь видеть возможности. Видела эти постеры: «Мы скупаем страшные дома точка ком»? Эти ребята срывают куш, поворачивают плохую ситуацию в свою пользу, так? Или вот еще: кто мыслит не шаблонно, тот *вне* шаблонов. Глубокая мысль. И еще: скажи мне, кто твои друзья, и я скажу, кто ты. Я не вожусь с неудачниками. У меня своя программа. Эй, мне нужно отлить.

Он притормозил на обочине, припарковался. Но выходить не стал. Мотор работал. Он уставился на меня.

— Хочешь затусить?

— Нет.

— Ты могла бы затусить со мной, а?
— Я так не думаю.
— Ты же попросила подбросить тебя, и вообще.
— Потому что мне было нужно.
— Ну что ж, ты — мне, я — тебе.
— Ты отвези меня в горы, а дальше посмотрим.
— Ну, ладно. Годится. О'кей.

Он вылез, отошел к краю дороги и расстегнул ширинку. Он опустошил почти половину пятилитрового «Истребителя жажды».

Я пересела на водительское место, пока он отливал в траву, завела его пикап и поехала.

31

Однажды вечером, когда Ванесса вышла из «Комнаты на Марсе», Курт Кеннеди пошел за ней. Он не был каким-нибудь отморозком. Просто он так проникся этой девушкой, что ему было важно убедиться, что она доберется домой без неприятностей. Он увидел, как она садится в такси, и поехал следом, на своем мотоцикле, до общежития на Тэйлор-стрит. Это было в верхнем Тендерлойне, вблизи Ноб-хилла и Тендерноба, и здание оказалось более обшарпанным, чем он представлял себе ее жилье. Тем вечером он смотрел, как она заходит туда. И другими вечерами

тоже. Многими вечерами.

Иногда она ехала не к себе домой, а в дом какого-то мудилы у Северного пляжа. На взгляд Курта, этот тип был голубым, и Ванесса бывала там не так часто, чтобы между ними могло быть что-то серьезное.

Он чувствовал, что это его работа — присматривать за ней. Это было ответственное дело. Иногда по утрам он парковался рядом с ее домом, за углом, на О'Фаррелл-стрит, откуда было хорошо видно вход. Иногда он проводил там все воскресенье, поскольку «Комната на Марсе» в этот день не работала. Когда она выходила, он опускал щиток шлема и трогал мотоцикл с места, чтобы следовать за ней, если она садилась на автобус на Гири-стрит. Или в такси. Причем всегда только фирмы «Луксор» — почему? Он беспокоился, что водитель мог быть ее любовником или просто ухажером, пытавшимся залезть ей в трусы, но раз за разом он убеждался, что водители были разными.

Если же она шла куда-нибудь пешком, он и тогда ехал за ней, то отставая, то нагоняя. Иногда она выходила из здания с мальчиком. Держа его за руку. Как мило. Словно мамочка, только он был уверен, что она ему не мать. С ней это не

вязалось. Может, мальчик просто жил там. Один раз она вышла с мальчиком, женщиной и двумя другими детьми; Курт проникся уверенностью, что та женщина была матерью всех троих детей — это все объясняло. Его тревожило, что какие-то стороны жизни Ванессы были закрыты для него, пусть даже он повсюду следовал за ней и точно знал, что она делает, куда ходит и в какой день. Пока он мог смотреть, как она выходит из здания, следить, куда она идет, и знать, когда возвращается, для него еще не все было потеряно.

Следить за ней, не терять из вида, всегда помнить о ней — вот чем он был занят, и ему это нравилось.

Поначалу она не подозревала. Так было удобнее. В те первые дни. Но потом она какое-то время не появлялась в «Комнате на Марсе», и ему невыносимо захотелось поговорить с ней. Это было так плохо? Ему это казалось чем-то в порядке вещей. Он просто хотел сказать ей «привет». Он не мог увидеть ее в «Комнате на Марсе», поэтому стал пристальней следить за ее домом. Он встретил ее в супермаркете. Она отреагировала так, словно он занимался чем-то незаконным, отовариваясь в ее занюханной лавочке. Магазин — это общественное место. Каждый имеет право

ходить в магазин.

После того случая, как она вышла из себя, увидев его в магазине, когда она наконец вернулась к работе в «Комнате на Марсе», и он, как обычно, посвистывал ей, чтобы она подошла к нему, она его игнорировала, проходила в глубь театра и садилась с каким-нибудь другим типом. Каждый день одно и то же. Никакой компании. Неожиданно его деньги оказались недостаточно хороши для нее. Он продолжал приходить, продолжал пытаться. Ждать у сцены, чтобы она станцевала.

Как же он скучал по ней. Он действительно скучал по ней. Он пытался сказать ей об этом. Все, что ему оставалось, это пытаться. Он сидел с Анжеликой и давал ей потные долларовые бумажки, даже не пятерки.

Он узнал телефонный номер Ванессы, порывшись в мусоре, который он достал из открытого контейнера рядом с ее домом. Контейнер стоял на тротуаре, фактически в общественном месте. Он видел, как она выбросила туда мешок. Он взял его домой, прицепив к мотоциклу. Разобрал мусор и почувствовал себя молодцом. Там были счета за коммунальные услуги. Теперь он знал ее настоящее имя, но оно для него ничего не значило. Он чувствовал, что она связала себя с ним — или

с кем бы то ни было — гораздо более прочными узами, чем если бы просто сказала: «Я Ванесса». Он крепко держал это в уме. Между ними было соглашение, и он не собирался позволить ей так просто расторгнуть его.

В верхней части телефонной квитанции был напечатан ее номер. Он набрал его. Она ответила. Он сбросил вызов. А что еще ему оставалось? Если бы он сказал: «Это Курт», она бы сбросила вызов. Он это знал, потому что, когда она видела его снаружи «Комнаты на Марсе», или рядом с ее домом, или в магазине, где угодно, где ему удавалось подстроить все так, словно он случайно встретил ее, она его игнорировала. Так что, когда он позвонил ей, у него была только секунда, чтобы услышать ее голос, а затем он сбросил вызов до того, как это сделала — сделала бы — она. Он звонил, она отвечала, он сбрасывал. Он звонил, она отвечала, он сбрасывал.

Иногда, в тяжелые дни, наполненные тоской и изнуряющей болью в колене, когда ему казалось, что мир, который он знал, в котором он жил, был черновиком, скомканным богом и брошенным в мусорную корзину, скомканным, брошенным и не попавшим в корзину, он просто не мог не звонить ей. Он звонил по двадцать, тридцать

раз, пока она не отключала телефон, как он догадывался, вытаскивая маленький пластиковый штепсель из коробочки на распределительном щитке, и он продолжал звонить, но телефон у нее в квартире молчал. И тогда у него не осталось другого выбора, кроме как отправиться к ее дому, припарковаться там и ждать, чтобы она вышла. Он знал по опыту работы судебным приставом, что требовалась бдительность, чтобы выследить кого-то. Он делал это много раз. Курта было не одурачить. Он был профессионалом, пусть даже остался без работы.

Он нес более-менее круглосуточную вахту, когда неожиданно нарисовался давно задуманный тур в Канкун. Дешевая путевка, которую он оформил несколько месяцев назад, еще до того, как встретил Ванессу. Когда-то ему нравилось путешествовать, а теперь он так не хотел уезжать, что хоть плачь. Но он решил, что это пойдет ему на пользу, поможет отвлечься от мыслей о ней. Если бы он отменил поездку, ему бы не вернули денег. Он уже все оплатил, так что нужно было ехать. Но отвлечься у него не особенно получилось. Он думал о ней каждый миг в Канкуне, пытаясь не думать о ней.

Поскольку ее не оказалось в «Комнате на Мар-

се», когда он вернулся, ему пришлось поехать к ее дому.

Первое время он ждал снаружи. Но потом зашел. В подъезде была будка, в которой сидел старик с грязными седыми волосами, отдававшими в желтизну.

— Пять долларов, — сказал старик.

— Что?

— Пять баксов, чтобы подняться, — прокричал старик Курту, словно это что-то проясняло.

Это было вымогательство. Здание, в котором жили наркодилеры, и управляющий хотел быть в доле. Старик выхватил пятерку у Курта. У старика были длинные ногти с обожженными кончиками, напоминавшие оплавленный пластик.

На пролете второго этажа — по-другому не скажешь — зависали. Вертелись, говорили тихо, и все время кто-нибудь входил или выходил из двери. Курт попытался держаться естественно. Сказал, что ищет свою подругу.

— Белую девочку, а? Ты ее ищешь? Восьмая дверь, приятель.

Восьмая дверь.

Два парня на пролете стали спорить. Из другой комнаты показалась женщина и заорала на одного из споривших. Курт постучал в дверь

номер восемь, а люди продолжали орать. Ответа не было.

Три дня он караулил ее перед домом. Она ни разу не зашла и не вышла, насколько он мог судить.

Он стал обходить все обычные места. Магазин кулинарии, где она покупала сэндвичи в перерывах между работой в «Комнате на Марсе». Супермаркет рядом с ее клоповником.

Однажды он увидел на Тэйлор-стрит одного из тех парней с лестничного пролета, согнувшегося между двумя машинами, покупая или продавая наркотики или что-нибудь еще, и парень сказал Курту:

— Ваша девочка съехала.

Он пошел в то здание, поговорить с немытым стариком в будке. Он объяснил, что ищет одну девушку, квартирантку.

— Квартиранты постоянно въезжают и съезжают. Практически каждый день.

Курт объяснил, что эта девушка жила здесь какое-то время. Русые волосы. Приятная внешность. Красивые ноги. Все красивое. Вы понимаете, о чем я?

Старик покачал головой. Однозначное нет. Нет на каждый вопрос, который ты думаешь

спросить.

— Я следователь, — сказал Курт нетвердо, думая, что надо бы притвориться копом.

Он делал так много раз, чтобы вручить бумаги. Это не сработало.

— Получи ордер, осел, тогда сможешь увидеть список жильцов.

Его колено не заживало, и врач назначил ему очередную операцию. Он все время мучился от боли и выработал новый режим: пиво на завтрак и прилечь на шесть часов. Когда были силы, он ехал в «Комнату на Марсе» и ковылял по ней, опираясь на трость, без которой уже не мог ходить, но ее там не было. Анжелика сказала ему, что Ванесса совершенно точно больше не работает у них, но он подозревал, что Анжелика притворялась, будто что-то знает, чтобы вытянуть из Курта денег за информацию.

А затем небо внезапно смилостивилось, без всякой причины. Он пришел в «Комнату на Марсе» и получил заветный приз. Вышибала, здоровый бородач, сказал:

— Вы ищете Ванессу, да? Она оставила для вас послание, сказала дать вам ее адрес.

Она переехала в Лос-Анджелес. Зачем этому

типу было давать ему ее адрес? Курт и верил, и не верил, что Ванесса хотела, чтобы он знал, где найти ее. Вышибала ухмылялся как последний говноед.

Курт не видел ничего смешного. Он не знал, хотел ли этот тип надуть его или говорил правду, но он должен был выяснить это. Он отправился домой, собрал в дорогу пару вещей, сел на свой мотоцикл и выехал в Лос-Анджелес, останавливаясь только на бензозаправках, где жевал питательные батончики и запивал таблетки энергетиком.

К тому времени, как он прибыл по указанному адресу, обтекатели его мотоцикла позеленели от мертвых насекомых. Как и костяшки его перчаток. А сам он испытывал жуткую боль. Колено словно было сделано из хрупкого гипса, по которому беспрестанно лупили молотком.

Когда он шагал, колено хрустело. Всю дорогу он переключал передачи этой ногой. Врач запретил ему водить мотоцикл. И вообще прописал постельный режим. При ходьбе Курт опирался на две трости, по одной в каждой руке.

Он нашел ее дом и припарковался. Поднялся на три ступеньки, превозмогая боль, и постучал. Никто не ответил. Он мог бы догадаться,

что дома никого. Это был двухквартирный дом со стеклянной дверью, и он видел внутреннее пространство.

Вид был нежилой. День клонился к вечеру, и было жарко. Но крыльцо было в тени, и там стоял стул. Он уселся на стул и принял еще две болеутоляющие таблетки. Он отдохнет и подождет ее. У него было время. Он никуда не спешил.

Его разбудили голоса. Было темно, он проспал до ночи и на минуту растерялся, забыв, где он.

Кто-то шагал по ступенькам.

После всего этого времени это была она. С тем мальчиком, про которого он давно решил, что он не ее, а соседский.

— Ванесса, — сказал он.

Его колено так распухло, что, если бы он попытался встать, он бы упал. Ему были нужны его трости. Обе они скатились на землю, и он не мог поднять их.

На крыльце было темно. Он не видел ее как следует, но, судя по голосу, она была в бешенстве. Она сказала, чтобы он уходил.

— Ванесса, милая. Ванесса, я просто хочу поговорить с тобой.

Он протянул к ней руку. Он так соскучился по ней. Ему так было нужно коснуться ее. Ощутить

жар ее кожи. Она отпрянула, быстро открыла дверь. Занесла ребенка и снова вышла.

Все, чего он хотел, это поговорить с ней. Ему так было нужно поговорить с ней. Он снова сказал это.

— Убирайся, — сказала она. — Пошел на хуй отсюда.

Он не мог подняться. У него вместо колена была кучка костяной пыли, раздробленной молотом, и он был не в состоянии опираться на эту ногу.

Он потянулся за своей тростью, той, что была поближе. Она тоже нагнулась за ней, словно хотела помочь ему. Но она подобрала что-то другое, похожее на лом. Этот предмет тяжело звякнул о бетон, когда она поднимала его — лом или что это было. В темноте он не мог разглядеть.

— Я сказала тебе убираться. Оставить меня в покое.

— Эй!

Она огрела его этой штукой. И еще раз.

Он увидел шашки. Черно-белый орнамент. Орнамент. У него в ушах что-то взорвалось. Боль затопила голову. Бетонный пол крыльца налетел на него. Тяжелый железный прут продолжал молотить его.

— Перестань! — закричал он. — Перестань!

V

32

Никаких поселений мне не встретилось, только плотный лес, в который я углублялась, буравя темноту фарами пикапа. Я была высоко в горах, когда выехала на перекресток. Впереди показались закрытые металлические ворота, отрезавшие дальнейший путь. Закрыты на зиму, как сообщал знак. Если бы я развернулась и поехала назад в долину, копы могли бы уже перекрыть дорогу.

Я сняла крышку с бутыли и допила воду. Кубики льда оцарапали мне горло. Я оставила пикап на дороге и вошла в лес.

Воздух здесь был холоднее. Холодным и сухим, раздражавшим мои легкие. На небе была луна. Точнее, месяц, дававший достаточно света, чтобы видеть тропу, по которой я шла. Меня окружали деревья. Я слышала только мягкий хруст сосновых иголок и веточек под моими ногами.

На рассвете опустился туман. Он стелился понизу, опутывая бесплотной сетью деревья. Я

сошла с тропы. Я перешагивала через бревна, шла вдоль горного кряжа, спускалась вниз по склону и пробиралась через косогор. Там я увидела дерево, чей ствол был шириной с десять деревьев. Или двенадцать. А может, и двадцать. Оно было размером с небольшой дом, с массивными узловатыми корнями, напоминавшими львиные лапы, раскинувшиеся по земле. Ствол покрывали толстые вертикальные полосы красной коры, словно куски бархата. Высоко надо мной, на середине ствола, туман лизал ветви. Большую часть дерева составлял один ствол, и только в самой вышине, где-то в небе, кустилась крона. Я пошла вокруг дерева. На другой стороне оказалось дупло. Это гигантское дерево было пустым внутри. Чуть поодаль стояло еще одно большущее дерево. Они росли здесь вместе.

Когда туман поднялся и рассеялся, я увидела и другие большие деревья, и между ними проглядывал свет, по мере того как лес раскрывался навстречу новому дню. Теперь, когда я осознала масштаб этих деревьев, само их существование здесь, я стала замечать и других подобных гигантов на косогоре. Я проходила прямо под ними и не замечала. Они скрывались за счет своей огромности. Настолько они были шире любых

других деревьев. Тайны на самом виду.

Я вошла в расселину большого дерева. Там было высоко, как в пещере, потолок терялся где-то вдалеке. На внутренних стенах были потеки черной живицы, блестящей и густой. Я коснулась ее, ожидая липкого ощущения. Но живица была гладкой и прохладной, как стекло. Еще там была красная живица, тоже как стекло. И желтая. Иногда словом «рыжий» называют блондинов. Они называли его Güero и говорили мне, что это значит белокурый, но волосы у Джексона светло-русые.

Пол в пещере был покрыт крохотными шишками. Это огромное дерево делало шишек-малюток. Я нуждалась в воде и еде. Нога болела. Возможно, у меня была температура. Я неважно себя чувствовала. Меня конечно же искали. Я оставила пикап у развилки. Шла всю ночь. Я легла и заснула.

Проснувшись, я услышала жужжание. Не вдалеке, а близко.

Я встала и вышла из дерева. Жужжание стало громче, но оставалось вблизи дерева, словно оно само жужжало. Солнце стояло высоко, его лучи золотили верхушку дерева. А жужжали пчелы. Я их увидела, похожих на пылинки, паривших

в солнечных лучах, купавших высокие ветви. Пчелы жили там, в вышине. Их жужжание расходилось вниз по стволу, отчего жужжало все вокруг, даже земля.

Изнутри ствола пчелиное жужжание казалось жужжанием дерева.

Дерево жило молча, так что пчелы говорили за него. Их голос был его голосом, который я слышала.

Я услышала другой звук: клип-клип. Птичье семейство пробежало по земле. Птенцы перескакивали через кочки, как пинг-понговые шарики, следуя за старшими. Они забежали за куст и остались там.

Земля вокруг обоих деревьев была погорелой, как в расщелине, так и снаружи, древесина была черной и сухой, покрытой узором трещин. Вероятно, в деревья ударяла молния. Весь лес выгорал вокруг них, а они жили дальше, потому что жили дальше. Потому что могли. Возможно, им было по тысяче лет. Две тысячи лет.

Для дерева это могло быть не таким долгим сроком. Просто жизнь. Как для нас жизнь человеческая. Есть разные масштабы жизни. Дерево было таким высоким, что я не видела его верхушку, только младшие ветви, начинавшиеся

в вышине, на уровне неба, достаточно высоко, чтобы это дерево простиралось в иной мир или до конца этого мира.

Будущее длится вечно. Кто это сказал и что это значило. Дерево вздымалось ввысь, до времени, когда Джексон станет мужчиной, и еще дальше, намного дальше. Когда он заведет своих детей. И умрет.

Я услышала новый шум. Стрекот, быстрый, отрывистый. Они уже здесь? Что они делают? Снова этот стрекочущий звук. Это был дятел, занятый своим одиноким делом. За мной еще не пришли.

Ты убегаешь, пока не найдешь надежное место, и для меня им стало это дерево.

В ночном лесу по-настоящему темно. Мне пришлось выходить из дерева на ощупь. Снаружи я оказалась под россыпью звезд. Я услышала шелест от ветра. Услышала тех птичек, устроившихся под кустом, занятых своими делами.

Я увидела в небе широкую полосу Млечного Пути, если это был он. Раньше я его никогда не видела. Или видела? Я знала, что это такое. Собрание ярких звезд среди более тусклых. Небо усеяно звездами, но если ты живешь в городе, ты этого не знаешь. Если ты живешь в тюрьме, ты не видишь ни одной звезды из-за прожекторов. А

здесь я была наполовину в небе. Там, где нет людей, мир раскрывается. Там, где нет людей, ночь раскрывается снизу вверх, черная и безлюдная.

Лес прорезали лучи света.

Они были рядом.

Я услышала вертолет в небе. Дрожащие фонари ощупывали землю.

Бабушкин шкаф, так говорили дети. Так они называли навес от ветра, куда я уходила, чтобы выкурить косяк. Под лестницей стадиона или на автобусной остановке. На той, что воняла мочой, на Форест-хилле. Бабушкин шкаф. Любое место годилось.

Все эти разговоры о раскаянии. Тебя принуждают строить свою жизнь, исходя из одного поступка, совершенного тобой, и тебе приходится расти из того, что нельзя изменить: от тебя хотят, чтобы ты сделал что-то из ничего. И в результате ты ненавидишь их и себя. Они делают вид, как будто они — это мир, а ты предал его, их, но мир настолько больше.

Ложь о раскаянии и о жизни, сошедшей с рельсов. Каких рельсов? Жизнь и есть рельсы. Она сама себе рельсы и идет, куда идет. Она сама срезает свой путь. Мой путь привел меня сюда.

Я бы хотела, чтобы Джексон увидел эти деревья.

Я никогда не была с ним здесь. Я не знала об этом месте. Что оно существовало. Существует. Он видел секвойи на побережье Пойнт-рэйс. Но эти деревья другие, больше, необычней. Люди знают об этих деревьях? Он мог бы увидеть деревья вроде этих или что-то еще — вроде этого, — чего он не знает и не ожидает.

На свете есть хорошие люди. Действительно хорошие.

Вертолет снизился. Прозвучал голос, как из громкоговорителя в главном дворе.

«Холл. Ты вышла за границу, Холл».

Жизнь — это рельсы, и я была в горах, о которых мечтала во дворе тюрьмы. Я была здесь, но ничто не бывает таким, каким видится издалека, когда ты туда попадаешь.

Да, я считаю себя особенной. Это насчет того, как я чувствую себя собой. Мне больше не с кем считаться, кроме Джексона, и с ним я считаюсь. Поверьте мне. Они называли его Güero, но он не был блондином. Они называли его Güero потому, что любили. Меня они не любили и не должны были. Им это было не нужно. Они любили его, и я любила его.

Внутри меня туманная влага, как в этом лесу. Мне это не опасно. Я даже не дрожу. Такой холод

образует глубочайший слой моих воспоминаний, от детства, прошедшего на улицах без деревьев, построенных на песке, вблизи дурного океана, океана разбитых бутылок, с большим изгибом бетонной стены. «Высокая опасность утопления», — сообщали знаки на каждой из лестниц, спускавшихся к пляжу. Лестниц, по которым мы спускались, чтобы жечь костры, разрисовывать стену, драться на кулачках. На пляже «бабушкин шкаф» был любой машиной. Или за машиной. Или, смотря по тому, куда дул ветер, в тех лестничных колодцах. Высокая опасность утопления.

Мы плавали в одежде. Мы никогда не думали об утоплении. В нашем будущем не было смерти. Никто не живет в будущем. Настоящее, настоящее, настоящее. Жизнь все время такая.

«Холл, мы тебя окружили».

Они обращались ко мне. Тоном приказов в тюремном дворе.

Они говорили мне возликовать, что здесь нет Джексона. Что жизнь не сходит с рельсов, потому что она и есть рельсы и идет, куда идет.

Лай собак. Уже ближе.

Прожектора омывали лес, стало светло, как днем.

Руки вверх, сказали они. Выходи медленно и держи руки на виду.

Если бы Джексон был здесь, я бы не смогла защитить его. Но ему это не грозит.

Я показалась из дерева и повернулась к свету, только не медленно. Я побежала на них, на свет.

У него своя дорога, у меня моя. Мир существует уже давно, очень давно.

Я дала ему жизнь. Это совсем не мало. Это как ничто наоборот. А ничто наоборот — это не *что-нибудь*. Это все.

Благодарности

За ее мудрость и экспертное знание видимой и невидимой сети пенитенциарных учреждений мира — и за тысячи других вещей, чудесным образом известных ей, — я благодарю Терезу Бубу Мартинес.

Я благодарю Микала Консепсьона, Хакима, Трэйси Джонс, Элизабет Лозано, Кристи Клинтон Филлипс и Мишель Рене Скотт за все, что узнала от них. Также спасибо Айлет Уолдман; Молли Ковел; Джоанне Неборски; Майе Андрэа Гонзалес; Аманде Шепер; организации «Правосудие сейчас» в Окленде, в Калифорнии; а также Полу и Лори Саттон.

Я благодарю Сьюзан Голомб за всевозможную и невероятную поддержку и Нэн Грэм за ее веру в меня и за ее важнейшую и неустанную редактуру этого романа.

Я благодарю Михала Шавита и Ану Флетчер за редакторскую правку, а также Дона ДеЛилло, Джошуа Ферриса, Руфь Уилсон Гилмор, Эмили Голдман, Митча Камина, Рэми Кушнер, Найта Ландесмана, Захари Лазара, Бена Лернера,

Джеймса Ликвара, Синтию Митчелл, Марису Сильвер, Дэну Спиотта, но больше всех Джейсона Смита за то, что я бы назвала бесконечной поставкой интеллектуальной щедрости.

Я благодарю Эмили за всестороннюю свидетельскую поддержку.

Спасибо Сьюзан Молдов, Кати Монаган, Тамар МакКоллом, Дэниелу Леделу и всему коллективу издательства «Скрибнер».

Проект Джеймса Беннинга «Две хижины» и его фильм «Перевал Стемпл» напрямую вдохновили меня на размышления о Генри Дэвиде Торо и Теде Казински. Я благодарю Джеймса за его дружбу и помощь, его готовность к обстоятельным диалогам в течение нескольких последних лет и за использование его дневников Теда.

Фонд Гуггенхейма, Американская академия искусства и литературы и фонд Чивителла Раньери — каждая из этих организаций оказала мне жизненно важную поддержку в ходе написания этой книги.